

P 2
B 19

Сергей Васильев

2

сергей васильев

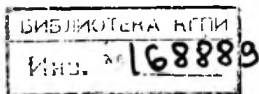
**избранные
произведения
в двух томах**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1978**

сергей васильев

**избранные
произведения
том второй**

**„проза про поэзию“
сатира**



**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1970**

P2
B19

Оформление художника
В. ДОВЕРА

023221

7-4-2
46-70

К ЧИТАТЕЛЮ

«Проза про поэзию» — книга в большой степени дневниковая. В разные годы, при разных обстоятельствах и по разным поводам накапливались мои записи о поэзии, делались зарубки на память просто о жизни. Они возникали параллельно с работой над стихами, поэмами, пародиями. Оттого в книге повествование в прозе переходит иногда в стихотворный рассказ.

В немалой своей части литературные имена, о которых идет речь,— это имена моих учителей, старших по возрасту, по профессии, и имена погодков-поэтов.

Размышляя о становлении и развитии советской поэзии, о ее разнообразии и многоплановости, я пытаюсь осмыслить этот процесс, но никак, разумеется, не претендую при этом на роль теоретика. Что же касается пристрастий, то тут уж ничего не поделаешь, они продиктованы убеждением, сложившимся за долгие десятилетия. Субъективность оценок объясняется тем же.

Прозаиков, упомянутых в книге, я отношу к родному и высокочтимому цеху поэтов по той причине, что они беззаветно любили поэзию, горячо содействовали ее процветанию и не мыслили себе жизни без нее. То же самое я имею в виду, называя светлое имя Владимира Яхонтова, непревзойденного пропагандиста советской поэзии, и

имя здравствующего Сергея Мартинсона, всенародно любимого мастера смеха.

В данное издание «Прозы про поэзию» я впервые включаю статьи и заметки о Н. Тихонове, М. Исаковском, В. Казине, Н. Рыленкове, А. Макарове, Е. Поповкине, Л. Татьяничевой, В. Федорове, Н. Доризо.

Новый раздел отвожу для разговора о мастерах азербайджанской поэзии: о Вагифе, Сабире, Джабарлы, Мушфике, Вургуне. Почетное место в книге займет портрет Н. Н. Воронова.

Завершается она очерком «Одиночество на миру» — о путешествии по Америке.

Во второй том теперь войдут мои оригинальные сатирические произведения и переводы из Сабира.

„проза про поэзию“



Время встало на караул

БЛАГОДАРНОСТЬ

I

Москва для меня — это город первых удивлений и восторгов, город ранних мечтаний и надежд.

Вихрастым малограмотным пареньком был я, когда старшая сестра увезла меня из Кургана в Москву.

Впервые в жизни увидев булыжные мостовые, бегущие по рельсам трамвайные вагоны, берега Москвы-реки в граните, величавый Кремль, Большой театр, побывав в просторных хоромах Третьяковки, я раз и навсегда попал в сладкий плен шумной столицы и полюбил ее верной сыновней любовью. Москва для меня — это суровая школа труда и учебы, университет житейского и профессионального опыта, с упорством добытое умение преодолевать препятствия на пути к цели — и в пехе у станка, и за письменным столом с пером в руках.

В Москве я повзрослел, приобщился к культуре, приобрел рабочий навык, овладел заветным ремеслом литератора. «Москва слезам не верит» — говорят в народе. Что ж, в старинной поговорке есть, конечно, большая доля правды. Но Москва, надо признать, умеет приветить, направить, вооружить человека, выпустить его в полет, как сокола из рукава. Я благодарен Москве за все — за привет, за ласку, за науку. А еще я благодарен Москве за то, что под одной из ее кровель мне выпало счастье видеться с великим писателем и удивительным человеком — Алексеем Максимовичем Горьким.

После трагической смерти Сергея Есенина по всей стране покати́лась волна подражаний его прекрасной, по грустной лирике. Одни рабски копировали ноты ула́дничества, другие подражали деревенским патриархальным мотивам, третьи пз кожи лезли воп, чтобы уподобиться пмажпшстам с их «сложностями». В мпогочисленной армии пачинающих поэтов оказался и я. Стихотворчество захватило меня с такой силой, что буквально де́нь и ночь трудился я над своими поэмами и балладами. А когда накопилась целая тетрадь стихотворений, я взял да и послал ее — не куда-нибудь, а в Италию, в Сорренто. Послал и стал ждать ответа. Миповал месяц, пролетел второй — молчит Максим Горький. «Ну, думаю, сунулся барап в пресвятой алтарь за капустой! Так мне и падо, не буду впредь толкаться, куда не следует. Прочитал, наверно, Горький мою мазню, посмеялся и выбросил в мусорную корзину!»

Промчались еще две недели. И вдруг приходит письмо из Сорренто. Распечатываю его дрожащими руками, вижу: горьковский четкий почерк, буковка к буковке! Не знаю до сей поры, что могло привлечь внимание Алексея Максимовича в моей паивпой ученической рукописи, но, по-видимому, все-таки что-то задело. Я не только прочел слова ободрения в свой адрес, мне еще было посовещовано пойти на Рождественку (там помещалось здание Государственного издательства), найти там Петра Петровича Крючкова (он был личным секретарем М. Горького) и поговорить с ним. Алексей Максимович не только поддержал меня морально, но и оказал материальную помощь: по его распоряжению П. П. Крючков вручил мне 200 рублей. В ту пору я работал санитаром в замоскворецкой больнице, зарплата моя не превышала тридцати пяти рублей в месяц, а тут сразу — двести рублей! Я просто-напросто превратился в буржуя! Купил себе костюм, ботики, модную кепку и первый раз в жизни сам-один выпил за здоровье Алексея Максимовича пенястую кружку московского пива. На добрую, теплую отеческую заботу падо было отвечать делом, и я поклялся: не отступлю, не испугаюсь трудностей, во что бы то ни стало буду поэтом!

Начались дни упорного самообразования, чтение книг, хождение по выставкам и музеям, участие в занятиях литературных кружков, посещения литературных концертов. Куда бы судьба меня ни забрасывала, был ли я санитаром или истопником, рабочим-откатчиком на Первой ситценабивной фабрике или актером-чтецом в Мюзик-холле, я уже не расставался с книгой, не выпускал карандаша из руки. Мечта стать литератором полонила меня целиком, воображение горячилось, душа летела в заманчивую туманную даль.

III

Начиная с 1930 года стихи мои начали появляться в газетах и журналах, и в 1933 году вышел в свет первый сборник. Что скрывать, дело прошлое, голова по неопытности (а вернее, по глупости!) закружилась, появилось дешевое самомнение, а рядом с ним и божественные настроения, бравада и прочие «художества» ранней профессионализации. До Алексея Максимовича дошли слухи о моем расхристанном, разболтанном поведении, и он со всей строгостью отца-наставника задал мне перца. В центральных газетах появилась его статья «Литературные забавы», в которой он пристыдил целую группу тогдашних молодых поэтов, в том числе и меня. Крепко досталось от Горького моему однофамильцу Павлу Васильеву, Ярославу Смелякову, Александру Ойслендеру. Но обиды на Алексея Максимовича никто из нас не заимел, не затанл даже горечи: от родной, ласковой руки и побики кажутся сладкими. Тем более что Горький пожурил зазнаек справедливо, опираясь на факты, а тому из них, кто оказался наказанным через меру, строгий, но отходчивый учитель припис своеобразное извинение. Так, например, мне в пространной статье «Литературные забавы» были предъявлены обвинения, частично не имевшие под собой почвы, и Алексей Максимович, убедившись в этом, собственноручно вычеркнул их из статьи, когда включал ее в книжное издание. Урок, преподаанный Горьким, пошел, конечно, на пользу. Я лично с той поры стал строже, требовательнее, самокритичнее относиться к своим скромным возможностям и внутренне благодарил внимательного наставника за человеческую чуткость и прозорливость.

В 1935 году, зимой, командующий войсками Приволжского военного округа Павел Ефимович Дыбенко предложил мне побывать на его родипе, в городе Новозыбково, где жила тогда его старая мать Анна Денисовна, родившая пятерых сыновей, трое из которых отдали свою жизнь в борьбе с врагами Советской власти. Разумеется, я с радостью согласился поехать к Анне Денисовне и отбыл в Новозыбково в салон-вагоне своего участливого высокого друга.

П. Е. Дыбенко в ту пору был в звании командарма первого ранга и, несмотря на свой пмлозатный, официальный вид и некоторую внешнюю суровость, на самом деле отличался редкой простотой и задушевностью. Он так увлекательно умел рассказывать о бесконечных схватках с беляками, так захватывал любого слушателя образностью речи и юмором, что я и по сей день благодарю судьбу, что она столкнула меня с прославленным полководцем. Прожив в Новозыбкове несколько дней, близко познакомившись с русской женщиной-героиней, перенесшей пытки царских ищеек, дожившей до позднего материнского счастья, я написал о ней поэму. Поэма называлась «Застольная песня во здравие Анны Денисовны и ее сына Павла».

Поэму я передал Алексею Максимовичу, она ему понравилась, и он напечатал ее в журнале «Колхозник». Но прежде чем пустить поэму в печать, Горький вызвал меня к себе в дом у Никитских ворот для разговора о рукописи. И вот я у заветной двери. Сердце бьется учащенно, лицо пылает от волнения, все пужные слова, которые я было приготовил произнести при встрече, улетучились из памяти. Ведь до этого часа я видел Горького лишь издали, а тут в передней я услышал мягкий рокошущий бас Алексея Максимовича, навстречу мне раздались размеренные медленные шаги, распахнулась дверь кабинета, и воочию, близко увидел я наконец того самого человека, перед которым благоговел.

Позднее, когда в моей биографии отодвинулась в прошлое эта счастливая встреча, я все время пытался определить: па что был похож первый ее миг? Вспоминал долго, мучительно, и все же вспомнил: точно такое же чувство восторга, радости, захватывающей дух, испытал

я, увидел впервые в жизни настоящее (не в кино!) Черное море. Да-да, это было похоже! Облик Горького! В нем и спокойная величавость, и грудной низкий голос, и бескрайность синего взора, и тот не видимый глазом, но ощущаемый сердцем ореол всенародной любви к нему, который неотступно витал над его мудрой головой.

Алексей Максимович разговаривал со мной долго, более часа, расспрашивал подробности моей биографии, интересовался моим бытом, давал советы, что нужно читать, предупреждал о шипах и невзгодах будущего литературного пути. Сосредоточенная ровная его речь, искренность и неторопливость делали нашу беседу значительной, интересной. Надо было быть Горьким, чтобы так сердечно, без тени правоучения, но с вершины своего огромного опыта, с полным доверием беседовать с молодым поэтом. Много хорошего, светлого и тревожного унес я в душе, распрощавшись с Алексеем Максимовичем. Твердое горьковское рукопожатие и по сей день жарко теснит мою ладонь.

В

Мне и ныне случается бывать иногда в особняке-музее у Никитских ворот. Каждый раз я испытываю трепет, едва приблизившись к заповедному месту. За один час на всю жизнь зарядил меня Горький прилежностью и многотерпением, верой в свои силы и умением не теряться в трудную минуту, служить избранному делу, не жалея душевных и физических сил. Не мне судить, плохой или хороший получился из меня художник слова, но как документ горьковского гуманизма, как живое свидетельство горьковской любви к людям я существую радостно и благодарно, и так будет до последнего моего вздоха. О той волнующей встрече я в свое время написал стихи. Ими и позволю закончить прозаические заметки. Дом Горького у Никитских ворот и теперь притягивает, как магнитом, вереницы горячих сердец, дом этот сняет на все четыре стороны света.

...Сюда невольно люди шли,
в заветный этот дом
слетались письма всей земли,

как птицы за зерном.
Здесь я переступил порог
начавшегося дня,
здесь добрый волжский говорок
приветствовал меня.
Старик возник передо мной,
похожий на орла,
сложивший руки за спиной,
как два больших крыла.
И так со мной заговорил,
с такою прямою,
как будто настуже дверь открыл
в мой мир необжитой.
Такая житница ума
в его глазах была,
как будто родина сама
со мною речь вела.
Он говорил, что жизнь сложна
для всех людей подряд,
но для художника она
сложнее во сто крат;
что путь художника тернист,
что злое древо лавр
растет порой под ветра свист,
а не под гром литавр;
что если это все учесть,—
на гору-то Парнас,
выходит, только труд да честь
выводят грешных пас.
Клянусь, что смело тогда
я с трепетом постиг,
как далека еще звезда
моих возможных книг.
Но, трепеща в душе, клянусь,
с тех пор я поволок
неизлечимый, сладкий груз
бессонниц и тревог.
Груз неприкаянной мечты,
какой-то вечный зов,
томленье, цепи маеты
бессчетных рифм и слов.
Прошло уже немало лет
с большой минуты той,

но не остыл горячий след
в моей душе хмельной.
Мне не забыть, как я сидел,
по капле пил вино,
а Горький думал и глядел
в открытое окно,
туда, поворх московских крыш,
как будто там, вдали,
шумел ему зомляк камыш,
кивали Жигули.

1947—1967

ШКОЛА МУДРОСТИ

I

С именем Демьяна Бедного связано мое детство.

В Сибирь, в Зауралье, туда, как и во все города и села Советской России, в большом количестве проникали демьяновские простые, доходчивые, попятные и близкие с первого слова стихи, басни, песни, плакаты, воспевающие новый строй, разоблачающие врагов молодой республики, разъясняющие политику партии. И в годы детства, и в пору юности, и в зрелые годы, как и все мои сверстники, я удивлялся ясности, силе воздействия на умы и сердца боевых, призывных произведений, всенародно любимого и повсеместно прославленного пролетарского поэта.

Великие и высокие истины революции, гуманные большевистские идеи, смысл декретов советского правительства, ленинской партии, жаркий пыл революционного времени — все это звучало, kloкотало, искрилось в бодрых, взволнованных, остроумных стихах Демьяна Бедного. Поразительно было также и то, что произведения Демьяна Бедного с одинаковым успехом читались и заучивались наизусть и старыми и малыми, в городе и деревне. А брошки, едкие антирелигиозные частушки производили самый настоящий переполох в хажеском стане попов и монахинь, особенно на пасху и на рождество.

Да, не одно поколение советских людей взбудоражил, научил революционно мыслить и действовать во имя и во славу новой жизни удивительный, зажигательный талант Демьяна Бедного!

Первый трактор на колхозной земле, свет «лампочки Ильича», задувка новой домпы, выпуск тысячного автомобиля, подвиг часового на границе, рекорд шахтера, плавка стали, вновь поставленная школа и многое, многое другое — все, чем сильна и богата советская держава, служило вдохновением для поэта.

Демьян Бедный был вопиствующим публицистом, остроумным баснописцем, глашатаем новой жизни. Родившийся в бедной крестьянской семье, еще ребенком возненавидевший кулака и пристава, помещика и городского, с первых же шагов своего творческого пути горячо воспринявший благотворное влияние основателей революционной печати, Д. Бедный верой и правдой, всем своим существом, всем жаром души своей служил советскому народу.

Уже в таких его ранних вещах, как «Сопет» и, особенно, «О Демьяне Бедном, мужике вредном», явственно и мужественно звучит нота активного протеста, обпаруживается меткий язык знатока пародной речи.

Знаменательным фактом творческой биографии Д. Бедного следует назвать появление басни «Шпага и Топор» (первой басни поэта), призывавшей народ России «к топору», к активному действию, напечатанной лишь в марте 1917 года, но уже послужившей поэту трамплином для дальнейшего басенного творчества, для сатирических стихотворений вообще. За «Шпагой и Топором» последовали «Кукушка», «Трибун», «Порода», «Ланоть и Сапог», «Басни Эзопа».

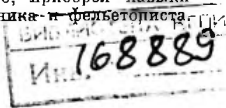
В большевистской газете «Звезда» политически окреп и закалился талант Д. Бедного.

Свидетельством цельности мировоззрения Д. Бедного, энергичного возмужания его как народного трибуна является также и то, что он в этот ранний период деятельности объявил себя ярым врагом декадентов.

Боевая атмосфера, царившая в редакции «Звезды», ясные идейные позиции ее сотрудников помогли молодому Д. Бедному достойно встать в ряд боевых большевистских агитаторов и оказаться в почетном числе организаторов и создателей «Правды».

В первом же номере «Правды», в апреле 1912 года, появилось стихотворение Д. Бедного, связавшее его доброе имя с прекрасным временем зарождения ежедневного печатного органа большевиков.

Активно сотрудничая в «Правде», опубликовав на ее страницах до 1914 года свыше шести десятков стихотворений, Д. Бедный отточил свое перо, приобрел навыки оперативного поэта-газетчика, басенника и фельетониста.



Известность поэта росла. Первая книжка Д. Бедного «Басни», содержащая произведения, опубликованные в «Звезде» и «Правде», привлекла внимание В. И. Ленина.

В одном из писем к А. М. Горькому Владимир Ильич интересуется: «Видали ли «Басни» Демьяна Бедного? Выплюю, если не видали. А если видали, черкните, как находите»¹. В том же 1913 году, в мае месяце, в письме из-за границы В. И. Ленин пишет правдистам: «Насчет Демьяна Бедного продолжаю быть за. Но придрайтесь, друзья, к человеческим слабостям! Талант — редкость. Надо его систематически и осторожно поддерживать»².

Стремясь развивать традиции народной сатиры великого баснописца И. А. Крылова, неуставно учась гражданскому пафосу у классической революционно-демократической поэзии Н. А. Некрасова, как к живительному источнику припадая к жизненным фактам окружающей его действительности, отвергая ложные красоты эстетствующих снобов, ревнителей теории «искусство для искусства», Д. Бедный с честью встретил 1917 год, как солдат революции, как ее певец, провозвестник и оруженосец.

Наследья тяжкого неся проклятый груз,
Я не служитель муз:
Мой твердый четкий стих — мой подвиг ежедневный,
Родной народ, страдалец трудовой,
Мне важен суд лишь твой,
Ты мне один судья прямой, нелицемерный,
Ты, чьих надежд и дум я — выразитель верный,
Ты, темных чьих углов я — «пес сторожевой»!

Эти полные чувства человеческого достоинства строки передают настроения поэта того времени и выражают его точку зрения на призвание литератора — народного избранника.

Талант Д. Бедного во всю мощь развернулся в тяжелые для отечества годы гражданской войны, когда поэт в красноармейском вагоне кочевал по многочисленным фронтам. Все средства боевой оперативной поэзии, все виды и жанры звонкой стихотворной речи использовал Д. Бедный, разя врагов молодой Советской республики,

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 48, стр. 180.

² Там же, стр. 182.

призывая трудовой парод к самоотверженному действию во имя спасения родины от интервенции и белогвардейских банд.

Судьбою нам дано лишь два исхода:
Иль победить, иль честно пасть в бою.

Так говорил Д. Бедный 1 мая 1918 года в широко известном стихотворении «В огненном кольце».

К числу отличных образцов поэтической работы времен гражданской войны относятся песни «Как родная меня мать провожала...» и «Манифест барона фон Врангеля».

На послеоктябрьский период падает и время создания Д. Бедным крупных эпических произведений, таких, как поэма «Главная Улица», дышащая жаром раскаленного воздуха свободы, наполненная ликующими раскатами грома всеочищающей революционной грозы.

Гневно и торжественно гремит железная поступь стиха этой поэмы, вызванная к жизни пламенным чувством победителя:

Гневно заметнув свои тысячи жилистых,
Черных, корявых, мозолистых рук,
Тысячелетиями связанный, скованный,
Бурным порывом прорвав заколдованный
Каторжный круг,
Из закоптелых фабричных окраин
Вышел на Улицу Новый Хозяин,
Вышел — и все изменилось вдруг:
Дрогнула, замерла Улица Главная,
В смутно-тревожное впав забытье, —
Воля стальная, рабоче-державная,
Властной угрозой сковала ее:
— Это — мое!!

Злободневный, немедленно реагирующий на события, пристрастный голос поэзии Д. Бедного слышит благодарный массовый читатель, узнавая в нем свои мысли строителей новой жизни.

Слова искренней любви находит Д. Бедный, возвеличивая рабочего и крестьянина, красноармейца и трудового интеллигента. Градом убийственных острот, уничтожающих, неотразимых издевок осыпает он врагов нашей страны — международных лакеев капитала, предателей эмигрантов, злобных обывателей и тулеядцев.

Целеустремленность, остроумие во многом роднит Д. Бедного с великим поэтом революции В. Маяковским.

Недаром В. Маяковский так благожелательно отзывался о деятельности Д. Бедного в своей программной статье «Как делать стихи?»: «Стихи Д. Бедного—это правильно понятый социальный заказ на сегодня, точная целевая установка — нужды рабочих и крестьян, слова полукрестьянского обихода (с примесью отырающих поэтических рифмований), басенный прием»¹.

Умелым художественным соединением элементов фактографии с элементом чуткой политической интуиции, введением в ткань стихотворной речи животрепещущих партийных лозунгов дня поэт добивается высокой публицистичности стиха, завоевывает симпатии читателей и в городе и на селе. Обладатель счастливого дара говорить просто и задушевно, зная и любя характер русского трудового человека, великолепно пропикая в живописные тайны русской разговорной речи, Д. Бедный нередко достигает вершин лирико-публицистического звучания своих стихотворений.

По свидетельству Н. К. Крупской, мудрый вождь пролетариата В. И. Ленин, бережно взлелеявший в свое время поэтическое дарование Д. Бедного, любил и ценил его публицистическую лирику. Вот что по этому поводу вспоминает Н. К. Крупская:

«Последние месяцы жизни Ильича. По его указанию я читала ему беллетристику, к вечеру, обычно... Он любил слушать стихи, особенно Демьяна Бедного. Но нравились ему больше не сатирические стихи Демьяна, а пафосные»².

Творчество Д. Бедного на протяжении всех пятилеток — это поэтическая летопись наших трудовых побед, яркий исторический документ нашей доблести и славы.

Не будет преувеличением сказать, что Д. Бедному не повезло с критикой. И при жизни и после его смерти о поэте мало и плохо писали. А некоторые эстетствующие судьи с глубокомысленным видом пытались доказать, что Д. Бедный выше агитки-однодневки не подни-

¹ В. Маяковский, Полн. собр. соч., т. 12, ГИХЛ, 1958, стр. 88.

² Н. Крупская, Воспоминания о В. И. Ленине, ГИЗ, М.—Л. 1931, стр. 192.

мается и что его поэтическая технология просто-напросто не представляет исследовательского интереса.

Подобного рода «мнение», конечно, не имело под собой почвы и опроверглось самой популярностью поэта.

На самом же деле поэтическая технология Д. Бедного высока, язык его стихов отличается гибкостью и весьма разнообразен по своему словарному составу.

Всего нагляднее эти свойства проявились в его работе над политической эпиграммой и басней, вообще над сатирическим стихотворением. Заслуженным успехом у читателя пользовалось умение Д. Бедного высмеивать врагов, внешних и внутренних.

В совершенстве владея приемами иносказания, как правило, конкретизируя свое ироническое повествование, вооружая его «подводным», скрытым смыслом и тонким намеком, поэт был мастером грозного, далеко слышимого смеха. Особенно крепко доставалось на орехи от Д. Бедного заморским буржуям, финансовым акулам всех мастей и их прислужникам. Отлично разбираясь в международной обстановке, зная наизуток факты, даты и лица, Д. Бедный свободно, как остроумный, высококвалифицированный политический обозреватель и комментатор, оперировал свежими телеграфными данными.

Вот как, например, пригвоздил поэт к позорному столбу одного матерого расиста, кичившегося своим «высоким происхождением». Эпиграмма называется «Подлинно черный» и снабжена кратким прозаическим введением:

*Американский миллиардер Кип-Райлендер
возбудил дело о разводе, возмущенный тем,
что жена его скрыла наличие в ее роду негритянской
крови.*

Видали? Сцепя недурна
Миллиардер взбешен! Он гневно сдвинул брови!
Он не выносит «черной» крови,
Оп, совесть чья черным-черна!

С такой же лаконичностью и фактовой достоверностью высмеяна усердствующая полиция в Токио, изымающая из рабочих библиотек произведения Мольера как заключающие в себе «опасные для государства мысли»:

Вот мы чего в стране микадо дождались,
Как накалилась атмосфера!
На книгах Лешина там власти так ожглись,
Что в страхе дуют... на Мольера!

Необходимая краткость здесь сочетается с умной афористичностью, уходящей своими корнями в народную поговорку.

А вот как выгодно в своих сатирических целях использовал Д. Бедный обыкновенную фамилию, за которой, разумеется, стояли опять-таки достойные издевки факты:

Если судить

*В новом английском правительстве
министр торговли — Вильям Грэхэм.*

Мы, конечно, себе не рисуем идиллии,
Будем рады взаимным торговым делам,
Хоть они и пойдут, коль судить по фамилии,
С грэхэм пополам.

Внешне — шутка, легкое поостроение сатирической миниатюры, а внутренняя жизнь миниатюры несет в себе предельную смысловую политическую нагрузку.

Этими же приемами отличаются и многие стихи и фельетоны поэта на темы внутренней жизни.

Д. Бедный был мастером басни, которую он, как никто в советской поэзии, поднял на уровень подлинного искусства. С какой естественностью льется, с какой «прозаической» ясностью воспринимается и с какой, наконец, поэтичностью развивается басня «Порода», написанная Д. Бедным еще в 1912 году.

У барыни одной
Был пес породы странной,
С какой-то клычкой иностранной.
Был он для барыни равно что сын родной,
День каждый собственной рукой
Она его ласкает, чешет, гладит,—
Обмывши розовой водой,
И пудрит и помадит,
А если пес нагадит —
Приставлен был смотреть и убирать за ним
Мужик Аким.

Язык басни обыденно прост, по отнюдь не простоват, повествовательная манера предельно приближена к житейскому говору, но каждое слово фразы демократично, а не стилизовано «под народ». Поэтому-то басня так легко читается, так мгновенно усваивается ее содержание и так не ослабевает интерес к ее сюжету.

Но под конец такое дело

Акиму надоело:

«Тыфу,— говорит,— уйду я к господам другим!

Без ропота, свободно

Труд каторжный спешу.

Готов служить кому угодно,

Хоть дьяволу, по только бы не псу!»

Так, порешив на этом твердо,

Оставшись как-то с псом пасдным,

Аким к нему: «Скажи ты мне,

Собачья морда,

С чего ты пос дерешь так гордо?

Ума не приложу:

За что я псу служу?

За что почет тебе, такому-то уроду?!»

«За что? — ответил пес, скрывая в сердце злость.—

За то, что ты — мужичья кость,

И должен чтить мою высокую породу!»

И, завершая басню, Д. Бедный, как всегда запасший для копцовки ударную силу сарказма, с сочувствием и сдержанным ишевом говорит:

Забыл Аким: «По роду и уделу»

Так ведь Аким — престонародье.

И с размаху, под дых бьет поэт по тому, вернее — по тем, кто сделал унижительной и невыносимой жизнь простого трудового человека:

Но если я какого пса задел,

Простите, ваше благородье!

Это язвительное и грозное «Простите, ваше благородье!» — блеск политической проны, высшая точка обличительного смеха.

С годами Д. Бедный не утратил, а, наоборот, умножил и «натренировал» свои басенные приемы, показав себя как истинного новатора в этой области. Подтверждением сказанного служат такие его басни, как «Еж» (1933), «По гостю — встреча» (1943), «Обжеженный вор» (1944). Д. Бедный доказал, что басня только в том случае достигает цели, только тогда воспитывает и приносит пользу, когда построение ее минует лобовое решение темы.

Басни в руках Д. Бедного — это высокое умение сравнивать плохое с хорошим, находить уязвимые, слабые

стороны явления, опознавать и обозначать отрицательное. Отбор крылатого слова, четкий характер действующего лица — вот на чем крепко держится и не перестает действовать басня Д. Бедного.

Д. Бедный был и остается примером беззаветного служения интересам пролетариата, примером коммунистического отношения к писательскому труду.

Справедливость, однако, требует сказать, что не все гладко было в творческой биографии поэта, были в ней и срывы, и периоды заблуждений, и процессы легкого преодоления ошибок.

По свидетельству А. М. Горького, В. И. Ленин «усиленно и неоднократно подчеркивал агитационное значение работы Демьяна Бедного», но отметил: «Грубоват. Идет за читателем, а надо бы немножко впереди».

Помимо некоторого упрощения формы стиха, Д. Бедный иногда допускал в своем творчестве идейные ошибки. Упрощенно подходя к явлениям, он не умел порою правильно осмыслить прошлое русского народа. В стихотворении «Слезай с печки!» великий русский народ был изображен лежебокой, национально ограниченным, остановившимся в своем развитии. В искаженном виде предстали перед читателями и зрителями картины истории русского народа в тексте оперы «Богатыри» (1936).

Поэт не понял исторически прогрессивного смысла такого факта, как крещение Руси, и карикатурно изобразил русских богатырей, чьи образы, созданные народом, выражали народные представления о доблести и мужестве. Партийная печать со всей прямотой указала Д. Бедному на его промахи.

Суровая, но благотворная критика помогла поэту понять и преодолеть свои ошибки, глубоко продумать и осмыслить историю родного народа, с новой силой служить ему в период народных испытаний.

В годы Великой Отечественной войны Д. Бедный воспел великое мужество родного народа, с боевой страстью заклеил фашистских захватчиков в своих стихах и баснях. Твердая вера в непобедимость родины звучала в его поэзии:

Мы отразим врагов. Я верю в свой народ
Несокрушимую тысячелетней верой...

Гвоздя недругов и восхваляя бойцов фронта и тыла, воспевая русских матерей, восхищаясь отвагой советских партизан, энтузиазмом советских патриотов, отдавая все свои душевные силы делу разгрома фашистских поработителей, Д. Бедный дошел до светлого часа победы. Радость победы прозвучала в последнем стихотворении Д. Бедного, написанном им 9 мая 1945 года, за шестнадцать дней до смерти.

Творческий путь пролетарского поэта, отдавшего все свое дарование неутомимому служению народу, — это путь славный и глубоко поучительный. Долг советских литературоведов — создать серьезные исследования, которые дали бы всесторонний анализ своеобразного мастерства Д. Бедного, раскрыли бы глубокие корни и органические связи его поэзии с прогрессивной поэзией прошлого, помогли бы современным поэтам освоить поэтическое наследие публицистики и сатиры гласная революции.

Следуя принципу преемственности классической русской литературы, Д. Бедный стеной стоял за реализм и народность, настойчиво шел на сближение с народом, с его думами и делами, не лакировал, не приглаживал действительность, а показывал ее в лучших своих произведениях на основе правдивых конфликтов и противоречий.

Д. Бедному, как и В. Маяковскому, считавшему высшим своим творческим достижением абсолютный контакт с народом-строителем, присущи благородные порывы. И надо признать, что это обстоятельство в высокой мере роднит и сближает этих двух революционных певцов новой жизни, несмотря на все различие и непохожесть их поэтики.

Черты благотворного стиля социалистического реализма явственно характеризуют того и другого.

Учеба у народа, создание типического на почве проявления настоящей партийности, точное чувство адресата — путевые знаки неутомимой демьяновской музы, ведущие сигнальные огни его движения вперед.

Демьян Бедный всем своим обликом труженика-агитатора учит ныне живущих и действующих советских поэтов революционной бдительности, непоколебимой вере в бессмертие трудового народа, беззаветной преданности и любви к партии коммунистов.

Огромной наградой, одним из самых знаменательных дней своей жизни считаю я день, когда познакомили меня с Демьяном Бедным. Как и всякий крупный человек и большой художник, Ефим Алексеевич был внимателен, прост и уважителен к людям, мыслил масштабно и щедро. Поэтому он немедленно «нашел ключ» к разговору по душам, установил контакт между собой, знаменитым человеком, и мною, случайным знакомцем, учащимся на последнем курсе Литературного института имени Горького. И с первого же знакомства у нас появились родственные интересы.

Начиная с 1939 года и по май 1945-го продолжались счастливые мои встречи с Демьяном Бедным. И я должен прямо сказать, что беседы с этим выдающимся революционером, первоклассным мастером слова нельзя иначе назвать, как только двумя словами — школой мудрости.

Все мы, советские поэты, мечтаем написать хорошие стихи о Ленине. К сожалению, далеко-далеко не всем удалось осуществить эту мечту. А вот у Демьяна Бедного есть такого совершенства стихи о рождении Владимира Ильича, так прекрасно и безупречно они сделаны, что это признают представители всех поэтических школ.

«Никто не знал...» называются эти поразительно прозрачные, наполненные солнечным светом, верные исторической правде строфы:

Был день как день, простой, обычный,
Одетый в серенькую мглу,
Гремел сурово голос зычный
Городового на углу.
Гордясь блеском кампавки,
Служил в соборе протопоп.
И у дверей питейной лавки
Шумел с рассвета пьяный скоп.
На рынке лаялись торговки,
Жужжа, как мухи на меду.
Мещанки, зарясь на обшвики,
Метались в ситцевом ряду.
На дверь присутственного места
Глядел мужик в пемой тоске,—
Пред ним обрывок «манифеста»
Желтел на выцветшей доске.
На калапче кружил пожарный,
Как зверь, прикованный к кольцу,

И солдатня под мат угарный
 Маршировала на плацу.
 К реке вилась обозов лента,
 Шли бурлаки в мучной пыли.
 Куда-то рвало студента
 Чпы конвойные вели.
 Какой-то выпивший фабричный
 Кричал, кого-то разнося:
 «Про-щай, студентик, горемычный!»

Никто не знал, Россия вся
 Не знала, крест песа привычный,
 Что в этот день, такой обычный,
 В России... *Ленин родился!*

Разговорно, на одном дыхании, плавно и широко да-на вся тогдашняя Россия с ее застойным «православным духом», великодержавной плесенью, социальным неравенством и нарастающей исподволь революционной бурей. Как забрезжившая утренняя зорька, как первый радостный луч восхода воспринимается рождение Володи Ульянова, будущего вождя угнетенных людей. Композиционно стройное, немногословное, но эпически емкое стихотворение «Никто не знал...» запомнилось мне после одного лишь прочтения.

Я спрашивал Ефима Алексеевича: «Как это вам удалось в таком малом количестве строк сказать так много?» Он отвечал скромно и улыбочиво: «Это не я виноват, а мои мама с папой. Мама — это правда, от которой пельзя отступать, если хочешь написать что-нибудь дельное, папа — это мой хоть и маленький, но талант».

Мне хочется закончить эту свою прозаическую заметку стихами о Демьяне Бедном. Они родились у меня под впечатлением одной из мимолетных, но незабываемо тревожных встреч с выдающимся мастером боевой поэзии.

В тревожном сорок первом, в первый год войны,
 Я повстречался с ним нечаянно на Трубной.
 Он двигался вразрез большой людской волны,
 Спокойный и могучий, как Иван Поддубный.
 Он почему-то, помню, шел по мостовой,
 держа в одной руке измятую фуражку,
 шагал широкою походкой деловой
 в потертом кожане, надетом нараспашку.
 Остановил меня.

Лукаво, как всегда,

прищуриль глаз, блеснул искусством остролова:
откуда, мол, заплыв? Откуда и куда?
Затем, меняя тон, нахмурился сурово:
— Итак, война.

Беда.

На нас напали псы.
Ну что ж, пускай пеняют на своих хозяев.
Привдется бить по-русски! —

Глянул на часы
и поспешил вперед, в вечерней мгле растаяв...
Сквозь долгий вой сирен и рвущийся металл,
всем существом почуяв радостные сроки,
весь мир, любуясь, вскоре в «Правде» прочитал
простые, зрячие демянновские строки:
«Пусть приняла борьба опасный оборот,
пусть немцы тешатся фашистскою химерой.
Мы отразим врагов. Я верю в свой парод
несокрушимою тысячелетней верой».
Промчался тяжких лет военный ураган.
Победы свет взглянул в лицо родному краю.
Но то, что в первый день войны сказал Демян, —
я и теперь нередко с жаром повторяю.

1956—1967

ЕМУ СУЖДЕНА СЛАВА

Недалеко от Рязани, в селе Константинове, растянувшимся по правому, высокому берегу Оки, в крестьянской семье родился третьего октября, или двадцать первого сентября по старому стилю, 1895 года знаменитый русский поэт Сергей Александрович Есенин.

Здесь прошло его детство, здесь он учился — сначала в сельской школе, затем в церковноучительской в Спас-Клепиках.

За селом простираются заливные луга с небольшими озерцами, с густой травой. С крутого окского берега открывается та бескрайняя русская даль, которую знают жители наших больших рек — Волги, Дона, Иртыша, Енисея, Амура.

Чувство простора и в то же время мягкость и нежность русской природы — все это входит в прекрасные стихи Есенина.

А. М. Горький, любивший его стихи, видевший в поэте замечательное проявление таланта русского народа, писал, что Сергей Есенин — это «орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей», любви ко всему живому в мире...».

Это глубоко верно: есенинская поэзия дышит запахом родных просторов. Она светится народными радостями, напоена беспредельной привязанностью к той земле, на которой родился поэт, к тому народу, из которого он вышел.

Край любимый! Сердцу внят
Сквозь сон колоса в водах лопных,
Я хотел бы затеряться
В зеленых твоих стозвонных.

Эти пронзительные строки родились в 1914 году, но и ранее и позже, и в юношеский период и в период возмужания, ромашковым шелестом, звоном степного колокольчика, трелью щегла и лесной ворожкой кукушки обдают читателя стихи Сергея Есенина, едва только перелистнешь страницы любой его книги.

Удивляет ранняя способность поэта видеть мир, осо-

бенно мир растительный и животный, по всей его перво-
зданной тайне, находить редкие по своей графической
точности детали пейзажа, обнаруживать свежие, никуда
дотол не тронутые краски и располагать их на полотне
искусной рукой живописца.

Пятнадцатилетним подростком Сергей Есенин рисует
природу родной Рязанщины так, словно он прожил в
общении с ней несколько десятилетий. Вот как видится
юному художнику слова тихий весенний вечер:

Хорошо и тепло,
Как зимой у печки.
И березы стоят,
Как большие свечки.

И вдали за рекой,
Видно, за опушкой,
Сонный сторож стучит
Мертвой колотушкой.

Просто? Да, просто, может быть, но зато очень инди-
видуально и зримо, и поэтому незабываемо.

А вот такое образное решение увиденного не только
врезается в память после первого же прочтения, но
заставляет задуматься на тему о том, что высшая просто-
та и есть, вероятно, подлинная художественная правда:

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клепелочек маленький мате
Зеленое вымя сосет.

Я привел три примера из отроческих, самых перво-
начальных сочинений поэта, самых «заявочных», по уже
таким необыкновенно личным, окрашенным луговой есе-
нинской интонацией, по которой любители поэзии без-
ошибочно узнают превосходного лирика.

В самом деле, читая есенинскую строку, словно бы
не просто ловишь глазом словесную вязь, а неотрывно
рвешь цветок за цветком или жадно пьешь, глоток за
глотком, студеной и сладкий березовый сок.

Умение молодого Сергея Есенина крепнет споро и на
редкость удачно. Острый глаз, врожденный ум, цепкая
крестьянская сноровка во всем — от косыбы до прилеж-
ного чтения и неустанный тренаж в стихосложении —
позволяют богато одаренному юноше по-житейски мудро

ощущать не только окружающую природу, но и постигать, осмысливать быт и нравы односельчан и самую суть сельской жизни.

Достаточно назвать такие поражающие своей достоверностью стихи, как «Пойду в скупье смиренным иноком...», «В хате», «Сторона ль моя, сторона...», «В том краю, где желтая крапива...», «Устал я жить в родном краю...», чтобы признать за молодым стихотворцем завидное право считаться мастером своего волшебного дела.

Особенно впечатляют, трогают своей драматической сущностью, оставляют незагладимый след в душе великолепные стихотворения «Корова» и «Песнь о собаке». Оба они столь же кратки, как и содержательны, столь же печальны, как и человечны.

Добротой, «любовью ко всему живому», готовностью заштитить, уберечь от беды, заслонить от несчастья собственным сердцем наполнены эти две грустные маленькие повести.

Помните, как начинается «Корова»:

Дряхлал, выпали зубы,
Свиток годов на рогах,
Бил се выгонщик грубый
На перегонных полях.

Сердце пеласково к шуму,
Мыши скребут в уголке.
Думает грустную думу
О белоногом телке.

Не дали матери сына,
Первая радость не впрок,
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок.

И как потрясающе скорбно, с какой-то недосказанной нотой укоризны звучат заключительные строфы:

Скоро на гречневом сесе,
С той же сыповней судьбой,
Свяжут ей петлю на шею
И поведут на убой.

Жалобно, грустно и тоще
В землю вопьются рога...
Спится ей белая роца
И травяные луга.

Клубок подкатывает к горлу, когда читаешь «Песнь о собаке». Будто воочью видишь обезумевшую, подавленную, отторгнутую от материнства суку, у которой отняли и утопили новорожденных и которой показался «месяц над хатой одним из ее щенков».

Нужно было обладать великим чувством уважения ко всему существу, чтобы с полным основанием сказать через десять лет:

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облакает в плоть,
Мир осипам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую воду.

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я жепщину,
Мял цветы, валялся на траве
И зверью, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Искренний, покоряющий интимностью, поэтический талант Сергея Есенина созрел рано и, если можно так выразиться, навсегда облачился в яркий сарафан славянской речевой стихии, тонко вытканной и красочно расшитой самим народом-языкотворцем.

Фольклорная основа языка, уснащенная к тому же церковными речениями, на первый взгляд «старомодная», а по сути дела в корне обновленная, не свободная от заимствований, но ошеломляющая своей неожиданной образностью, нашла в Сергее Есенине своего заповедного чародея. Щедрая метафоричность его стиха порой просто ослепляет, заставляет смотреть на изображаемую картину, жмуря глаза, как от солнца:

Тихо в чаще можжевеля по обрыву.
Осень — рыжая кобыла — чешет гриву.

Над речным покровом берегов
Слышен синий лязг ее подков.

Схлипень-ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным

И делует на рябиновом кусту
Явы красные незримому Христу.

Не удивительно, что внезапное появление золотокудрого рызапца в равнодушном, пресыщенном разного рода «литературными новостями» Петербурге произвело непредвиденно выгодное для него впечатление. Нет, не за красивые голубые глаза и не за ангельский вид оперного Леля был благосклонно принят Сергей Есенин поэтической средой тогдашней российской столицы. Как сказочный заезжий корабейник, развернул он перед изощренными ценителями свои расписные товары, блестящие серебром росы, заволакивающие ситцем небес, поражающие парчой осеннего жнивья.

Кроме Александра Блока, Андрея Белого и Сергея Городецкого, с особенным радушием приветивших Сергея Есенина, на пути молодого поэта встал целый сонм оголтелых рифмачей, ревнителей декаданса, истерических проповедников реакционно-блудливых модных течений, исповедующих всевозможные темные верования — от религиозно-мистической ереси до откровенной порнографии. Чего стоило только одно паличие таких «служителей музыки», как Зинаида Гиппиус и юродствующий церковник Николай Клюев!

К чести Сергея Есенина надо сказать, что, несмотря на молодость и неопытность, несмотря на бездну искушений, он сумел сохранить в себе чистую лирическую основу певца народной России. Здоровое человеческое начало, заложенное в душе поэта с отроческих лет, удержало его на поверхности быстротекущей бурной жизни. Ни сдержанные похвалы маститых авторитетов, ни салонный фимкам, ни чадные пересуды литературных коридоров, ни смрадный дым кабаков не заслонили от поэта заревых рассветов на Оке, не заглушили жаворонка над пашней.

Видно, тысячами нитей он был связан с родимыми сипими далями, если в тревожную пору шумного успеха не переставал стремиться к ним:

Тебе одной плету венок,
Цветами сыплю стезьку серую.
О Русь, покойный уголок,
Тебя люблю, тебе и верую.

Да и значительно позже, после бесчисленных житейских бурь, после многих вальсов и срывов, во время своей почти двухлетней заграничной поездки (тысяча девятьсот

двадцать первый — тысяча девятьсот двадцать третий годы) Сергей Есенин в стихотворении, написанном в Париже, говорил:

А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.

Видит поэт, как «август прилег ко плетню», как держат «липы в зеленых лапах птичий гомон и щебетню». Стихи поэта берегут в себе и радость, и «печаль полей», и «нежность грустную русской души», и «буйство глаз», и «половодье чувств».

Говоря так, подчеркивая патриотизм Сергея Есенина, я совсем не собираюсь обрисовать его как «сто процентного марксиста», осуществлявшего революцию. Отнюдь нет.

Сергей Есенин прошел чрезвычайно сложный творческий путь. Буржуазно-декадентская мать, в которую окунулся поэт в Петербурге, а затем в Москве, наложила, конечно, отпечаток на его лирику; внесла в нее упадочнические мотивы. Сказывается в стихах Сергея Есенина и ограниченность его мировоззрения, идеализация патриархального деревенского уклада.

И все же, вникая в талантливые, страстные творения, заглядывая в путро его воспальной, откровенной натуры, все время чувствуешь сердцебиение беспокойного человека, жадно тянущегося к новому, ревнивое желание не отстать от новой жизни.

Подтверждений этому — множество. Главнейшее из них, на мой взгляд, заключено в зарубежных странствиях поэта, в тех трезвых, искренних выводах, которые сделал для себя проникательный путешественник.

Очувтившись в капиталистическом мире, наблюдая торгашескую, сытую, пропитанную ханжеством и цинизмом, построенную на безудержной эксплуатации привилегированным меньшинством угнетенного большинства жизнь буржуа, Сергей Есенин со всей присущей ему прямоотой осудил и проклял западных насильников-толстошумов.

Правда, «способ» его осуждения носил подчас характер крайней несдержанности и, так сказать, излишнего расходования эмоций.

А. Воропский, например, свидетельствует в воспоминаниях: «Иногда он говаривал по поводу своих загранич-

ных скандалов: «Ну, да, скандалил, но ведь я скандалил хорошо, я за русскую революцию скандалил». И повторял рассказ о том, как в Берлине, на вечере белых писателей, он требовал «Интернационал», а в Париже стал издаваться под враждебными и денкиппцами в отставку, ставшими ресторанными «шестерками». И там и здесь его били».

Наиболее язвительно проявилось непримиримое отношение Сергея Есенина к враждебному капиталистическому Западу в его очерковых записях о Северной Америке, которую он исколесил вдоль и поперек и которую с публицистическим остроумием едко окрестил «железным Миргородом».

Стоит процитировать некоторые места из путевой есенинской прозы, где наглядно и красноречиво выражены передовые воззрения поэта, свидетельствующие о его безусловном идейном возмужании.

Сергей Есенин, без сомнения, был взбудоражен видом «машинного царства», по-своему пленен цивилизацией, по это, однако, не мешало ему по-советски, по-русски, по-хозяйски рассуждать об увиденном и услышанном, думать о будущем с позиций необходимого извлечения пользы для родины.

«Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше. Вспомнил про «дым отечества», про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за «Русь», как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил пищу России. Милостивые государи! С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство. Пусть я не близок коммунистам, как романтик в моих поэмах, — я близок им умом и надеюсь, что буду, может быть, близок и в своем творчестве». И еще: «Обиженным на жестокость русской революции культурникам не мешало бы взглянуть на историю страны, которая так высоко взметнула знамя индустриальной культуры».

Хвала «технику быта» и далеко не лестно отзываясь об интеллекте многих американцев, пахотя, что «влачество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам», утверждая, что «американец всецело погружается в «бизнес» и остальное знать не желает»,

Сергей Есенин особенно клеймит позором наемных буржуазных писак. «Море огня с Бродвея освещает в Нью-Йорке толпы продажных и беспринципных журналистов. У нас таких и на порог не пускают, несмотря на то, что мы живем чуть ли не при керосиновых лампах, а зачистую и совсем без огня».

При всей своей стилистической ершистости и несомненной запальчивости в этих словах Сергея Есенина отчетливо видна его политическая точка зрения на тогдашнюю заокеанскую действительность, ощущается пестинная гордость и сознательность советского гражданина.

Недаром А. Воронский в тех же самых воспоминаниях, опубликованных после гибели поэта, пишет: «Есенин был дальновиден и умен. Он никогда не был таким наивным ни в вопросах политической борьбы, ни в вопросах художественной жизни, каким он представлялся простым простакам. Он умел ориентироваться, схватывать нужное, он умел обобщать и делать выводы. И он был сметлив и смотрел гораздо дальше других своих поэтических сверстников. Он взвешивал и рассчитывал. Он легко добился успеха и признания не только благодаря своему мощному таланту, но и благодаря своему уму».

Итак, Сергей Есенин умел обобщать и умел взвешивать. И мы, дорогой читатель, тоже должны уметь обобщать и взвешивать. Не надо усердно заслонять обаятельный образ лиричнейшего, нежнейшего классического поэта «Москвой кабацкой» и «Черным Человеком». Не надо без конца «совать в нос» Сергею Есенину его временное увлечение формалистическими вывертами пмажпизма, от которого, слава богу, он сам убежал, как черт от лада.

Талант Сергея Есенина необходимо рассматривать в совокупности, а не только с тепевой стороны.

Впрочем, сегодняшний читатель, который отлично знает и любит лирику Есенина, давно научился проходить мимо отсталых или улабочных построений у Сергея Есенина и, наоборот, принимать в нем то, что близко народу. то светлое и положительное, что трепещет, как яблоневый цвет, в есенинской поэзии.

«Читая Есенина, я чувствую живую душу человека, вложенную в стихотворения. — и понимаю ее, — пишет читатель товарищ Трунов. — Есенин был большим поэтом и большим патриотом нашей родины. Именно за это я

его уважаю — он учит меня понимать и любить свою страну, любить ее более всего на свете».

С этой оценкой нельзя не согласиться. Безусловно, основа есенинской поэзии народная. Потому его стихи и живут в природе.

Что привлекло мое, например, внимание к поэзии Сергея Есенина? Прежде всего его живописное, напоенное ароматом бескрайних русских просторов, слово, искреннее, неподдельное чувство любви к отчему краю, пленительная образность речи, в большинстве своем обращенная к обильной природе родной земли, к простым трудовым людям, населяющим ее.

Еще в тысяча девятьсот четырнадцатом году поэт писал:

Гой ты, Русь моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

И далее в этом же удивительно раздольном, по-есенински озорном и задорном стихотворении, как весенний ветер в лицо, плещут свежие строки:

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!» —
Я скажу: «Но падо рая,
Дайте родину мою».

Этот животворный мотив патристического отношения к своей родине, выраженный с беззаветной, чисто русской национальной яркостью молодым Сергеем Есениным, становится главным в его творчестве позднейших лет.

Значительное количество примеров горячей любви поэта к своей отчизне живет и светится и в раннем и в зрелом возрасте его поэтической судьбы. От юношеских, чистых и звонких, полных раздумья и мечтаний, по еще отвлеченно-созерцательных стихотворений Сергей Есенин пришел к таким сознательно революционным, талантливым и ясным произведениям, как «Песнь о великом походе», «Баллада о двадцати шести», к стихам о Ленине, со-

гретым глубокой человечностью, передающим великую скорбь свободного народа, связанную с кончиной гениального вождя, капитана революционных бурь.

Но и тогда, в пору создания наиболее ценных социально-весомых работ, Сергей Есенин все же не был свободен до конца от гнетущих, мертвящих пут прошлого, от болезненных вывихов, которыми «поградила» его буржуазно-декадентская нечисть, уцепившаяся за его светлую душу еще задолго до октябрьских событий и путавшаяся в ногах до самых последних дней его пелегкой жизни. Темы тоски, упадочничества и захватско-бунтарского, а по существу чуждого новому времени и самому Сергею Есенину «духа уныния», к сожалению, нередко проникали в есенинскую поэзию.

Говоря о Сергее Есенине сегодня, мы, современные читатели его неувядающих творений, мы, советские поэты, утверждающие правду коммунистических идей, должны прямо и смело осудить в творчестве Сергея Есенина тепловую сторону его политической отсталости и оборонить, защитить, сохранить золото его подлинно прекрасной, прогрессивной художественной мысли.

Мы обязаны, как говорил Владимир Маяковский, «к решеткам его памяти» приписать не «посвященный и воспоминаний дрянь», а объективное, убежденное слово верной оценки.

Мы должны раз и навсегда, глядя правде в глаза, отделить здорового Есенина — от больного, шагающего вперед, к советскому мировоззрению, от прозябающего и заблуждающегося, ясного — от сумеречного.

Мне, в годы моей юности и сейчас, были всегда противны потки кабацкой удалы, грубовато-обнаженной, натуралистической педержанности, кулацко-замшелой бессмысленности в стихах Сергея Есенина, и наоборот, вызывали и вызывают чувство восхищения и благодарности удивительные, солнечные, музыкальные переливы поющего лиризма.

Лучшая часть есенинских стихотворений — это шедевры лирического письма, которым суждена долгая слава и уважение многомиллионного внимательного читателя.

Худшее в Сергее Есенине — мертво, а лучшее продолжает играть всеми цветами радуги, радовать и украшать советскую литературу, и мы, обладатели этого богатства, никогда не отдадим его в чужие руки, никогда не позво-

лим оклеветать певучую, пленительную есенинскую музу. К трагическому концу, яркому, трудному и противоречивому факту существования большого художника обязательно примазываются претенциозные, пеумные кликуши, но им не под силу стать настоящими ценителями искусства.

Истинный судья творчества Сергея Есенина — наш отважный труженик народ, ему и принадлежит драгоценная жемчужина есенинского таланта, он сохранил ее в своем сердце

Есенин был не только лирическим поэтом. Он создавал произведения и в эпических жанрах. В золотой фонд нашей отечественной поэзии входят такие его произведения, как поэма «Анна Снегина», в которой талантливо развернута картина русской деревни накануне Великой Октябрьской революции, когда большевистские лозунги о передаче помещичьих земель народу глубоко проникли в массы. Есенин горячо любил свою родину, гордился новой Россией.

Но ты веслу,
Которую люблю,
Я революцией велю
Называю!
И лишь о ней
Страдаю и скорблю,
Ее одну
Я жду и призываю!

Поэзия Есенина — огромная художественная ценность советской литературы. Она продолжает питать и нас, советских поэтов, красотой своих образов и человеческих чувств, вложенных в них.

ОН ЗНАЛ ЯЗЫК ДО КОРНЯ

Поэзию Николая Асеева очень хорошо знает и любит наш народ. На заре советской культуры, в грозную и величественную пору революционных бурь, приметно зазвучал лирический, звонкий и свежий голос поэта.

Счастливая встреча с Маяковским, вылившаяся в великодушную, долгую, радостную дружбу с ним, озарила молодого Николая Асеева жарким огнем политической страстности, непримиримости к темному царству старого мира, упрочила в молодом поэте любовь к свободе, сроднила с трудовым человеком, вступившим в борьбу за светлое будущее.

Сын агента страхового общества «Россия», поставленный сплои жизненных обстоятельств в узкий круг мешалиских представлений о мире, юный и беспокойный Асеев решительно вырывается из этого душного и тесного круга на свежий ветер больших расстояний, новых встреч и впечатлений.

Окончив Курское училище, он едет в Москву, поступает в Коммерческий институт, одновременно вольнослушателем посещает лекции в Московском университете на филологическом факультете. Здесь-то, под сводами старейшего заповедника революционной культуры и прогрессивной мысли, будущий поэт получает первые политические уроки. Мечта о прекрасном становится программой борьбы за него.

Было что послушать в ту мрачную царскую пору в мятежных аудиториях Московского университета, было к чему приложить сильные молодые руки, было с кем завязать дружбу!

Первое стихотворение Н. Асеева напечатано в журнале «Современник» в 1913 году. Друг за другом, с маленькими перерывами во времени, выходят в свет сборники — «Ночная флейта» (1914), «Леторей» (1915), «Оксапа» (1916). В книжке «Оксапа» поэт уже энергично стремится преодолеть декадентские настроения, с которыми расстаётся навсегда под воздействием Великого Октября.

Участие в качестве рядового в первой мировой войне, суровая школа испытаний принесли поэту ясную гражданскую зрелость.

В 1917 году Н. Асеев избирается в Совет солдатских депутатов 139-го пехотного полка. Командируется на Дальний Восток, в школу прапорщиков. Здесь и застаёт его Октябрьская революция.

Из Владивостока по вызову А. В. Луначарского Н. Асеев выезжает в Москву и рядом со своим могучим, неукротимым другом Владимиром Маяковским засучив рукава принимается за «ежечасное, черновое, правое дело» революционной пропаганды и агитации.

С этого времени гневное и восхищённое слово Н. Асеева непрерывно звучит со страниц «Лефа» и «Нового Лефа», со страниц газет «Известия», «Заря Востока», «Вечерняя Москва», позднее — со страниц «Правды».

Перелистывая журналы того времени, вообще трудно назвать какой-либо из них, в котором бы не печатал свои взволнованные стихи и боевые лозунги Н. Асеев.

Всегда злободневный, целеустремленный, глубоко идейный по содержанию, энергичный стих Николая Асеева с завидной силой и меткостью разит притаившегося саботажника и обывателя, прославляет активного, молодого строителя Советской республики.

Предостерегающе грозно и гордо гремит в воздухе первых лет пролетарской революции «Марш Буденного»:

С неба полуденного
жара не подступи,
конная Буденного
раскинулась в степи.
Не сынки у мамоек
в помещичьем доме,
выросли мы в пламени,
в пороховом дыму.
Все, что мелкой птишкою
вьется на пути,
перед острой шашкою
в сторону лети.

Становится девизом, по праву узаконивается, как пословица, железное четверостишие марша:

Никто пути пройденного
назад не отберет,
конная Буденного,
армия — вперед!

Заслуженно стоит в ряду лучших образцов советской поэзии написанная в 1925 году поэма «Двадцать шесть». В ней Николаю Асееву удалось с исключительной поэтической выразительностью сказать свое скорбное слово о трагической гибели двадцати шести бакинских комиссаров.

Не одно поколение поэтической молодежи училось по этой поэме умению выразить чувство патриота, чувство презрения к насильникам и палачам, заклятым врагам молодой Советской республики.

Вспомним и прочитаем наизусть строки:

Темел Баку,
дымел Баку.
Отчаянье.
Ночь.
Нефть.
Решетка у лба
и пуля в боку
для тех,
кто не скрыл гнев.
Фонтаном пестает
восемнадцатый год,
беспомощен и суров.
Британская Индия
маршем шлет
своих офицеров.
Им нефть нужна,
им нужен хлопок,
а хлыст и поход —
их страсть...
Но пуле —
хочет английский сапог
Советскую смять власть.

Это предельно просто и точно сказано. Время идет вперед, но созданное художником честное, прямое слово не умирает, оно продолжает свою ясную, громкую жизнь и полнится новым, разящим смыслом в наши дни. Хотелся снова и снова цитировать эту суровую поэму, по ограничимся широко известной, полной неподкупной любви к героям строфой:

Не стереть с лица румяя
и в землю в страхе не зарыться
тому,
кем предан Шаумян,
тому,
кем предан Джапаридзе.

Николай Асеев — поэт в подлинном смысле этого слова публицистический, его творчество отмечено верой в победу советского строя, верой в справедливую, человеколюбивую миссию большевизма.

Язык лучших произведений Асеева по-настоящему свеж, пронизан родниковой прозрачностью и прелестью. Мягкий лиризм, нежное ощущение русского пейзажа, милый, радушный бытовой говорок — это все неизменные, верные спутники асеевской, всегда взволнованной и своеобразной речи.

Гордое ощущение родной истории, душевная присяга святому делу преобразования мира на основе справедливости и братства, национальное достоинство и восхищение родиной — это все неотъемлемые черты асеевской поэзии.

Вспомним его «Декабристов», вспомним поэму «Семен Проскаков», построенную на фактовом, биографическом материале, всю освещенную изнутри безграничной любовью к революционному подвигу во имя правды на земле.

Сколько в ней естественности, достоверности, как сердечно и обаятельно нарисован образ простого, мужественного солдата революции партизана-сибиряка Семена Проскакова.

А разве можно забыть стихотворение «Время лучших», посвященное памяти Ф. Э. Дзержинского? Трагичное, правдиво и ярко рисующее облик рыцаря революции, грустное и траурное, оно вместе с тем заряжено такой оптимистической энергией, так убеждающе наступательно по духу своему и по «всей своей строчечной сути», что, перечитав его, повторяешь как песню:

Над огромным,
неподвижным краем
время —
лучшим
сердце утомлять...
Умираем?
Нет, не умираем,—
порохом
идем в тебя, земля!

Перелистывая многочисленные книги Николая Асеева, все время встречаешь пропикнованные, с первого раза полюбившиеся стихи и поэмы, такие, как «Эстафета», «Весна войны», «Чернышевский», «Кавказские стихи», «Владимирский тракт», «Лирическое отступление», «Полет пуль», «Счастье», и многие, многие другие.

Особое место в творчестве Николая Асеева занимает поэма «Маяковский начинается».

Откровенно дневниковая, насыщенная фактами огненной биографии выдающегося поэта, согретая личными, незабвенными воспоминаниями, поэма эта образно повествует о горячем, неутомимом сердце Маяковского, раскрывает дорожку каждому советскому человеку характер борца за наше великое, общее дело.

В некоторых своих частях, в таких, например, как глава «Площадь Маяковского», Асееву удалось с истерывающей силой, достойной памяти своего великого неукротимого друга, рассказать самое сокровенное, самое важное о нем.

По заслугам оцененная читателем, поэма «Маяковский начинается» является ценным вкладом в нашу отечественную и русскую поэзию.

Автор многих и многих стихотворений, неоднократно переиздававшихся и быстро расходившихся, выпустивший в свет около ста книг стихов, автор многочисленных, тщательно выполненных переводов из поэтов союзных республик, автор таких замечательных переводов на русский язык, как «Конрад Валленрод» Адама Мицкевича и пародная лирическая драма Я. Райниса «Вей, ветерок», Николай Асеев неустанно и упрямо работал все последние годы над своими собственными стихами, воспевая величие новой жизни. Вот первоклассное стихотворение, помеченное 1946 годом; оно не велико по размеру, приведем его целиком.

Создателю

Взгляни — заря на небеса,
на крышах — ищем роса,
мир новым светом засиял,—
ты это видел, не проспал!

Ты это видел, не проспал,
как мир иным повсюду стал,
как стали камни розоветь,
как засветились сталь и медь.

Как пробудились сталь и медь,
ты в жизни не забудешь впредь,
как, точно пену с молока,
сдул ветер с неба облака!

Да нет, не вену с молока,
а точно стружки с верстака,
и нет вчерашних туч следа,
и светел небосвод труда.

И ты внезапно ощутил
себя в содружестве светил,
что ты не гаснешь, ты горюшь,
живешь, работаешь, творишь!

Все задушевнее, доходчивей звучит стих Асеева, освобожденный с годами от замысловатого полета нарочитой усложненности, приобретший мудрую, спокойную простоту.

Великолепные стихи последних лет — «Еще за деньги люди держатся», «Вспомним свои молодые года!», весь цикл «На отдыхе», «Звездные стихи», «Живой памятник».

Беспокойной творческой жизнью живет Асеев, и поэтому убедительно выглядит его взволнованная речь о кипучем сегодняшнем дне и о боевом дне вчерашнем:

Не умещается
радостный мир
в тесном уюте
наших квартир!
Вспомним свои
молодые года:
как нас подхватывали
поезда!
В красных теплушках
песню везли,
слов ее
слышать без слов
не могли.

Можно утверждать: поэт значителен не только как первоклассный стихотворец, но и как отличный теоретик стиха, автор талантливых литературоведческих изысканий.

Напомним некоторые интересные его работы в этой области: «Жизнь слова», «Русский стих», «Из заметок в поэзии», «О полярности в поэзии», статьи о Маяковском для второго тома «Литературного наследства», «Ключ сюжета» — о Толстом, «Плач о Есенине».

Николай Асеев — человек огромного поэтического опыта и большой культуры, его высказывания о языке, о ритме, о композиции, о словарном составе, о классической преемственности и прочих высоких предметах, безусловно, представляют значительный общественный интерес. Он очень реалистично и конкретно размышляет о художественном словотворчестве. «Нет бессмысленного слова, как

нет и бессловесной речи», — говорит поэт в статье «Жизнь слова», и эта откровенная точка зрения главенствует во всем ходе его рассуждений. Ратуя за осмысленность, за точность и вескость слова, утверждая его разумную жизнь, Асеев со всей определенностью подчеркивает достоинства человека, оберегающего великий русский язык: «Не первое попавшееся слово выбирает он для выражения, не кое-как соединяет он слова, чтобы выразить свою мысль собеседнику, а такие слова и в таком их сочетании, которые бы кратчайшим, точнейшим и выразительнейшим образом передавали смысл высказываемого. Про такого человека говорят, что он знает язык до корня. И это в точности так». Мы можем добавить от себя, что именно таким человеком в области искусства живого художественного слова являлся сам Николай Асеев.

С давних пор, взяв за принцип вмешательство поэта в повседневную действительность, Асеев остался в нашем сердце как поэт-публицист, как отличный истолкователь сущности поэзии, неутомимый певец советского уклада жизни, друг всего нового и враг косности и отсталости.

Всеим своим многолетним и плодотворным опытом Николай Асеев утверждает прямой разговор на чистоту на самые животрепещущие и неотложные темы современности.

В дни войны и в дни мира честный голос Николая Асеева сливался с помыслами советского народа, признательного своему маститому поэту за его счастливый дар и жаркое сердце гражданина страны социализма.

Напряженно, с упорством и радостью трудился в последние годы и месяцы своей жизни Николай Асеев.

Яркие, искрящиеся книги «Лад» и «Зачем и кому пужна поэзия» и другие талантливые стихи и статьи, еще не успевшие войти в книги, увенчали жизненный и творческий подвиг поэта.

Резливо, пристрастно относился Николай Асеев к своему поэтическому делу. С вершинами мудрого опыта и мастерства следил он за процессом движения поэзии, помогая рождению новых имен.

Борясь с тяжелым недугом, Николай Асеев до последнего вздоха сохранял молодость души.

Советская поэзия осиротела, но надежным стражем чести и славы выдающегося поэта Николая Асеева будет благодарная память о нем.

1964

РОДНИК

Нету Асеева. Нету.

Нету.

Зови — не зови...

Рыщет по белому свету
оклик сыновней любви.

Где же он, добрый наставник,
где же он, труженник злой,
крестный дебатов недавних
с редкой своей похвалой?

Некому взять меча в клещи
за опевающим столом,
с ласковым фопотом вещим
жару задать поделом.

Нету ни скрипа калитки,
ни перешелка замка,
ни запоздалой открытки,
ни затяжного звонка.

Затканы в сумерки, сирь,
педоуменно глядят
окна московской квартиры
на безответный закат.

Может, зайти наудачу:

«Вот я!» — и вся недолга?

Может,

уехал на дачу?

Может,

махнул на бегу?

Нету на Каме, на Волге,
нету у Крымских холмов...

Замерли чинно на полке
пять тяжеленных томов.

Ну-ка, возьми из-за створки
в руки любой из пяти,
сядь и от корки до корки
с тихим вниманьем прочти.

Хлынут с отверстой страницы
и завладеют тобой
вдумчивых красок зарницы,
кованых звуков прибой.

Трогай, лова,
соучаствуй,
вольною грудью вбирай
гомон хмельной и привастый,
полнящий жизнь через край.
Чуешь, как утренней ранью,
дивно свежа и легка,
снегом

попынью,
геранью
терпкая пахнет строка?
Как набегают кругами
то холодище, то зной,
то пестерпимое пламя,
то низовик ледяной?
Слыпишь, как в дымке предгрозя,
словно летя на пожар,
вскачь подпевают полозья
говору синих гусар?
Веришь, как, трогая хвою,
сквозь колчаковский заслон
в темь уползает тайгою
храбрый Проскаков Семен?
Видишь, как в рост, по-бойцовски
(время ему липочем!)
к Пресне идет Маяковский,
день подпирая плечом.
Где же Асеев?

Далече...
Лишь в типине, как впервой,
бьется родник его речи,
плещется голос живой.

1969

С ПЕСНЕЙ НАПЕРЕВЕС

Как поэтическая личность, как стихотворец Лебедев-Кумач сложился значительно ранее того срока, который обычно связывают с началом его деятельности в области массовой песни.

Песня — это только одна из граней его разнообразного дарования. Правда, в песнях оно оказалось наиболее ярко выраженным и достигло редких результатов, но это отнюдь не значит, что на песнях замыкается круг его поэтической работы. Лебедев-Кумач интересен не только в песне.

Если мы обратимся к истории творчества поэта, к его рабочей биографии, мы обнаружим глубоко индивидуальные принципы работы поэта, и особый голос его, и последовательность приемов, создавших общепризнанную доходчивость произведений Лебедева-Кумача, его умение «добираться до души».

Василий Иванович Лебедев родился в 1898 году в Москве, в семье кустика-сапожника. Окончив трехклассное училище, он с огромным трудом добился поступления в гимназию. Учеба в ней была связана с большими материальными лишениями, — ему приходилось давать уроки и изыскивать другие средства к существованию. На гимназической скамье Василий Иванович проявил свои литературные способности. Его первые стихи были напечатаны в гимназические годы, в 1916 году, в «Журнале для всех», несколько переводов из Горация были опубликованы в журнале «Гермес».

Но это были лишь робкие шаги. Настоящая литературная работа началась после Великой Октябрьской социалистической революции. В течение трех лет Лебедев-Кумач работает в Бюро печати Политуправления Реввоенсовета республики. Тогда же родился его литературный псевдоним — Кумач. Уже в ту пору определяет он свое место в «рабочем строю» как оперативный газетчик и фельетонист. А. С. Серафимович так рассказывает об этом:

«Как и многим талантам, дорогу в жизнь Лебедеву-Кумачу открыла революция. В гражданскую войну он

был боец со своим творческим оружием. Это был великолепный поэт-агитатор. Просто, ясно писал он листки, воззвания, подписи под плакатами, рассказы, фельетоны. И как же слушали его вещи бойцы в окопах, в поездах, раненые в лазаретах! Он приносил им отдых, бодрость, вселял порывы опять драться, громить врага. Надо было побывать на фронте, чтобы оценить все громадное значение такого творческого оружия».

Обращаясь в дни мобилизации к идущим в Красную Армию рабочим и крестьянам, Лебедев-Кумач писал:

Крестьянин, на коня! Рабочий, за винтовку!
Всем красным миром встань, измученный парод.
Гони грабителей, гони без остановки!
Кто хочет быть живым — с винтовкою
вперед!

Когда одно из западных буржуазных правительств затеяло с нашей молодой Советской властью двусмысленную игру в «перемирие», поэт предупреждал:

Красноармеец, будь на страже,
Не дай ввести себя в обман!

Лебедев-Кумач писал стихи об организации лазаретов, о сборе игрушек для детей красноармейцев, о помощи их семьям.

У жепы красноармейца
полоса не сжата.
Что тут делать? Разумеется —
выручить собрата.

Лозунги для военного отдела «Агит-Роста», частушки для красноармейской самодеятельности, плакаты для агитпоездов — вот поэтическая работа Лебедева-Кумача в годы первых лет Советской власти.

«Этот период, — вспоминает поэт, — был школой большевистской печати, кипучей, суровой, незабываемой школой, оставившей следы на всем последующем творчестве. Создалась привычка в творческом смысле быть всегда на передовых линиях огня, не отсиживать в тылу «чистого искусства», что делали тогда многие».

Не случайно в годы, когда господствовало космическое пышпословие пролеткультовцев, Лебедев-Кумач выступал с реалистической, партийной поэтической речью.

прямо противостоящей этому псевдореволюционному творчеству. Не случайно в середине и в конце двадцатых годов его работа шла вразрез с устремлениями поэтических группок декадентского толка, — он всегда был и оставался поэтом, остро чувствующим современность, гражданским лириком, песнетворцем. Его творчество шло в русле реалистических принципов и идейной коммунистической устремленности, которые утверждали в поэзии революционной России Маяковский и Д. Бедный.

В 1922 году создается первый советский сатирический журнал «Крокодил». Лебедев-Кумач стал одним из его активнейших сотрудников и создателей...

Одновременно он пишет в «Рабочей газете». Начинает издаваться «Крестьянская газета», ее постоянным автором становится Лебедев-Кумач. На страницах юмористического журнала «Лапоть» постоянно мелькает имя Лебедева-Кумача. Работа для эстрады, для «Синей блузы», тексты для многочисленных драматических коллективов рабочих, профессиональных клубов. Многие произведения Лебедева-Кумача со страниц периодических изданий проникают в читательскую толщу и прочно входят в репертуар эстрадных актеров.

Стихи этого периода отличаются злободневностью, они очень броски, в них сказывается настоящий политический темперамент поэта-борца. Объективная ценность их — в немедленном использовании, применительно к быстротекущим событиям.

Однако в этих стихах нет еще настоящего мастерства и отточенности, они нередко написаны наспех и примитивны.

Приходится только удивляться, как плодovit поэт, какое множество тем разрабатывает он, за какое множество сюжетов берется. Тут и памфлет на международные события, и сатирическая сценка, и лирическое стихотворение, и ироническая повесть. Многое написано торопливо, но обязательно в каждой работе наталкиваешься то на отличный образ, то на хлесткий, свежий эпитет.

«Приказ — словно ветер по ротам идет!» — читаем в одном из военных стихотворений Лебедева-Кумача. Этот образ очень хорошо выражает дух и стиль его боевой поэзии.

Словарь стихов порой грубоват, до предела приближен к житейской речи, но поступь их уверенна, легка.

У рабфаковки у Зипки
Крепко врезаны пластинки
В каблучки.
Пусть не модные ботинки
У рабфаковки у Зипки,—
У нее в руках коньки.

Ну, скорее на трамвай,
Не зевай!
Тормози людской поток!
На каток! На каток!

Тут все так взвихрено, столько летучего задора, в такой дружбе находится «беспокойная» форма стиха с его смыслом, что все десять строк произносятся почти скороговоркой.

Умение строить сюжет, двумя-тремя штрихами создавать характер позволяет Лебедеву-Кумачу удачно использовать в своей работе драматические формы, и он становится одним из постоянных авторов «Театра обозрений» в 1929—1932 годах.

Элемент сатиры в сочетании с лирической публицистикой находит в творчестве Кумача все более прочное место.

Формальная сторона его творчества по мере накопления огромного опыта работы над стихом совершенствуется и мужает. Стихи Лебедева-Кумача при всей их кажущейся внешней незатейливости изобилуют многообразием ритмических ходов, строфика усложняется, поэтическая фраза становится емкой, насыщенной. Лебедев-Кумач применяет разностопный стих, насаждает и культивирует рефрен, изобретательно скрещивает рифмовку. Одно из ярких стихотворений этой поры — «Разве это молодежь?». Приведем из него несколько строф:

Две старушки вечером
Критикуют за чайком:
— Молодежь-то какова!
И поступки и слова...
Лишь руками разведешь,—
Разве это молодежь?!
— Вон племянницы мои
Из порядочной семьи,
А душа за них болит.
Потеряли всякий стыд.

Поглядишь — бросает в дрожь.—
Разве это молодежь?!
У соседей на глазах
Ходят в майках и трусах.
Физкультура, говорят,
А по-моему — разврат!
Отвернешься и вздохнешь:
Разве это молодежь?!

В этом стихотворении шумит веселый хмель будущих песен Лебедева-Кумача, в нем уже видны очертания будущих куплетов.

Живая преемственность творческих приемов от Некрасова, Курочкина, Минаева, умная, вдумчивая учеба у Беранже, наконец, оплодотворяющее влияние поэзии Маяковского делают Лебедева-Кумача поэтом большого гражданского звучания. Известен факт положительной оценки творчества Лебедева-Кумача Маяковским, который увидел в его стихах веселую хватку сатирика, мобильность, оперативность.

В тридцатых годах имя Лебедева-Кумача — сатирика становится широко известным.

Острое чувство современности, полное согласие с мыслями и чаяниями широких народных масс определяют выбор тем. Ясная, беспретенциозная речь выражает мысли поэта. С убийственной иронией и реалистической точностью пишет Лебедев-Кумач о расхитителе общественного советского добра:

Спи, мой мальчик, спи, малыш!
Тихо в нашей спальне...
В уголке скребется мышь,
Ты не бойся, маленький.
Не откусит мышка вдруг
Пальчики-мизинчики,
Эта мышка — папин друг
В нашем магазинчике.
Спи, мой мальчик, спи, малыш!
Отчего ты все не спишь?
Ш-ш-ш... Ш-ш-ш...
Вон месяц в подушку
Щекою залез...
Утряска, усушка...
Утешка, провес...
В уголке скребется мышь
Бархатною лапочкой,—
Эта мышь дает барыш
И тебе и папочке.

Папа спшит на мышей
Фрукты и конфеточки
И накормит до ушей
Дорогого деточку.

В другом стихотворении высмеян Лебедевым-Кумачом подхалим:

Я подхалимство без пощады
Разоблачаю, как пикто,
Но если пужно, если надо —
Подам пальто! Подам пальто!

Я восхищен геройством будней,
Я весь в строительном огне,
Но пусть построят поуютней
Квартирку мне! Квартирку мне!

Гуляет сатирический кнут Лебедева-Кумача по спинам чинуш, рвачей, обывателей. Наблюдательно и зло, с виртуозной ловкостью и неутомимостью он ведет свою работу сатирика, во многом перекликаясь с аналогичной работой Маяковского.

Лебедев-Кумач с одинаковой прямоотой врывается и в затхлую мещанскую семейку, и в затхлую литературную среду, от него одинаково крепко достается и «лижонцу-лежебоке», и бездарному околелитературному подлипале.

Пережитки старого, более всего оседающие в быту, в полумраке обывательского уюта, подвергаются атаке по многих сатирах Лебедева-Кумача.

Таков «Либерал», по существу, занимающийся укывательством человеческих подонков, со своей пошлой фразой: «Ведь человека надо пожалеть!» Таков завлит театра:

Видна работа,
Но только что-то
Немпожко будто бы темно...
Как будто где-то
Чего-то нету
И что-то не разрешено!
Вы от чего-то здесь ушли
И что-то как-то не нашли...
И даже факты,
Представьте, как-то...
Представьте, как-то не дошли!

Таковы фельетоны «Сам» не в духе», «Обычная пытка» и особенно короткое, запоминающееся, зрительно

яркое стихотворение «Знакомая пара», сатирически изобличающее мещанскую дамочку, уцелевшую от дореволюционных времен.

Лоб скрывает искусная челка,
и в улыбку застыли уста.
Тело в платье из лучшего шелка,
а душа безнадежно пуста.

А затем поэт изображает законного супруга этой дамочки:

Он готов и к суду и к растрате,
Он встает в предрассветную рань,
Чтоб иметь у себя на кровати
Молодую, красивую дрянь.

Это уже сказано по-маяковски грозно, обнаженно, прямолинейно. Подобные разящие поэтические формулы встречаются не только в больших сатирических стихах Лебедева-Кумача, но и во многих вещах так называемого «малого жанра» — в плакатах, в газетных экспромтах и эпиграммах. Вот как, например, «припечатал» Лебедев-Кумач одного небезызвестного агрессивного «деятели»:

— Ты мундир мне перешей-ка! —
Манингейм сказал жене. —
Он вот тут, у перешейки,
Что-то горло давит мне...

На упрек студенток Института цветных металлов, где, по признанию поэта, ему было сказано:

Вы слишком злы, Вы не поете
Легко, лирично и тепло.
На каплю лирики берете
Вы публицистики кило.
Ваши стих всегда кого-то ест.
Как это вам не ладост? —

Лебедев-Кумач ответил точно и уверенно в 1933 году

И мы сумеем грянуть песней,
Чтоб от нас сердца цвели —
Сильней, лиричней и чудесней
Всех прошлых песен всей земли!

И уже в следующем, 1934 году вся советская страна запела «Марш веселых ребят». В. И. Лебедев-Кумач становится песенником, да еще каким!

Знание законов песни, творческая любовь к этому жанру позволили поэту проводить такой словесный отбор, так удачно «свинчивать» и «подгонять» песенную строку, что при всей ее простоте поэтическая фраза песен Лебедева-Кумача сохраняет в себе прелесть подлинно художественной образности.

Как невесту, Родину, мы любим,
Бережем, как ласковую мать.

Эти прекрасные слова в нашем сознании уже приобрели клятвенную власть, но вслушайтесь в них еще раз — и вы почувствуете, как вновь и вновь счастливый трепет пролетит по жилам.

Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильнее.
С добрым утром, милый город —
Сердце Родины моей!

Волнующая свежесть живет в этих словах о нашей Москве.

Или возьмем «Песню о Волге». Сколько в ней подлинно русской национальной силы и звучности, сколько живописного простора и воздуха!

Красавица пародная,
Как море, полноводная,
Как Родина, свободная.
Широка,
Глубока,
Сильна!

Оптимистические, задорные куплеты Лебедева-Кумача отличаются необычайной жизненной силой. Воспитательное их значение очень велико. В них выразилось мировоззрение советского народа, народа-победителя.

«Песня хороша только тогда, когда самому ее хочется запеть, когда она звучит от всего сердца», — говорит Лебедев-Кумач и блестяще подкрепляет свою мысль на практике. От всего сердца звучат песни Лебедева-Кумача во славу нашего многонационального народа, во славу социалистического отечества.

Жизнеутверждаем, радостью и мужеством веет от песенных строчек, когда поэт говорит о наших советских людях, об их великих справедливых делах; гневом и

суровостью проникнуты они, когда речь идет о врагах советской отчизны.

А сколько изобретательности, сколько выдумки расточает поэт в песнях для детей! Вот, например, детская «Игровая». Это музыкальная, ритмическая игра, увлекательная и заразная, как «жмурки», как «палочка-выручалочка». Игровые элементы в ней гармонируют с хоровыми:

Ходят волны кругом вот такие,
Вот такие большие, как дом!
Мы, бесстрашные волки морские,
Смело в бурное море плывем.
Якоря мы подыдем — вот так!
Паруса мы поставим — вот так!
Веселей, моряк!
Веселей, моряк!
Делай так, делай так и вот так!
Если в море мы будем купаться
И акулы на нас нападут —
Мы не станем дрожать и пугаться,
Перебьем мы акул в пять минут.
Мы книжки подыдем — вот так!
Мы канаты пакнем — вот так!
Веселей, моряк!
Веселей, моряк!
Делай так, делай так и вот так!

Попятно, весело развивается действие этой песни-путешествия, песни-сказки, песни-игры.

Следует подчеркнуть пародно-песенную основу творчества Кумача, его ориентацию на фольклор. Он не раз говорил, что, работая над песней, усиленно штудировал «песенных поэтов — Беранже, Курочкина, «искровцев» и, — как он выразился, — копался в богатейших россыпях народного творчества». Это дает ключ ко многим особенностям его стиля.

Бесспорно, значительную роль в поэтическом успехе Лебедева-Кумача сыграло содружество с первоклассным мастером музыки массового песенного жанра, композитором И. О. Дунаевским. Десятки популярных песен Лебедева-Кумача и Дунаевского впервые прозвучали в кинокартинах «Веселые ребята», «Цирк», «Дети капитана Гранта», «Волга-Волга», «Богатая невеста», «Вратарь». Песенное мастерство Лебедева-Кумача складывалось и в союзе с другими композиторами — братьями Покрасс, М. Блантером, А. Новиковым, К. Листовым, А. Александровым и многими другими. Многочисленные факты сви-

детельствуют о том, что подлинно народный характер песен Лебедева-Кумача помог их международному, интернациональному звучанию. Они прочно вошли в репертуар известных революционных певцов — немца Эриста Буша, американского негра Поля Робсона. Будучи органически русскими по своей форме, песни стали носителями идей коммунизма, приобрели подлинное интернациональное значение.

В 1939 году в качестве офицера Красной Армии В. И. Лебедев-Кумач участвовал в освободительном походе в Западную Украину и Западную Белоруссию, в 1939—1940 годы в качестве офицера Военно-Морского Флота — в войне с белофиннами.

Когда грянула Великая Отечественная война против немецко-фашистских захватчиков, — первая песня, которую подхватили миллионы советских людей, принадлежала перу Лебедева-Кумача. Призывная и грозная, она выражала гнев и ярость нашего народа:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна —
Идет война народная,
Священная война!

На протяжении всей Великой Отечественной войны поэт с жаром подлинного патриота, гражданина Страны Советов трудится во имя победы над врагом.

В сборниках Лебедева-Кумача, вышедших в годы войны, мы находим песню о Герое Советского Союза капитане Гастелло, замечательное стихотворение «Юный патриот» — о бесстрашном мальчишке-москвиче, с отвагой взрослого человека борющемся с немецкими «зажигалками». Задушевностью отмечен цикл о советских моряках. На страницах «Правды», «Известий», «Комсомольской правды», «Красной звезды», у микрофона, в самых различных аудиториях раздается страстный и честный голос народного трибуна, пропагандиста идей партии — Лебедева-Кумача.

На живом материале фронтовых впечатлений, в тесном общении с моряками Лебедев-Кумач создает цикл «Комсомольцам-морякам».

Печатаются массовыми тиражами почтовые открытки со стихами Лебедева-Кумача. Неустанно работает он как автор плакатов в «Окнах ТАСС». Количество стихотворных подписей к плакатам, сделанных В. И. Лебедевым-Кумачом, огромно.

Широко известны также многочисленные речи в стихах, которые В. И. Лебедев-Кумач проносил на сессиях Верховного Совета РСФСР, на разных съездах, конференциях и пленумах советских общественных организаций.

Неутомимая энергия, вечная забота о том, чтобы вовремя удовлетворить спрос газет и эстрады, выполнить заказ народа и выполнить приказ сердца, являются отличительными чертами веселого и отзывчивого поэта-труженика.

Это рабочее настроение, присущее поэту в тревожную пору военных лет, отлично выражено в стихотворении «Голос Родины»:

Мне говорил знакомый сталевар:
— Вот я удвоил выплавку металла,
А в сердце все горит неугасимый жар,
И кажется — все мало, мало, мало!

Мне летчик-истребитель говорил:
— Мое звание не раз в боях бывало,
И сам я четырех стервятников подбил,
А кажется — все мало, мало, мало!

На фабрике сказала мне швея:
— Я от себя сама не ожидала,—
Три нормы выполнять свободно стала я,
И кажется — все мало, мало, мало!

Свирепый гнев сердца людей зажег,
Борьба святая нашей жизнью стала.
— Что дал для фронта ты?
— Что сделал?
— Чем помог?
Пока не сломлен враг — все мало,
мало, мало!

Первым из писателей В. И. Лебедев-Кумач в феврале 1937 года награжден за выдающуюся деятельность в области массовой песни орденом Трудового Красного Знамени.

Свою плодотворную творческую работу В. И. Лебедев-Кумач сочетал с многогранной, ответственной обще-

ственной деятельностью. Он был депутатом Моссовета первого созыва, депутатом Верховного Совета РСФСР первого и второго созывов, членом Правления Союза советских писателей.

В 1938 году Лебедев-Кумач за выдающиеся заслуги в области художественной литературы был награжден орденом «Знак Почета», в 1940 году за образцовое выполнение приказов командования в борьбе с белофиннами — орденом Красной Звезды. В. И. Лебедеву-Кумачу было присвоено высокое звание лауреата Государственной премии.

Послевоенные темы труда и восстановления страны заняли в творческих планах поэта первоочередное место.

Даже прикованный к постели, измученный тяжелой болезнью, Василий Иванович не переставал думать о завтрашнем творческом дне. Преждевременная смерть оборвала богатые замыслы поэта — он скончался 20 февраля 1949 года.

В некрологе, опубликованном в газете «Правда», сказано:

«В. И. Лебедев-Кумач внес в сокровищницу русской советской поэзии простые по форме и глубокие по содержанию произведения, ставшие неотъемлемой частью нашей социалистической культуры».

1948

ЛИЦОМ ВПЕРЕД

В ряду советских поэтов, пришедших в молодую пролетарскую литературу в начале двадцатых годов, Иосифу Уткину принадлежит по праву одно из видных мест.

Юношей участвуя в гражданской войне, возмужав в огне военных, революционных событий в Сибири, И. Уткин принес в поэзию суровый ветер бурного времени, пафос пародной борьбы за свободу.

Романтически приподнятые и темпераментные, некоторые ранние стихи И. Уткина ярко выражали настроения боевой молодежи той поры.

Отлично звучит стихотворение «Двадцатый», любимейшее широкому читателю.

Через
Речную спину,
Через
Лучистый плес
Чугунной паутиной
Повис тяжелый мост.

По краю —
Тышь да ивы,
Для отдыха — добро!
А потом — прихотливо
Речное серебро.

На тышь,
На побережье
Качает паровик...
— Я, милая, приезжий.
Я в отпуск,
Фронтовик...

И далее поэт с реалистической наглядностью, с жизненной достоверностью рисует драматическую картину встречи красноармейца, пришедшего из полей войны на побывку домой, на свидание с родными местами, с близкими людьми. Все — и пейзаж родимой земли, истерзанной тяжелыми годами военной разрухи, и горечь разлук, и радость коротких встреч, и самоотверженность, готовность бойца отдать жизнь за дело революции — удалось передать И. Уткину в этом стихотворении.

Мужественно звучат заключительные строки лирического повествования о горячих днях героического военного прошлого:

И я в объятьях стыпу:
— Иосиф, это ты?!

Чугунной паутиной
Качаются мосты.

И мчатся эшелоны
Солдат,
Солдат,
Солдат!
Тифозные перропы
Под сапогом хрустят.
По бедрам
Бьются фляги.
Ремень, паган — правой.
И спские овраги
Под зарослью бровей:

В брони,
В крови,
В заплатах —
Вперед,
Вперед,
Вперед!
Страдал я шел
Двадцатый,
Неповторимый год!!!

Я специально привел такую обширную цитату из раннего произведения И. Уткина. В стихотворении «Двадцатый» с большой очевидностью сосредоточены индивидуальные черты уткинской юной музыки, наиболее характерно выражена манера его поэтической речи.

С той же достоверностью и так же по-человечески просто написаны стихи «Гитара», «Рассказ солдата» и более поздние на ту же, любимую поэтом, тему гражданской войны, такие, как «Народная песня», «Сибирские песни».

В чем состоит привлекательность лучших ранних стихов И. Уткина о гражданской войне, что выгодно отличает их от многих и многих стихов других поэтов, писавших на эту же тему?

Не только революционная романтика, которая, разумеется, очень способствует их обаянию, но в первую очередь, мне кажется, умение поэта не быть абстрактным, стремление быть сюжетным.

Почему, например, трогает читателя, по-настоящему волнует стихотворение «Рассказ солдата»?

Потому, что описание революционных событий Сибири дается в действии, предстает в сознании читателя в образе бывшего солдата-рассказчика и в образе его матери, поджегшей овин, в котором находились белогвардейские офицеры.

Язык стихотворения лишен даже малейшей доли «поэтической сложности», но правдивая интонация повествования так удачно найдена поэтом, так уместна именно в этой теме, что напоминает по своему внутреннему душевному строю народную песню.

Я люблю пережитые были
В зимний вечер близким рассказать...
Далеко, в заснеженной Сибирь,
И меня ждала старуха мать,—

говорит поэт устами своего героя, скупое, но детально сообщающее подробности драматической были: разлуку с матерью в дни своего пребывания в партизанских отрядах, посещение ее партизанами, принесшим ошибочное известие о том, что сын погиб в бою, сам подвиг матери, мучительную ее смерть под бомбами.

Непритязательный внешне, но внутренне богатый глубокими человеческими переживаниями, окрашенный естественностью и искренностью нелегких воспоминаний, поэтический рассказ закрепляется в памяти читателя надолго. Завершающие строфы рассказа действуют буквально с прозаической ясностью и не становятся, однако, от этого менее поэтичными:

Отпевать ее не стала церковь,
Поп сказал:
— Ей не бывать в раю.—
Бомбами в штабе офицерском
Запороли мать мою!..

Вот когда война пройдет маленько
И действительную отслужу,
Я в Сибирь,
В родную деревеньку,
Непременно к матери схожу.

Но с еще большей наглядностью элементы сюжетной строгости, умение владеть приемом лирического рассказа, композиционным построением и диалогом проявились

в поэме И. Уткина «Повесть о рыжем Мотале, господише инспекторе, раввине Исае и комиссаре Блох».

В этой действительно единственной в своем роде поэме И. Уткин достиг не только сюжетной стройности, но и блеснул редким поэтическим своеобразием.

«Повесть о рыжем Мотале» в свое время получила заслуженную известность у читателей, особенно в молодежной среде. Свободным, разговорным стихом, с радостью, искрящимся юмором рассказывает И. Уткин о том, как восприняла еврейская беднота в дни Великого Октября, как впервые в жизни почувствовал себя человеком еще вчера забитый и униженный рыжий портной Мотале.

И не только Мотале, а все простые, обездоленные трудящиеся, такие же, как Мотале, вздохнули полной грудью, своими глазами увидев бесславный конец кровавого царя Николая и всех его приспешников — от министров в Петербурге до господина инспектора в Кипляеве.

Великолепно найденный поэтом, необычный стиль повествования, наполненный музыкальным разнообразием и неожиданностью ритмов местечковый говор поэмы делают ее неповторимой по художественному звучанию. И важно подчеркнуть, что И. Уткин, не побоявшись веселой прозы, а порою, наоборот, горьких ноток грусти, добился в итоге большой социальной значительности повествования, вывел «узкий» сюжет поэмы из тесного, полухулиганского бытописания на широкую дорогу серьезного социального обобщения.

«Повесть о рыжем Мотале» изобилует точными, броскими красками, позволяющими поэту выпукло рисовать портрет действующего лица, индивидуализировать его речь, афористично выражать его мысль. С первых же строчек поэмы встает как живой образ бедняги портного:

И дед и отец работали,
А чем он лучше других?
И маленький рыжий Мотале
Работал
За двоих.

Чего хотел, не дал.
(Но мечты его с ним!)
Думал учить в хедере.
А сделали —
Портным.

— Так что же?
Прикажете плакать?
Нет так нет! —
И он ставил десять заплаток
На один жилет.

Или вот такая, одновременно и печальная и смешная, характеристика положения двух персонажей поэмы, сразу же определяющая реальную расстановку сил:

По-разному счастье курится,
По-разному —
У разных мест:
Мотэлю мечтает о курице,
А инспектор
Курицу ест.

Мягко, на редкость естественно и закономерно поэт переходит от иронического, почти сатирического изображения событий к раздумчивому тону лирического отступления, погружаясь в состоящие элегического спокойствия:

Да, под каждой слабенькой крышей,
Как она ни слаба, —
Свое счастье, свои мысли,
Своя
Судьба.

Вообще роль лирических отступлений в «Повести о рыжем Мотэле» велика: они расширяют политический горизонт поэмы до высокого общечеловеческого значения, согревают ее огнем интернационализма.

Бесспорные достоинства «Повести о рыжем Мотэле» и лучших ранних стихов принесли двадцатилетнему И. Уткину завидную славу и дружные похвальные отзывы знатоков и взыскательных ценителей поэзии, в числе которых, как известно, был В. Маяковский.

Признавая яркую одаренность И. Уткина, А. В. Луначарский писал в 1925 году: «Вместе с комсомолом можно поздравить русскую литературу с появлением первых произведений Иосифа Уткина. Мы имеем в его лице настоящего поэта». И далее: «Уткин музыкален... Он никогда не шокирует вас угловатыми и барабанными ритмами, сухой метрикой, он всегда остается мелодичным. Я почти не знаю этого юношу, но для меня ясно, что указанная выше настроенность его стихотворений не случайна, не празднична, что она получается от общей

настроенности всего его сознания, всей его психической жизни, которую я поэтому и называю поэтической».

Талант И. Уткина в писательской семье и в сердцах читателей, так сказать, был узаконен. Это обстоятельство поставило его в положение человека, к которому пристально приглядывались и от которого с надеждой ждали последующей не меньшей творческой удачи или, во крайней мере, таких произведений, которые были бы не хуже предыдущих стихов.

К сожалению, этого не произошло на протяжении обидно долгого времени. Беспечность ли молодости, внезапная ли утрата чувства самоконтроля, утонувшего в сладком гуле аплодисментов, или что другое были виноваты в наступившем периоде пустоцвета — бог вест!

За исключением отмеченных в начале моей статьи стихотворений, часть из которых была начата поэтом по времени параллельно с «Повестью о рыжем Мотале», да, может быть, таких вещей, как «Свидание» и «Курган», вслед за поэмой о Мотале И. Уткин не создает ничего примечательного.

Ни засоренное красивостями стихотворение «Песня бодрости», ни внешне многозначительное, а по существу претенциозно зарифмованное разглагольствование под названием «Сомнение», ни ряд многих других средних или просто плохих стихотворений на тему о любви и воинской доблести нельзя включить в актив уткинской поэзии тех лет. Поэт как бы попадает в плен безвкусицы. Сентиментальность и мешанское самолюбование одолевают его. Не прибавляет ничего нового (если не убавляет!) в творчестве И. Уткина и поэма «Милое детство».

Страдающая сомнительной идейностью замысла, излишне стилизованная под блатную уголовную историю, размалеванная грубыми красками словесного жаргона, поэма «Милое детство» грешит не только чисто художественными промахами, но и удивляет неряшливостью синтаксиса.

Истина требует, однако, отметить, что И. Уткин не безмолвствует, но все время пишет и ищет и подчас приближается к искомому, но происходит этот процесс, видимо, с мучительным ощущением малорезультатности.

Только в 1938 году И. Уткин прорывает железное кольцо неудач и пожинает зрелые плоды творческих усилий. Появление таких ярких стихов, как «Дождь в

детском саду», «Признаки весны», «О том, как бабка со-
ветский хворост уберегла», «Товарищи» и, конечно, за-
мечательная «Тройка», свидетельствует о миновавшем
кризисе.

— Ну-ка, двери отвори:
Кто стоит там у двери?
Это паший, Аннушка.

Мужеством размышления дышит короткое стихотворение «Братская могила», которое поэт предваряет пушкинскими строками: «И хоть бесчувственному телу равно повсюду пстлевать».

Перелом, совершившийся в творческой и жизненной биографии И. Уткина накануне Великой Отечественной войны, получил свое дальнейшее развитие в Действующей Советской Армии, где в качестве боевого командира поэт принимал активное участие.

Многолетний опыт, упрямство поиска, запас много-терпения при столкновении с неудачами и трудовая радость удач привели И. Уткина к зрелому мастерству.

Одаренный умом и талантом, смелый воин и честный патриот, И. Уткин в обстановке всепародного гнева и подвига показал себя вдумчивым, цельным художником. Он жил и работал в дни пародных испытаний, как под-бает настоящему бою, — лицом вперед.

Кроме служебно-агитационной злободневной «черной работы» фронтового литератора, он сумел выполнить и тонкую, сложную, филигранную работу лирика, обогатил советскую поэзию прекрасными военными стихами.

Одно за другим возникают из-под пера И. Уткина строки по форме, немногословные, но многодумные и берущие за сердце образцы публицистической лирики.

В 1941 году — «Прощание с бойцом», «Если будешь ранен, милый, на войне...», «Беженцы», «Я видел девочку убитую...», в 1942 году — «Ты лишишь письмо мне», «Если я не вернусь, дорогая...», «Допрос», «Я видел сам», «Заздравная песня», в которой при мысли о родной земле поэт находит пронзительные по своей задушевности строки:

Тяжелое — забудется.
Хорошее — останется.
Что с родиной сбудется,
То и с пародом стается.
С ее лугами, пивами,
С ее лесами-чащами.
Была б она счастливою,
А мы-то будем счастливы,—

«В дороге», «Проводы», «Стою и смятение у порога...».

В 1943 году — «После боя», «Баллада о Заслопове и его адъютанте», «На Можайском шоссе», «Фронтвик», «Пейзаж», «Затишье».

В 1944 году — «Моряк в Крыму», «Послушай меня». Каждое из перечисленных стихотворений привлекает внимание читателя ясностью рисунка, искренностью интонации, жизненной правдой.

И. Уткин уверенной рукой пишет точно и красиво, красиво в буквальном, высшем смысле этого слова. Вот его «Затишье»:

Над землянкой в спней бездне
И покой и тишина.
Орденами всех созвездий
Ночь бойца награждена.

Голосок на левом фланге —
То ли девушка поет,
То ли лермонтовский ангел
Продолжает свой полет.

Вслед за песней выстрел треснет —
Звук оборванной струны.
Это выстрелят по песне
С той, с немецкой стороны.

Голосок на левом фланге
Оборвется, смолкнет вдруг...
Будто лермонтовский ангел
Душу вырывает из рук...

Ни тени украшательства, ни малейшего признака поэзы или вычурности не найдем мы в последних, зрелых и умных стихах поэта. Сдержанная суровость и нежность наполняют их. Как и в дни юности, И. Уткин снова проявляет острую зоркость глаза и чуткость слуха.

Вторая, но уже мудрая творческая молодость Иосифа Уткина, к несчастью, прерывается трагической, нелепой копчиной, не дав ему продолжить ценой глубоких творческих мук завоеванный путь, круто пошедший в гору.

1964

ЗАРЯ В КОНЦЕ ДОРОГИ

Поздняя военная осень 1944 года в Москве, как, впрочем, и во всей стране нашей, протекала тревожно, но по-своему радостно, с ощущением надвигающегося ратного счастья, близкой победы.

Гитлеровские войска, отчаянно огрызаясь, пытались к своему логову, чаяния честных людей всего мира приобретали живую плоть свершения.

Самый реальный вклад в великое дело разгрома фашистских полчищ, подтвержденный неслыханной жертвенностью и отвагой, сделала Советская Армия.

Чувство гордости владело народом — и на фронте и в тылу царили приподнятость, порыв, уверенность. Москва жадно ловила боевые факты фронтовых побед. Мы, военные корреспонденты и армейские поэты, то уезжавшие в Действующую армию, то возвращавшиеся в столицу, возбужденно рассказывали друг другу подробности увиденного. При встречах, в письмах, по телефону шла жаркая переписка оперативных повостей.

Помню, что именно так я и воспринял сначала очередной телефонный звонок. Взял трубку, приготовился радоваться, но на этот раз услышал далеко не радостный, необычно глухой, упавший голос Александра Жарова:

— Есть печальное известие... Точно еще не установлено, но боюсь, что ошибки нет... На Щелковском аэродроме, при посадке, разбился самолет. Среди погибших предполагают Иосифа Уткина, по всем приметам оп...

— Откуда летел самолет?!

— Из Бухареста.

От волнения захолонуло сердце. Подозрения близки к правде: Уткин два дня тому назад звонил в Москву, и как раз из Румынии. Мрачная, безжалостная новость!

Я кинулся в Союз писателей, не чуя под собой ног. Я любил Уткина верной, крепкой любовью младшего товарища, обожал преданностью ученика, позднее — преданностью соратника. В памяти встало все: и строгость его, и ласка, и игра на бильярде под его ревнивым руководством, и заплывы с ним на дальность в Черном море, и бескопечные прогулки по ночной предвоенной Москве с вечными спорами о поэзии, и многое, многое другое, без чего трудно было представить Иосифа Павловича!

Гордый, красивый, остроумный Уткин! Неужели судьба уготовила мне необходимость опознавать его тело? Чудовищно!

И вот мы четвером — Павел Антокольский, Д. А. Поликарпов, Александр Жаров и я — в тесной скрипучей эмке молча движемся к аэродрому. Едем медленно, что называется — на ощупь, над Москвой и ее окрестностями плотной завесой стоит туман, похожий на сметану, тот самый туман, про который водители автомашин говорят: лучше уж пожар.

Дорога до аэродрома оказалась неимоверно долгой. Медленная езда томит, раздражает, но дает, однако, возможность поразмыслить, построить в уме лучший, наиболее благополучный из вариантов спасения, увидеть мысленно проблеск надежды на добрый исход. Не знаю, как мои спутники, а я до последней минуты не верил в страшный конец, цеплялся за невозможное, отстранял совершившееся.

И невольно, помнится, повторял про себя прекрасные, суровые строки из стихотворения «Беженцы», написанного Уткиным в 1941 году на Брянском фронте:

Нет, стиснув зубы, сжавши рот,
Назло и горю и обидам,
Они упрямо шли вперед
С таким невозмутимым видом,

Как будто, издали горя,
Еще невидимая имогим,
Ждала их светлая зоря,
А не закат в конце дороги.

По причине боязни вынужденно оказаться хотя бы в малой степени натуралистичным, не могу и не хочу в этом коротком воспоминании детально описывать скорбное зрелище, представшее нашим глазам.

Замечу только, гибель самолета произошла из-за тумана. Очевидцы, работники авиационной службы, рассказывали, что самолет задел колесами за верхушки сосен и, ударившись о землю, капотировал не одну сотню метров. Из пассажиров и экипажа чудом уцелел лишь один штурман, силой удара выброшенный из пилотской кабины.

Сперва мы осмотрели расколотый фюзеляж «дугласа», затем в помещении старой сельской часовни опознали тело Уткина.

Облик его, по сравнению с другими погибшими, не был обезображен катастрофой, напротив — Уткин внешне удивительно уцелел, только кисти обеих рук были изранены осколками стекол.

Да, перед нами лежал мертвый Иосиф Павлович. Но дорога его крылатой поэзии на этом не обрывалась, духовная энергия, сильный талант поэта продолжали полет. Их ждала светлая зоря. Мы, глядя на покойного поэта, отлично это видели и понимали.

МУЗА ПАРАСПАШКУ

Безвременно скончавшийся в марте 1948 года Алексей Недогонов был поэтом яркого самобытного звучания, но, к сожалению, обидно сложившейся судьбы: при жизни он фактически не был оценен по заслугам и не увидел более или менее полного сборника своих произведений.

Опубликование поэмы «Флаг над сельсоветом» и ее безоговорочно общественное признание почти совпали с кончиной поэта, и, таким образом, все, что было написано им до поэмы и некоторое время спустя, оказалось вне авторской воли, стало предметом заботы составителей. При всей добросовестности друзей-поэтов и родственников покойного, старавшихся не упустить главного для печати, в посмертное и последующие за ним издания не вошли многие интересные стихи. Некоторые — по причине позднего их обнаружения, некоторые — по вине чрезмерной «осторожности» издателей. Фронтная, кочевая биография Алексея Недогонова, его вечная жизнь на колесах, «бесхозяйственное» отношение к собственным рукописям, конечно, не в малой степени содействовали этому. Недогоновская муза жила всегда параспашку.

Трудно и, можно сказать, горько сложилась поэтическая юность Алексея Недогонова: несмотря на раннюю творческую зрелость, вопреки хорошо от природы поставленному поэтическому голосу, талантливый поэт слишком долго ходил в «молодых», чрезвычайно редко печатался на страницах центральных газет и журналов. Между тем в творческом активе поэта уже в первые годы пребывания его в степях Литературного института имелись такие замечательные стихи, как «Только стоит мне паполовищу...» и «Дыхание».

В первом Недогонов вспоминает далекие детские годы, жаркие дни гражданской войны. Говорит он об этом так:

Только стоит мне остановиться
у далекой памяти своей,
как влет на дымящие стапиды
небывалый ветер от степей.
Как псходят шорохом пырей.

Как, приплывши тучный дым
и чад,
травы перетравленные преют.
Волки воют.
Беркуты кричат.
Смерть идет по хуторам окрестным...

Тревожное, трудное время живет в этих строках. В стихотворении «Дыхание» с удивительной поэтической ясностью изображена весна, переданы звуки и краски пробудившейся от зимнего сна природы, которую отлично понимал и любил Недогонов и которая никогда или почти никогда не описывалась им в отрыве от человека.

Пока весну томит встома
летучих звезд,
текучих вод,
пока в прямой громоотвод
летит косая искра грома,—
вставай и на реку иди,
на берегу поставь треножник
и наблюдай весну, художник.

Развивая мысль о том, что, прежде чем писать, надо видеть предмет, не придумывать, а рассказывать правду о виденном и узнанном, ратуя за жизненную достоверность и даже конкретность, поэт ревниво заботится о свежести поэтической формулировки, вкладывает всю энергию души в поэтическую речь:

Тогда — писать, по без корысти,
сушь равнодушья заменив
единоборством грозных нив,
полетом сердца,
взора, кисти!

Вот эти две характерные для творчества молодого Недогонова черты — революционная романтичность, полная горячего чувства патриотизма, и глубокое ощущение родной русской природы, стремление проникнуть в ее тайны, передать аромат трав и цветов, плеск волны и голос весеннего грома — остались, в сущности, ведущими мотивами во всей его последующей поэтической практике. Конечно, с течением времени эти черты приобретали все большую стройность, тверже становилась рука, креп голос, совершенствовалась и оттачивалась манера письма.

Решительные, мужественные ноты таких предвоенных стихотворений Алексея Недогонова, как «Ястребенок»,

«Двое юношей», «Прощание» и некоторые другие, отчетливо перекликаются с суровыми трубными звуками «Открытого письма», «Утверждения» и «Под Выборгом», написанных или зародившихся уже в тяжелых условиях траншейного быта, в дни боя с белофиннами.

Разрыв во времени, различие материала, на котором строились стихи, несколько не повлияли на целостность их внутренней родственной связи, — значит, так органична была их идейная основа и так оказались упруги корни первоначального, давнего замысла!

Под Выборгом Алексей Недогонов был тяжело ранен, но оптимизм и жизнелюбие его не пошатнулись, а только приобрели закалку, выдержали испытание на прочность.

Верность гражданскому и воинскому долгу, преданность отечеству, присяга родным просторам, вера в правое дело строительства новой жизни — путеводные огни недогоновской страстной музыки, отмеченной счастливым даром говорить ясно и очень образно.

Яркость образительных средств в некоторых стихотворениях иногда просто поражает своей художественной безошибочностью и красочной щедростью. Вот как, например, в «Поездике» нарисована картина полета двух советских истребителей, преодолевших в небе широкое поле грозы:

Недолго длиться яростным забавам,
сжимающим вселенную в горсти:
уж солнца луч, как огненный шлагбаум,
открыл для взора дальние пути.

И радуга стоит вполоборота,
обрамлена рубином, горяча;
в нее, как в триумфальные ворота,
влетают истребители, рыва.

Над степью,
как над павшим бастионом,
они летят — и свет во все глаза;
под гром англоэлементов их за Допом
встречает побежденная гроза.

И мир — как мир.
И в мире нет обмана.
Опять свежо в природе.
И, светла,
на рыльце нахлопепного тюльпана
сидится осторожная пчела.

Ведь «Поединок» написал задолго до появления таких первоклассных стихов военной поры, как «Башмаки», или «Мои сыновья», или «Источник», а посмотрите, с каким тонким искусством мастера, с каким великолепным чувством словесного отбора сделана каждая строка «Поединка»!

Это бесспорно, что Алексей Недогонов ушел на войну сложившимся поэтом со своим «лицом не общим выраженьем», со своим запасом одному ему известных «секретов» стихотворного ремесла. И все же подлинное идейное формирование, настоящее его возмужание как художника, публицистического лирика и поэтического рассказчика произошло на фронте. Здесь, в тесном единении с простыми трудовыми людьми, вчерашними рабочими и колхозниками, в атмосфере самоотверженности и подвига, в обстановке постоянной боевой готовности, как дым улетучились из поэзии Недогонова остатки «красивой» книжности и посторонних литературных влияний, возникло, выковалось железное оружие стиха. На фронте с особой силой проявилась индивидуальность, выработался ни на кого не похожий, обаятельный стиль задушевного поэтического повествования, навсегда определив Алексея Недогонова как блестящего батального стихотворца, как крупного поэта армейской темы.

Недогонов сначала в качестве рядового бойца, позднее в роли военного газетчика, специального корреспондента армейской, а затем фронтовой газеты побывал во многих зарубежных странах, много повидал и накопил в своей памяти «бесценный клад впечатлений». Финляндия, Польша, Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Австрия, Чехословакия — это все географические вехи пройденного поэтом пути, богатого калейдоскопической сменой пейзажей, насыщенного драматизмом сражений, горечью утрат и радостью побед.

В прекрасном стихотворении «Долг», написанном уже после демобилизации, необыкновенно свежо, с подкупающей прозрачностью выражен этот неукротимый пафос пространства и движения, с юношеских лет свойственный поэту:

Я не помню детской колыбели.
Кажется:
я просто утром встал
и, накинув бурку из метели,
по большой дороге зашагал.

Широк диапазон жанровых приемов у Недогонова: от главного слова публициста до нежнейшего лиризма интимных откровений, от балладного строя, от поэзного построения до фельетона и частушки.

Немал перечень поэтических удач Недогонова, пришедших к нему еще до Великой Отечественной войны, обширен список талантливых стихов, созданных им во время Великой Отечественной; привлекают своей сердечностью многие стихи, написанные на подступах к широкому эпическому полотну — поэме «Флаг над сельсоветом», самому серьезному и капитальному произведению поэта.

Упрямая «разведка боем», постоянный поиск нового ритма, афористичной фразы, пристрастие к сюжетности естественно привели Недогонова к большой форме. Одним из первых в советской послевоенной литературе он поставил перед собой и решил задачу правдивого показа советского война-патриота вернувшегося с войны победителем и принявшегося за мирный труд.

Реалистическая, лишенная каких бы то ни было элементов приукрашивания действительности, то грустная, то иронически задумчивая и улыбающаяся, строгая по своему композиционному развитию, поэма «Флаг над сельсоветом» произвела сильное, заслуженно хорошее впечатление на читателя. Народ по достоинству оценил поэтическую повесть.

Наполненная светом, пропитанная юмором, оснащенная поговорками, прибаутками, умно и изобретательно взятыми из богатейшего арсенала устного народного творчества, поэма «Флаг над сельсоветом» во главе с ее центральным образом — возвратившимся с войны и взявшимся за дело засучив рукава Егором Широковым — безусловно является достижением не только самого Недогонова, но и всей советской поэзии. Некоторым критикам было непонятно: почему поэт, обычно не писавший на деревенские темы, сразу же, перейдя к большой форме, нарисовал просторную картину крестьянской жизни? Удивляться, собственно говоря, нечему. Недогонов пришел в литературу из трудовых низов, он с детского возраста знал рабочий люд города и деревни, и воспеть золотые руки тружеников для него было заглавным делом всей его сознательной жизни.

Родившийся в 1914 году в городе Шахты, Ростовской

области, с пятнадцати лет начавший трудовой путь, работавший плотником, крепильщиком, ремонтником, вруб-машинистом на шахте, бывший храбрым солдатом—Алексей Недогонов принес в поэзию гордую любовь к работе, неистребимое чувство стремления вперед, к мастерству, воинскую отвагу и порыв в коммунистическое будущее.

1957

СПЛЫ БЫЛО НА ДВОИХ

Как часто мы, литераторы, в обиходе, не подумав как следует, не взвесив с достаточной строгостью, говорим о ком-нибудь пишущем стихами или прозой: «О, это талант!»

Между тем этот кто-то зачастую лишь проявил только склонность к занятию стихотворчеством или писанию прозой, испытал лишь влечение, не более. В лучшем случае его можно назвать способным человеком, но уже никак не талантом. А вот поди ж ты, ходит в дарованиях!

Не таков был Павел Шубин, безвременно скончавшийся в 1951 году, ушедший из жизни в расцвете творческих сил, которых у него было, как говорится, на двоих.

Коренастый, чернявый, чуть-чуть раскосый, похожий на крепко сбитого мастерового, балагур и мечтатель, выдумщик и заводила, он еще в юношеском возрасте умел так оснастить строку, так оперить слово, так породнить его с музыкой, что написанное им запоминалось навсегда. Вот вам, пожалуйста, стихотворение «Портрет», которое до сей поры удивляет меня своей живописностью и обдает ароматом лесной благодати:

Было весело пальцами трогать
Месяц гнутый, как филина коготь,
Под березой, на дне родника,
Чтоб в студеном струенье по локоть
Загорелая ныла рука.

Или зорь золотые сережки
Обрывать на пахучем горошке,
Где, омытые свежей росой,
Павилькой заросшие стежки
Пахнут теплой землей и грозой.

Пристальный, углубленный взгляд на природу, знание ее богатств, любовь к человеку, оберегающему и возвеличивающему родную землю, хозяйский глаз и хваткая трудовая сноровка — все это составные части редкого шубинского таланта, очень русского и рано определившегося. Для наглядности я приведу, не покупившись местом, отрывок из довоенного стихотворения «Утренний свет»:

Мы в сад входили. От незримых дел
Он, словно улей, целый день гудел:
Дрались жуки, за мухой стриж летел,
Шли муравьи войной в чужой предел.

Давным-давно, ветрами обнесен,
Замолк тот сад. Но, памятью спасен,
Как первый вздох,
Как звон струны сквозь сон,
В моей душе не умолкает он.

И, может быть, счастливый я такой
Затем, что где-то за степной лукой
Есть городок над тихой Окой,
Одетый в синий полевой покой.

Интересным, яркими были две первые книжки Павла Шубина — «Ветер в лицо» и «Парус». Обе они вышли до Великой Отечественной войны, обе явились живым свидетельством прихода в поэзию молодого, всерьез одаренного поэта. Заявка была сделана очень основательная, но наиболее зрелые, по-настоящему значительные стихи создал Павел Шубин, конечно, на фронте и позднее, уже демобилизовавшись, живя в Москве.

Большим и безусловным достоинством поэзии Павла Шубина была его высокая патриотическая сущность как человека, крепкие национальные корни, которые помогали ему в главном: быть не декларативным, а органически цельным. Сыновья преданность, горячая привязанность ко всему, что составляет понятие Отечества, питали его страстную и лежкую натуру.

В лучших произведениях военного времени, патристически приподнятых и даже иногда торжественных по своей тональности, — в стихах, полных любви к отчуж краю и ненависти к захватчикам, Павел Шубин никогда, однако, не сбивался на голую риторику.

Чувство меры, хорошая сдержанность не позволяли ему оказываться в душном плену выпревшего фразерства, у него хватало ума и вкуса оставаться естественным и строгим при решении самой возвышенной темы:

Слабоголосый, маленького роста,
На постаменте он расправил плечи,
И — бронзовый — он был уже не просто
Бесстрашен или ярошен, но вечен.

Корреспонденты, разложив блокноты,
О бою том расспрашивали нас,
Как будто сами не имели глаз.
— Чего им надо? Он из нашей роты!

Приверженность к классическим формам выражения своих мыслей, реалистичность построения образа, известная традиционность самой строфики не делали стихи Павла Шубина вялыми, не придавали им вид старомодности. Двигаясь вперед и совершенствуясь как художник в русле классической русской стиховой традиции, он не замыкался в ней канонически, а обновлял ее, не раболепствовал перед ямбами и хореями, а заставлял их звучать по-новому свежо и современно.

Никаких ухищрений стиля, никаких претензий на «усложненность» не исповедовал и не признавал талант Павла Шубина. Внешне он был подобран и спокоен, но зато бурлил и клокотал внутри.

Мотивы товарищеской верности, благородной отдачи в бою, готовности к подвигу ради честного и прекрасного — вот основные черты всех пяти книжек, которые успел написать и опубликовать поэт на протяжении своей короткой жизни.

Я отлично знал Павла Шубина, не один год сильно и крепко дружил с ним, наблюдал его и в радости и в горе. Говоря сегодня о нем, я скорблю о дорогом товарище со всей беспредельной горечью, на которую способна человеческая душа.

Родившийся в бедной семье, в селе Черпавск, Елецкого уезда, бывшей Орловской губернии, ставший сперва фабзайчопком, потом слесарем на одном из металлургических заводов Ленинграда и одновременно слушателем вечернего отделения конструкторского техникума, затем студентом филологического факультета Педагогического института и, наконец, офицером в Действующей Советской Армии, Павел Шубин в любой обстановке, при любых условиях был любознательным, трудолюбивым, ищущим, прилежным сыном России.

Именно эти качества помогли ему стать заметным, подлинным поэтом, которого я вспоминаю сегодня тихим и добрым словом, с грустью перечитывая его многие и многие прекрасные стихи.

Познакомился я с Александром Александровичем Фадеевым весной 1935 года, в редакции журнала «Красная повесть», который он тогда редактировал и куда я забрел, на счастье, с тетрадкой стихов за пазухой.

Знакомство наше произошло необыкновенно весело.

Фадеев потряс меня, нет, не то слово — удивил своей задушевной простотой, пристальным, но таким необременительным вниманием, так умело и незаметно сократил расстояние между собою, известнейшим писателем, и мною, неизвестным начинающим поэтом, что с первых же минут нашего разговора я почувствовал полную раскованность.

— Так что, молодой человек, последним рядком и поговорим ладком. Изучил ваши сочинения, что называется, в четыре глаза! — решительно сказал редактор «Красной повести», усадив меня на диван, и, придвинувшись ко мне вплотную, вслух, почти скандируя, пропахал всю тетрадку, от корки до корки.

Заключив чтение, без паузы, сделал короткий вывод:

— Как ни страшно, тут у тебя не все плохо. Вот, например, стихотворение «Голубь моего детства» можно изобразить типографским способом и даже заплатить за него автору энную сумму денег. Денег у тебя, конечно, нету? Ну, так они у тебя будут. А как делаются деньги? Делаются они вот так! — С этими словами Фадеев взял телефонную трубку и распорядился насчет аванса.

На прощание Александр Александрович сказал очень серьезным тоном:

— Будем считать, что мы в основном остались довольны друг другом. Если что не так, если будут претензии, просьба направлять их в письменном виде!

И тогда-то я в первый раз услышал громкий, неожиданный залихватский, знаменитый заразительный смех Фадеева и выбежал на улицу, ошеломленный и счастливый.

Позднее, в который раз вспоминая первую встречу с Фадеевым, я внезапно уяснил для себя, как мне кажется

ся, одну простую истину: эта золотая черта характера — умение быть задушевым, располагать к себе и внушать доверие, стремление постигнуть чужую судьбу с целью облегчить ее, — все это было не чем иным, как обыкновенным свойством большого человека, большого во всех измерениях — в партийном, в творческом, в житейском, наконец.

Мне в жизни, надо сказать, посчастливилось видеть и близко наблюдать больших людей. В разное время и в разной степени общаясь с А. С. Макаренко, с Николаем Островским, с Демьяном Бедным и Федором Папферовым, с Аркадием Гайдаром и Владимиром Лутовским, с Михаилом Шолоховым, Николаем Асеевым и Павлом Антокольским, я обнаружил те же самые, похожие на фадеевские, черты пристального внимания к людям, желание и умение помочь им найти себя.

II

Восстанавливая в памяти дорогой образ Александра Фадеева, прежде всего хочется выделить его гуманизм, добрую зоркость, демократическую сущность его поступков, глубину взглядов на труд товарищей по профессии, особенно на труд неопытных, молодых, идущих в литературу.

На меня, на мою скромную поэтическую работу, и в юные годы, и в пору зрелости распространилась фадеевская забота, и я хочу здесь с благодарностью назвать некоторые удивительные факты, украшающие и возвышающие Фадеева, этого деятельного, богато одаренного, незаурядного человека — коммуниста, художника, патриота, друга, учителя.

Будучи студентом Литературного института имени Горького, имея уже за душой два опубликованных сборника стихов, я отважился устроить свой творческий открытый вечер. При встрече с Фадеевым в Союзе писателей я сообщил ему о своем намерении. Фадеев, как всегда, внимательно выслушал, подумал минутку и заметил:

— Вообще-то говоря, намерение стоящее, хотя и рискованное. Ведь ты же все-таки не Иосиф Уткин и не Леонид Утесов. Надо выбрать место, где читать и что читать. Хорошо бы пригласить актеров для подмоги. Когда

составишь текст афиши, покажи мне его, позвони и напомни...

Ровно через неделю я снова был у своего высокого друга, руководителя всего коллектива советских писателей, в кабинете дома с колоннами на улице Воровского.

Показываю текст предполагаемой афиши: «Клуб деревообделочников. Принимают участие (читают и поют) И. Л. Мансурова, Д. Л. Кара-Дмитриев, Варвара Обухова, Николай Першин, С. Хромченко. Исполняются стихи; отрывки из поэм; песни».

Александр Александрович, хмурясь, знакомится с проектом вечера и говорит буквально следующее:

— Хорошо, да не дюже. Больше половины неправильно. Во-первых, надо устраивать вечер не в Клубе деревообделочников, а в Большой аудитории Политехнического музея, в зале, приученном к стихам. Уж кутить так кутить! Во-вторых, надо включить в программу литературные пародии.

— Да, но их нет у меня. Я только всего-навсего умею подражать голосам поэтов и передразнивать их, не более...

— То, что ты делаешь в устной форме, надо записать. Вот и будут пародии!

— Попробую... А если не выйдет?

— А ты через «не выйдет»!

Фадеев еще раз взял в руки текст предполагаемой афиши и добавил:

— В-третьих, на афише не значится председатель вечера. А для пущей важности следовало бы пригласить подходящего дядьку.

Меня озарила озорная, пахальная мысль. Я прищурился и тоном заговорщика, полупшепотом предложил:

— Не худо было бы взять в председатели вечера Фадеева Александра Александровича...

Фадеев сделал скорбное лицо, тяжело вздохнул:

— Разумеется, это было бы идеально, но разве его уговоришь, разве до него доберешься! Стоит ли унижаться!

— Упросим, умолим, умаслим как-нибудь!

— Разве что умаслим... Одним словом, будем считать, что мы уже его умаслили!

Мучительно, с упрямым ожесточением, несколько дней и почей подряд, «записывал» я свои литературные пародии, стараясь сохранить в них, с одной стороны, чисто фонетическое сходство с физическими голосами пародируе-

ных поэтов, с другой стороны — добиваясь самого главного: гиперболизации просчетов и недостатков каждого поэта в отдельности при одновременном фиксировании стиля. Я внутренне покаялся; а) не подвести самого себя — не сорвать вечера; б) не ударить в грязь лицом перед Фадеевым — перемахнуть через «не выйдет»; в) овладеть трудным и веселым жанром, перемахнуть из эстрадно-развлекательного занятия в сферу литературно-профессионального анализа текущей поэзии.

Вечер в Политехническом состоялся при немалом стечении читателей. Я впервые, в присутствии Фадеева, уже не показывал, а читал свои литературные пародии, читал то, что несколькими месяцами позже увидело свет на страницах «Красной нови», «Знамени», «Крокодила» и «Литературной газеты».

Правда, не все обошлось гладко. После того как были напечатаны мои первые литературные пародии и эпиграммы, кое-кто из пародируемых усмотрел в них неуважение к своей персоне, кое-кто выразил даже протест в довольно активной форме. Одна солидная газета, например, заступаясь за поэта В. И. Лебедева-Кумача, назвала мою эпигramму на него «литературным хулиганством», мотивируя это главным образом тем, что «небезызвестный Сергей Васильев попал на депутата Верховного Совета РСФСР». Рано утром позвонил мне Александр Александрович:

— Держись, Серега! Никакого хулиганства ты не совершал. Эпиграмма вполне литературна, а звание депутата Верховного Совета не ограждает писателя от литературной критики! А что касается неприятностей, то они у тебя еще все впереди. Пародии писать — это тебе брат, не мадригалы стряпать! Небось знал, за что брался!

В этот же день вечером состоялся секретариат Союза писателей, на котором среди прочих немаловажных вопросов обсуждался и второстепенный вопрос — о моих пародиях и эпиграммах. Я на секретариате не присутствовал, но доподлинно знаю, что Фадеев, как потом он сам рассказывал, «выполнил роль чтеца-декламатора», демонстрируя мои первые сатирические опыты, и степой стоял за право их публикации. Точку зрения Фадеева разделяли также А. Н. Толстой, Всеволод Вишневский, Валентин Катаев, Леонид Соболев, В. Еремилев, Лев Кассиль и, конечно, Николай Асеев.

А разве можно забыть, как, при полной поддержке и одобрении Александра Александровича, поздней осенью 1939 года я вместе с Александром Безыменским пошел работать фельетонистом на Первый Государственный подшипниковый завод. Он находился в прорыве, отставал по плану выработки продукции. По решению Московского Комитета партии все средства агитации были брошены на завод, все формы пропагандистской помощи были использованы для того, чтобы вырвать из прорыва важнейший участок нашей промышленности. У А. Безыменского был уже огромный опыт газетчика-фельетониста, он успел потрудиться на Турксибе, на Днепрогэсе, в армейской фронтовой печати и в других местах, а я был новичок в этом хитром деле и, по совести говоря, растерялся вначале, собрался было убежать обратно, самоустраниться.

Но дело, однако, пошло на лад. Умело направленный А. Безыменским и горячо ободренный Фадеевым, я отыскал, придумал не совсем обычный вид вмешательства в процессы заводской жизни. Обосновавшись в редакции заводской многотиражки «За советский подшипник», я занял на ее страницах постоянное место — злую площадку под названием «Прокатный цех».

По моим «чертежам» художник Розе сделал броский заголовок: изобразил тяжелые валы и зажатую между ними смешную человеческую фигурку, как бы расплюснутую в момент проката. Перво-наперво был опубликован приказ директора завода Я. С. Юсима, которым «член Союза писателей СССР поэт Сергей Васильев, специалист по горячей обработке лептяев, болтунов, бракоделов, предельщиков и пьяниц», утверждался начальником «Прокатного цеха». Следом за приказом стали появляться мои фельетоны, как правило, написанные на конкретном материале, с упоминанием имен и фамилий нерадивых работников завода, тормозящих выпуск подшипников.

Результат превзошел ожидания. «Прокатный цех» завалили заказами — из кузницы и из сборочного цеха, из цеха четырехшпиндельных автоматов и со склада, из ОТК и из ремонтного, из завкома и комитета ВЛКСМ поволокли сырье для горячей обработки. В «Прокатный

цах» шли с цифрами, с процентными показателями, с жалобами, рапортами, передовые производственники популяризировали «пракатку», а лодыри и халтурщики вынуждены были подтягиваться, боясь попасть на «прокатный стан».

Когда я показал Фадееву несколько наиболее удачных фельетонов из своего «Прокатного цеха», он искренне смеялся; довольный и лукавый, сказал мне:

— Вот видишь, оказывается, литературное хулиганство может быть на пользу Советской власти!

По ясному выражению глаз, по веселости, по всей внутренней настроенности Фадеева я понял, что он всерьез оценил мою заводскую сатирическую деятельность. Недаром через несколько дней мне была вручена путевка на отдых, и не куда-нибудь, а в правительственный санаторий «Сосны», где я не только хорошо подлечился, но и познакомился и даже подружился с выдающимися нашими современниками, в частности — с покойным Глебом Максимовичем Кржижановским и Николаем Николаевичем Вороновым, нынешним Главным Маршалом артиллерии.

IV

Я мог бы привести, вероятно, по менее десятка примеров редкого, пристрастного, какого-то братски-трогательного отношения Александра Александровича ко мне и к моим сверстникам. В памяти отчетливо сохранились посещения Фадеевым поэтических собраний в Клубе писателей, «мальчишники» на Тверском бульваре, 25, чтение стихов по кругу, за дружеским застольем, просто рассказы о жизни, обычно затягивавшиеся до рассвета, внезапные выезды на рыбалку и на охоту, раздольные сидения у костра, полные бесчисленных перекрестных шуток, частушек и песен. На все хватало Фадеева. Особенно на песни, которые он помнил во множестве и пел самозабвенно, словно отрываясь от земли, ревниво оберегая топальность первого голоса, воспроизводя самый сложный рисунок протяжной русской мелодии.

Не дай бог, если кто-то из участников хорового пения вдруг брал фальшивую ноту, Александр Александрович

воспринимал это как личную обиду, почти по-ребячьи огорчался и порой не оставался перед упрёком. На всю жизнь я запомнил, как однажды, когда я, как на грех, никак не справляясь с пиздой второй, дал высокого петуха и нарушил стройное, слаженное исполнение хором грустной «Рябины», Фадеев прервал пение и мрачно обернулся ко мне:

— Господи боже мой! Неужели нельзя ради товарищей хоть одну минутку помолчать и послушать? Ведь сидеть молча и слушать — это тоже искусство!

Высказывая Фадеевым, как бы в шутку, мысль о том, что умение слушать есть не что иное, как искусство, не была для него праздной фразой. Я не один раз был свидетелем (да и участником!) долгих бесед Александра Александровича с братьями-писателями на самые различные темы литературного ремесла — о сборе, систематизации и выпячивании материала, о выборе названия, о предварительном плане будущего произведения, о безжалостном отсеке лишнего заготовок.

Терпеливо, с уважением, с неподдельным интересом выслушивал Фадеев соображения товарищей по перу — равно, были это маститые или совсем молодые, была это размеренная, осторожная речь мастера или воспалённая скороговорка вихрастого подмастерья.

Доверял и надеждой лучился в эти минуты добрые голубые глаза Александра Александровича, он, увлекаясь, как слушатель, сопереживал, волновался волнением собеседника.

V

Вообще говоря, трудно представить Александра Фадеева в отрыве от его главной особенности — постоянного участия в чужой радости или в чужом горе. Общеизвестны внезапные шумные «кавалерийские паскоки» Александра Александровича на квартиру к тому или иному романисту или поэту в наиболее трудные дни для хозяина квартиры, когда «не больно пишется» и «не очень можетсЯ», когда просто-напросто одолела хандра, обложило непрощёное затяжное уныние.

Метким оружием остроумия, громким весельем, роскошным обаянием человека, несущего в себе удивительный

авряд бодрости, свежести и доброжелательства, Фадеев как никто другой мог врачевать, избавлять людей от душевных неурядиц. Делал он это с ходу, независимо от того, где находился облюбованный им «пациент».

Мне лично довелось не однажды испытать на себе благотворное, воскрешающее фадеевское действо — будоражащий, встряхивающий до основания, призывный оптимизм жизнелюба, облеченный в форму единственно верного совета или заслуженной издевки, не обижаящей, а выпуждающей действовать, распрямляться, улыбаться, садиться за письменный стол, преодолевать трудности.

Я повторяю: мне довелось не однажды воспользоваться участием Фадеева. Но с особенной четкостью врезались в память два случая, о которых необходимо рассказать хотя бы вкратце.

Весной 1943 года, будучи штатным поэтом газеты «Правда», я по заданию редакции уехал в творческую командировку на Урал. После довольно длительных территориальных поисков я осел, как говорится, на приглянувшемся мне оборонном объекте — на огромном машиностроительном заводе, производившем в ту тревожную пору артиллерийские орудия.

Основательно, сколько позволило время и обстановка, изучив производство, достигнув горячую стальную страду уральских пушкарей, близко познакопившись с мастерами пушечного дела, я с увлечением в течение двух месяцев работал над задуманной поэмой. Всячески стараясь не отступать от точности описания самого процесса производства, я, разумеется, не забывал и людей, добиваясь должного равновесия. Однако, как ни велики были мои усилия, поэма получилась больше паселенная людьми, а машинами. Удовлетворенный окончанием работы, но озабоченный и опечаленный крепом в сторону техники в чистом виде, который явно обозначился в моей поэме «На Урале», я в смутенном состоянии духа вернулся в Москву. Чувство неуверенности, и раздражения, и злости на самого себя не давало мне покоя. И любопытно, что все это происходило со мной в то время, когда поэма была уже прочтана понимающими, известными поэтами и принята к печати. Но пужен был судья, которому я мог бы поверить, который помог бы разобраться в достоинствах и недостатках поэмы, точно определить находки и

промахи. Таким строгим и справедливым судьей оказался Фадеев. С карандашом в руках проштудировал он мою поэму «На Урале», заставил потом прочитать несколько кусков из поэмы вслух, помолчал несколько минут и вынес приговор:

— Озабоченность мне твоя понятна. Она объясняется просто: хотел изобразить одно, а вышло другое, вернее — не другое, а не совсем то, что было задумано. Так бывало и бывает не только с тобой, а со всеми пишущими. Что ж поделаешь, замысел и исполнение — птицы из разных гнезд, одна птица покладистая, другая с поровом. И все же я считаю, что поэма получилась. Правда, получилась без отдельных действующих лиц, без отдельных людских характеров, но зато, мне кажется, тебе удалось нарисовать образ самого завода, внушительный облик рабочего коллектива, целеустремленного и дружного. Убери лишние техницизмы, они не всем понятны, предельно сократи описательные общие места, чуть-чуть расширь лирические отступления и считай, что дело сделано!

Образ завода! Я услышал такое определение впервые. Оно меня вооружило пониманием собственной задачи, укрепило уверенность в необходимости доработки уже сделанного, позволило найти новые силы для окончательного решения темы. Я ревностно припался за доведение текста поэмы до надлежащей кондиции.

Результат был, в общем, утешающий: поэма «На Урале» появилась сначала на страницах газеты «Труд», а позднее, по совету Фадеева и при его содействии, была напечатана в журнале «Новый мир».

Примерно такую же степень участия проявил Фадеев и в моей работе над книгой «Москва советская». Сам пригласил меня к себе на дачу в Переделкино, сам толкнул на сюжет большинства стихотворений, — таких, как «У Мавзолея», «Крымский мост», «За рулем», «Кремль ночью», «Стадион «Динамо».

По мере написания я читал Александру Александровичу все стихи, одно за другим, из своей новой книжки, с радостью пользовался его умными деловыми советами, очень профессиональными, хитрыми, тонкими замечаниями, вбирал в себя публицистический жар особой фадеевской искренности.

Оглядываясь назад, по могу еще не поделиться воистину незабываемым, ярким впечатлением, которое я вынес при виде больших всепоглощающих хлопот Фадеева, связанных с добычей и отправкой продуктов голодающим писателям блокированного Ленинграда.

Это произошло в конце января, не то в начале февраля 1942 года в затемненной, завьюженной Москве, оштетнившейся бессчетными стволами зепиток, опоясанной и перекрещенной рядами надолб, сурово лимитированной и в хлебе и в электроэнергии. Затянув туго ремни, одевшись и обувшись по-походному, жили обитатели прифронтной столицы.

Вот в этих-то грозных условиях и случилось то, что до сей поры, при воспоминании, заставляет учащенно биться мое сердце. Может быть, переживания мои излишни, а может быть, то же самое испытал бы любой человек, оказавшись он на моем месте.

Дело в том, что события, которые тогда развернулись и о которых я сейчас расскажу, совершенно случайно исходили не от кого-нибудь, а именно от меня.

Вот как это неожиданно вышло.

Я служил тогда в качестве корреспондента и поэта в армейской газете Западного фронта «Уничтожим врага». Получив краткий, недельный отпуск для поездки в Чистополь, где находилась в эвакуации моя семья, вооружившись сухим и «мокрым» пайком, я отправился в дорогу. На долгом перегоне Москва — Казань я познакомился с веселым корепастым бородачом, оказавшимся ни больше ни меньше, как членом коллегии Народного комиссариата пищевой промышленности, начальником Главспирта СССР Зевелевым Иваном Ефимовичем. Не знаю уж, чем я приглянулся, по дорожное наше знакомство быстро перешло в хорошую дружбу. В общительном и остроумном спутнике легко было обнаружить не только крупного советского руководителя, но и горячего поклонника нашей литературы. В Казани я безотлагательно познакомился Зевелева с Фадеевым, возвращавшимся из Чистополя в Москву.

Встретились две широкие русские души, два добрых, отзывчивых характера, два партийных взгляда с одинаковым общественным темпераментом.

Симпатия между Фадеевым и Зевелевым обозначилась взаимно, и я, немедленно оценив обстановку, попрекнул энергично намекнуть Зевелеву на то, что не худо бы подкормить ленинградцев.

Вот откуда и вот почему, представьте, совершилось впоследствии неслыханное по тем временам доброе и святое дело — отправка в Ленинград внушительного транспорта с провизией для писателей.

Стараниями Фадеева, Зевелева и подключившихся к ним В. Ставского и А. Зотова все преграды во всех инстанциях были преодолены, и помощь ленинградцам осуществилась.

Выше я говорил о фадеевских хлопотах, назвав их всепоглощающими. Да, действительно такими они и были.

Когда на одном из этапов долгого пути к достижению цели кто-то где-то вдруг затормозил получение продуктов, угрожая невозможностью выдачи, Фадеев в буквальном смысле слова был подавлен этой бюрократической неразберихой. Я застал его в рабочем кабинете в тот момент, когда он объяснялся по телефону с каким-то, как он выразился, «неподатливым чиновным дубом». Перед Фадеевым стоял стакан с остывшим чаем и на тарелке лежали петропутыми два бутерброда с сыром.

— Понимаешь, Серега, не лезет кусок в горло при одной мысли о том, что теперь, вот сейчас делается в Ленинграде! Ведь там люди пухнут с голоду... Умирают, а мы тут согласовываем!

Он резко встал из-за письменного стола, рывком открыл форточку окна, зашагал от стены к стене, жадно глотая воздух, и без того студеной в плохо натопленной комнате.

Таким взволнованным, таким обескураженным и страдающим я никогда не видел его прежде. Похоже было, что страстное пламя сочувствия к далеким, отрезанным от Москвы братьям-писателям распирало и жгло ему грудь в эту трудную минуту.

Любовь к людям делала Александра Александровича, нашего незабвенного Сашу, прекрасным.

«Саша»! Так мы, москвичи, ленинградцы, киевляне, белорусы, азербайджанцы, грузины, татары, узбеки, латыши, все, все, и поэты и прозаики, и старые и молодые, звали нашего Фадеева, и в этом не было ни тени амикшонства или панибратства.

Как важное событие, как радостный и долгожданный праздник, дружно и весело отмечали советские писатели пятидесятилетие со дня рождения дорогого друга.

Центральный Дом литераторов был до отказа набит людьми разных профессий. Много, очень много нашлось охотников присутствовать на торжестве всенародно известного, уважаемого автора «Разгрома», «Последнего из удаче» и «Молодой гвардии».

В переполненном зале бок о бок с романистами и поэтами сидели, стояли, лепились друг к другу старые большевики и актеры, генералы и студенты, рабочие с завода «Серп и молот», колхозники из Подмоскovie, бывшие партизаны с донбасской земли и из Приамурья, солдаты, библиотекари, учителя.

Вся сцена и все проходы ломились от празднично настроенного народа. Не берусь в точности описать жаркую, то шумную, то вдруг затихавшую, аудиторию, помню только, что под сводами ЦДЛ царилa атмосфера единого душевного подъема, приветствиям и аплодисментам не было конца и края. Я вышел на трибуну как в тумане и, охваченный общим возбуждением, прочитал стихи, посвященные Фадееву.

Стихи были написаны довольно-таки торопливо, почти в день юбилея, они не претендовали на журнальную жпзнь, но сегодня, отдавшись воспоминаниям, я считаю возможным и даже пужным привести их целиком. Вот они:

Полдень века стоит на дворе.
сыповей своих окликал.
Голова твоя — в серебре,
а душа твоя — молодая.
Революции побратим,
ты любовью людской украшен.
Как Морозко неукротим,
как Олег Кошевой бесстрашен.
В жестком паспорте 50.
(Плюнь на ппфру, и сто бывает!)
А лукавый и добрый взгляд
зорьку в мае напоминает.
Ухо воинское — острѳ,
глаз пока что слеп без стекол.

И пастойчивое перо
 по бумаге летит, как сокол.
 Нет преграды твоим мечтам —
 все узнать тебе интересно.
 Нынче — здесь ты. А завтра — там.
 Послезавтра где — неизвестно.
 И венки мы тебе плели,
 славословили и свергали,
 а другого под стать не нашли
 и, пожалуй, пойдем едва ли.
 И несем мы тебе стихи,
 и романы, и заявления,
 и тайственные грехи,
 так сказать, своего соления.
 И берешь ты сверх всяких мер
 всё на суд, и не укоряешь.
 Заместителям не в пример,
 выбираешь делек — читаешь.
 И похожа на шум стремнины
 трудовая твоя дорога.
 Словом — пас у Фадеева много,
 а Фадеев у пас один.

VIII

Последний раз я виделся с Фадеевым в поле 1955 года. Накануне, встретившись со мною в переделькинском лесу на прогулке, он сказал, прямо намекая на мой обессиленный вид:

— Сущий Тарзан, хотя я в трусиках! Но кадр надо считать неспорченным, поскольку я не вaju рядом Чйту!

Поболтали, пошутили, сговорились на следующее утро позавтракать вместе. И вот я у Фадеева на даче, на солнечной стороне просторного двора. По приказу хозяйки сижу на скамейке и дожидаясь окончания его утренней «зарядки».

Фадеев размашисто, по-крестьянски, строго соблюдая ровность ряда, косит высокую траву. Сосредоточенно и терпеливо взмахивая косой, не оборачиваясь, продвигается по зеленому склону участка. Благоухает сваленная сочная трава, изумрудная, в редких, по крупным накрапах переспелой, багровой лесной земляники, переклика-

ются пволгп, играют блики раннего солнца. Я с наслажде-
дпнем наблюдаю за статным, проворным косцом: какой,
однако, он еще молодежавый, как ладно выглядит его пря-
мой корпус, как гордо и прочно сидит красивая голова,
как вольно и размеренно действуют руки! Вот он завер-
шил новый, самый длинный заход по травостоя, вскинул
на плечо косу и направился в мою сторону. И вдруг оста-
новился, присел на корточки, прижал ладонь к правому
боку. По внезапно сморщившемуся лицу, по вынужден-
ному приседанию и медленному распрямлению Фадеева я
сразу понял, что его полоснула внутри короткая, по не-
пмоверная боль.

— Саша, что с тобой? — кипулся я к нему.

— Ничего, ничего! Сейчас отпустит... Уже затихает... —
словно бы извиняясь за неожиданный промах, сказал
Александр Александрович и глухо добавил, присев на
скамейку: — Привязалась какая-то дрянь. Нет-нет да и
ужалит.

И тут, взглянув на Фадеева вблизи, я, впервые за все
время знакомства с ним, с тревожной ясностью увидел,
что рядом со мной сидел, в сущности, очень больной че-
ловек. Несвойственная Фадееву бледность, слишком
обильный пот и дрожь пальцев выдавали наличие како-
го-то тяжелого недуга, гнездившегося в стройном, внешне
не бодром теле.

Я с грустью это почувствовал, тревожно и глубоко
вдохнул, но виду не подал. Однако от наблюдательного
и острого глаза хозяина не ушел мой затяжной вздох. Он
веселым, лукавым голосом как ни в чем не бывало ска-
зал:

— Не вздыхай тяжело, не отдадим далеко... Я, вижу,
уморил тебя голодом. Не переживай, сейчас я тебе вы-
дам единственную в доме бутылку залежавшегося сухо-
го вина с приличной закуской, и гуляй себе на здоровье
один на один. Я ведь теперь не потребляю!..

Завтрак прошел шумно, по-фадеевски непринужден-
но и просто. По просьбе хозяина я прочитал новые стихи
из «Осенней тетради», а затем, конечно, пародии. Алек-
сандр Александрович сам поднялся в кабинет, принес мою
книгу «Взирая на лица» и, несмотря на мое сопротивле-
ние, заставил огласить из нее добрую половину. Вероят-
но, он сделал это потому, что за столом сидела приехав-
шая в Москву с Дальнего Востока его добрая знакомая,

кажется родственница одного из товарищей по партизанскому подполью. Покидая хлебосольный и гостеприимный дом Фадеева, я еще раз испытал щемлящее чувство грусти, увидев, как, только что будучи веселым, Александр Александрович снова вынужденно отрешился от самого себя и мрачно начал капать в рюмку какие-то коричневые капли. Фадеев — и капли, да еще какого-то знахаря! Это не укладывалось в моей голове. Но вот капли приняты, преодолена противная больничная процедура, опять звучит заразительный смех. И невольно подумалось: «Ничего! Все образуется, недомогание миует. Такой сильный организм, столько оптимизма, поправится!»

Разве я мог знать тогда, что больше не увижу Сашу...

ВО ИМЯ МЕЧТЫ

Памяти М. Залка

Я часто думаю о нем.
Всегда
сознание изменяет мне сначала:
мне кажется,
что смерть не разлучала
его с горячей жизнью никогда.
Носить в себе
все лучшие черты,
дойти в борьбе
до самой светлой грани
и умереть
на грозном поле брани
во имя человеческой мечты!
Я горд, что знал его,
что руку жал ему.
Когда догонит смерть,—
в дыму пожарищ
хотел бы я упасть,
как мой товарищ,
горящим сердцем
разрывая тьму!

1938

ВОСПИТАНИЕ

Памяти А. С. Макаренко

Я истину нимало не нарушу,
предельно честной будь, моя строка!
Я помню проникающие в душу
лукавые глаза весельчака.

И этот жест, немного угловатый,
и громкий смех, как ветерок с реки,
и этот страстный голос хрипловатый,
и твердое пожатие руки.

Нет, он шагал по жизни не святошей!
Любитель песен, нежный друг детей,
он шел вперед с богатой трудной ношей
больших забот и важных новостей.

Как ясный разум самого народа,
он партию любил и понимал
и действовал с искусством садовода —
берег людей, растил и поднимал.

Он, если надо, был законодатель
железных правил и суровых прав.
Но он лечил увечья, как ваятель,
а не как равнодушный костоправ.

Узнав его, к нему уже тянулись,
он был уже родной, а не чужой.
Из скольких тюрем и со скольких улиц
он вывел в жизнь воспрянувших душой!

Их тысячи — бывалых и веселых,
упорных дочерей и сыновей,
влюбленных в солнце, шумных новоселов
особых макаренковских кровей.

Дороги их легли по всем пиротам.
Они везде: летят за облака,
идут в штыки, лежат за пулеметом,
стоят у перегретого станка.

Они везде: в траншеях, на подлодках,
в тылу врага, в болотах и лесах.
О них пока что пишут только в сводках,
а надо бы писать уже в стихах.

1944

ПРЕЗИРАЯ СМЕРТЬ

Не берусь со всей полнотой нарисовать облик Николая Островского — писателя-большевика, писателя-бойца, человека необыкновенной целеустремленности, великой душевной силы, всю свою жизнь отважно борющегося за счастье трудового народа, отдавшего свою прекрасную жизнь в борьбе за торжество великих идей коммунизма.

Не собираюсь также анализировать бессмертную книгу «Как закалялась сталь», говорить о ее особенностях. Я хочу только поделиться теми раппими впечатлениями, которые я вынес от личного знакомства с Николаем Островским, от непосредственного общения с ним.

Было лето 1935 года. Я проездом был в городе Сочи и, как многие читатели, а тем более начинающие писатели, знал, что Николай Островский находится в этом городе и охотно видится с людьми, радуется их приходу.

Он в ту пору работал над второй частью романа «Как закалялась сталь», но первая часть была уже опубликована, и имя ее автора сразу же стало широко известным.

В жаркий, безоблачный день пришли мы к Николаю Островскому. Мой товарищ, писатель Иван Рахилло, сказал мне у самой калитки заветного белого домика: «Будем говорить как можно тише! Вообще постараемся молчать...» Во двор мы вошли, что называется, на цыпочках, родные Николая Алексеевича доложили ему о нашем визите и проводили в сад, где под яблонями, в редкой тени, стояла кровать.

Звонкий, молодой голос приветствовал нас. Николай Островский назвал нас обоих по имени, к удивлению нашему, назвал некоторые стихи и рассказы, принадлежащие нам, и беседа потекла так оживленно и громко, что от скорбных наших приготовлений не осталось и следа.

Николая Островского интересовало решительно все — кто из молодых писателей где живет, над чем работает, что читает. Кто преподает в Литературном инсти-

туте, какие новые здания строятся в Москве, какого роста Валерий Чкалов, какое впечатление производит метро. Николая Островского интересовали градостроительство и воздухоплавание, достижения в области физиологии и мичуринские опыты, разведка арктических льдов и пионерские походы.

Он нас забросал, завалил десятками самых неожиданных вопросов, мы наперебой старались отвечать и нередко становились в тупик, смущенно умолкая, по причине недостаточной осведомленности. В такую минуту Николай Алексеевич тактично менял тему разговора и начинал рассказывать о себе, о своих творческих планах на будущее. Долго, задушевно, весело и непринужденно текла беседа. Мы ушли от Николая Островского восхищенные его энергией, пораженные его жизненной страстью, заряженные весельем.

И все это излучал человек, присутствие которого на кровати трудно было обнаружить, если бы не голова с открытыми, по невидящим глазам, покоившаяся на подушке. Жестокая болезнь уже в ту пору так изнурила, так иссушила Николая Алексеевича, что кровать, на которой он лежал, казалось, не держала на себе человеческое тело, а просто была накрыта одеялом.

Позднее, в Москве, когда Николай Алексеевич уже работал над романом «Рожденные бурей», я неоднократно беседовал с ним, сидя у его постели.

Держа в своей влажной, холодноватой ладони руку собеседника, он с жаром развивал замыслы новых глав книги, по-прежнему улыбался, остроумно язвил по адресу лентяев и болтунов, по-прежнему проявлял любознательность, но тяжелый недуг уже вынуждал его к длительным паузам. Катастрофа надвигалась неотвратимо. Николай Алексеевич знал, что смерть приближается, но он ее не боялся, он ее презирал.

Вспомняя Николая Островского, видишь его живым, веселым, устремленным вперед, видишь его человеком будущего.

Вот мои ранние, юношеские стихи, написанные под впечатлением первой встречи, напечатанные в «Комсомольской правде» летом 1935 года.

— Я счастливый парень! — сказал Николай Островский на заседании городского комитета партии, которое состоялось на квартире писателя и было посвящено его творческому отчету.

Мы приносим жару на теле
и соленый морской прибой.
Мы подходим к твоей постели
и здороваемся с тобой.
Тишина. Над безмолвьем листьев,
точно пули, свистят стрижи.
И, как рыжая шкура лисья,
солнце рядом с тобой лежит.
— Что ж, товарищи, я доволен!
Время раннее. Говорим...

Ты смеешься, и оттого ли,
что я грудь опалил до боли,
я почувствовал: сердце колет,
и прижал его пятерней.
...Ты рассказываешь, что время
все стремительней и мощней
увеличивает измерения
изумительнейших вещей...
Но чем проще они и тверже,
тем труднее их передать...
Но советский писатель должен
этой силою обладать.
Ты хотел бы поближе к морю,
чтобы слышать морскую речь.
Представление о просторе
надо в памяти уберечь.
Как давно ты его не видел!
Ты еще говоришь о том,
что ты прежде всего — строитель,
а больной и слепой — потом!
Ты смеешься над ней, над смертью,
над бездарной ее рукой.
...Постепенно в моем предсердье
восстанавливается покой.

Перед нами — лицо поэта,
не вмещающаяся в слова,
изумительным свойством света
озаренная голова.

Перед нами водитель пестрых,
партизанствующих страниц,
самых тонких и самых острых
по оружию единиц.

Перед нами водитель злого,
одержимого войска слов,
отступающих и снова
грозно действующих полков.

Там, где ветер, полынь да явор,
в переливах цветных рубах
мчатся копи его метафор —
эскадры лихих рубак.

Эти славные эскадры
ходят в засухи и в снега,
поднимают хлеба над Доном,
по-над Вислой крушат врага.

Пригвабют к себе до рассвета
тихой ночью под шум дождя
комбайнера, врача, поэта,
может, больше того — вождя.
Кто сказал шепотком пугливым:
«Этот парень ослеп навек...»?!
Перед нами лежит счастливый,
зорко видящий человек.

И слезливой тоской участия
эту правду не затереть.

Да, товарищи, это счастье, —
так работать и так гореть!

Где еще, на какой планете,
у какой молодой страны
вырастали такие дети,
бурей времени рождены?
Кто их нянчил под алым флагом
на таком, как у нас, ветру?

Мы уходим широким шагом
от товарища по перу.

ГОТОВЫЙ НА ПОДВИГ

Однажды с Аркадием Гайдаром
в жестокий январский мороз
я ехал на «газике» старом
к ребятам на елку в колхоз.
Уже вечерело. Все туже,
как будто кому-то пазло,
в упор подмосковная стужа
секла лобовое стекло.
Шофер нажимал на педали,
вперед молчаливо глядел.
А мы всю дорогу болтали
о буднях писательских дел.
Не помню всего разговора...
Но помню, что вдруг, сквозь туман,
на нашем пути, у забора,
возник беспризорный пацан.
В обутом на босую ногу
худых башмаках, без калош,
в дырявой фуфайке, ей-богу,
он был на сосульку похож.
Гайдар не раздумывал долго:
— Садитесь, Мороз — слякый нос!
Пожалуйте с нами на елку,
но, чур, не просить папирос! —
Притих мальчуган на сиденье,
накрылся широкой полкой.
А добрый Гайдар на мгновение
задумчивый сделался, злой.
— Фамилия как?
— Горностаев.
— А кличка?
— А кличка Капут.

Взбодрился мальчишка, оттаяв,
другим стал за сорок минут.
— Откуда сбежал?
— Из детдома.
— Родителей нету?
— Нема...

На гребень крутого подъема
взлетела дороги тесьма,
свернула у старого дуба.
Блеснул электрический свет.
У прясла колхозного клуба
Гайдар приказал: — В сельсовет!

Колхозные власти не ждали,
признаться, подобных гостей.
Перечить, однако, не стали,
а вместо гостинцев-сластей
снабдили мочалкой Капута,
и вскоре чумазый Капут
с трудом был отмыт от мааута,
накормлен, одет и обут.
И стал до того симпатичным
и ласковым стал до того,
что с чувством тепла безграничным
смотрели мы все на него.
Эхма! Не имею я дара,
чтоб в точности вам описать
в тот миг ликование Гайдара,
готового шеть и шлясать.

1956

ЧУДО ЖИВОГО СЛОВА

Памяти Владимира Яхонтова

Вот она, последняя афиша,
мокрым востром скрученная в жгут.
Голос ваш все дальше, глуше, тише.
А поклонники еще стоят и ждут.
Как же так?

Талантом вы богаты,
Вам бы жить да жить еще, а вы...
Впрочем, судьи тут и адвокаты
не нужны, затем что не новы.
Не воротись окриком судейским
эту жизнь, ушедшую тайком,
этот пыл в союзе с чародейским,
богом данным, точным языком.
Как легко и верно вы читали!
Так вели живого слова строй,
что его тончайшие детали
нам казались музыкой порой.
Вдохновенный,

сдержанный,
крылатый,
несравненный голос ваш погас,
но остался отзвук-завсегдатай
в сердце тех, кто слушал вас не раз.
Как же надо было вам стараться,
как любить

рожденный в муках стих,
чтобы после смерти оказаться
среди нас, оставшихся в живых!

НА «ОГОНЕК»

Был такой Ефим Зозуля,
друг поэтов молодых,
как по компасу, бывало,
выводил он в люди их.
Сверх очков, случалось, глянет
на писаку-паренька
п почти без промедленья
заклучит наворачья:
— Я прочел тетрадку вашу.
Откровенно говоря,
ничего в ней нет такого...
Не теряйте время зря!
Исключили, говорите,
ня за что из МГУ?
Странно... Что ж, зайдите в среду,
может, чем и помогу.

А к другому обернется
просветленно, как отец:
— Мило, мило! Очень мило!
Вы же просто молодец!
Непосредственно. Толково.
Есть и чувство и напор...
Сократим наполовину
и попробуем в набор! —
Шли к Зозуле отовсюду,
по морозу шли и в зной —
с «Явы»,

с «Шарика»,

с «Динамо»,

с Первой сятценабивной.

В майках,

в ватниках,

в спецовках

и в шинелях тоже шли.

Туго свернутые в трубки,

на весу стихи несли.

(Как магнитом их тянуло,

тех парней и тех деvчат,
что доселе каблуками
в моей памяти стучат.)
Волновались.

Торопились.

Под собой не чуя ног,
на Страстной бульвар спешили
на заветный «Огонек».
Заседанье начиналось
за паваристым чайком
обязательно в шесть тридцать,
как в парламенте каком.
Обсужденье вел Зозуля
без удил и без кадил
и для каждого кружковца
меру правды находил.
Чинно выслушает чтение,
всем по кругу слово даст,
всех опросит, всех заметит,
неожиданно глазаст.
Подытожит разность мнений,
отвлечется на момент
(как бы взвешивая в мыслях
трезвой истины процент),
убедит, уравновесит
эту сторону и ту
и под роем жарких препий
подведет свою черту.
(Раз и два стишок пропашет,
так и этак повернет,
а действительную цену
все равно ему найдет.)
И стоит, бывало, парень,
автор рыхлого стиха,
и расстроен,
и растроган,
и обструган без греха.
И хватило на растопку,
и осталось про запас,
и намылили порядком,
и побрили в самый раз.
Кочегар он или слесарь,
продавец или солдат —

все равно, видать, бродяга,
что прямой оценке рад.
Правда, чуточку обидно,
но зато к концу суда
от бывшего самомнения
не осталось и следа.
Ведь не скрыли суть, напротив,—
указали на изъян,
прошерстили честь по чести,
как положено друзьям.
За худое поругали,—
ничего, брат, парень свой.
За находки похвалили
(даже, может быть, с лихвой).
Но среди спорных и вихрастых
одержавых пареньков
был любимец у Зозули
по фамплье Смеляков.
Раньше сверстников успевший
впрок разведать мастерство,
он сидел по праву руку
от Зозули самого.
Худощавый и печальный,
но занозистый судья,
он сидел как бы прижатый
грузом собственного «я».
До поры молчал упрямо,
а уж если слово брал —
говорил привычно долго
и обычно без похвал.
Дескать, так и так, любезный,
нету дыма без огня.
То ты Хлебникова скоблишь,
то копируешь меня.
Слог сбивается на прозу,
свежей рифмы ни одной,
и эпитет сплошь захватан,
как скоба у проходной.
Вот, пожалуйста!

При этом

Смеляков не впопыхах
развивал свое суждение,
а с цитатами в руках.

Шел по рукописи с толком,
по ее шагала полям,
выражая мысли басом
с голым перцем пополам.
Типографский работяга,
как наборщик на посту,
он любой словесный вывих
цепко видел за версту.
И высмеивал, конечно,
и передко поделом,
вызывая шум, однако,
за притихнувшим столом.
Смеякова уважали
за талапт, как говорят,
а за поров лишь терпели,
да и то не все подряд.

А бывало, что счастливый
выпадал зимой денек.
Например, Борис Корнилов
забрел на «Огонек».
Нашумевший ленинградец
(положивший и Москву),
он похож был по обличью
на веселого мордву.
Коренастый, узкоглазый
и приветливый такой,
неожиданно и лестно
нарушал он наш покой.
На его лице лежала
обаяющая печать.
Хорошо писал, приметно,
а уж как умел читать!
Что ни слово — слово-птица,
ловко пойманная в сеть...
...«Как от меда у медведя
зубы начали болеть».
Эту ласковую сказку,
небыль прелести лесной,
всю пропахшую грезами,
медуницей и сосной,
эту повесть на бересте
дважды вслух нам гость прочел,

от густых аплодисментов
отбиваясь, как от пчел.
И, взволнованный, взмолился,
улыбаясь, как всегда:
— Я ж не тенор и не кепарь,
пожалейте, господа! —
С нежной завистью внимали
мы поэту-королю
и вслед ему глядели,
как большому кораблю.

Ах, кружковцы-огоньковцы,
други ранние мои!
Я вас нынче вспоминаю
как щенцов одной семьи.
Оперились — разлетелись
звонкой стайей из гнезда
по земным и звездным трассам
вдаль, неведомо куда.
А ведь было время — жили
на началах продувных,
торжествующе делили
кружку пива на двоих,
в фортку времени глядели,
как в подзорную трубу,
предрекая всласть друг другу
распрекрасную судьбу.
На ходу изобретали
белый стих и серый стих,
не догадываясь даже
о засилье таковых.
Многих, бойко сочинявших,
клали в лед и в кипяток,
подвергая испытанью
на разрыв и на поток.
И увенчивали все,
и свержали (бога нет!),
отсылая в преисподнюю
не один авторитет.
Шли вдогон,
на риск,
на пробу,
наобум и напролом,

в мирный час отогреваясь
у Зозули под крылом.
Всем хватало в тесном зале
краткой критики босой,
и казенных бутербродов
с неизбывной колбасой,
и речей, произнесенных
из расчета на эффект,
и в пергаментных обертках
вязких соевых конфет,
и возвышенных претензий,
и холодных од дряпных,
и дежурных комплиментов,
и папугастый прописных.
Что бы ни было — старались.
Просвещались от души,
покупали даже книжки
на последние гроши.
И за пазухой дремали
(яко благ и яко наг!)
Маяковский,

Бедный,
Брюсов,

Блок,
Есенин,
Пастернак.

И под утро засыпали
под мальчишеской щекой
Уткин,

Тихонов,
Асеев,

Антокольский,
Луговской.

Что бы ни было — учились.
Привыкали жить всерьез,
отличать зерно от жмыха,
лебеду от алых роз.
Крепко-накрепко дружили,
выбор шел, не с копдачка.

Все видала крыша-пристань
золотого «Огонька».

Все там были — ели-пили,
начинали путь с азов —
Михалков,
Ошанин,
Кедрин,

Коваленков,
Железнов.

Все нетвердо танцевали
от заглавной буквы «А» —
Алигер,

и Долматовский,
и покорный ваш слуга.
Впрочем, всех не перечислишь —
разбредлись погодки врозь,
тех уж нет, а те далеке,
не доклпчешься небось.
Годы юности глазастой!
Зорьки,

ночи,
вечера!

Тридцать лет, как вы промчались,
а как будто бы вчера.

За окном то дождь, то вьюга,
то погожий год, то злой.
Много их прошелестело
над родимую землей.

И теперь, когда в печати
паподобие цветка
обдаст благоуханьем
очень свежая строка, —
не взглянув на подпись даже,
лишь доверившись чутью,
почерк сверстника-кружковца
я с любовью узнаю.

Кто ж повинен в силе слова,
в мысли, взмывшей к небесам?
Винovat, конечно, автор,
перво-наперво он сам.

Кто ж его на люди вывел,
кто помог начать разбег?

А помог ему тот самый
бескорыстный человек,
тот душевный, терпеливый,

знавший заповедь одну:
помогать всему живому,
не давать упасть ко дну!
Тот, уже полузабытый,
породнивший штык с пером,
в бой ушедший в сорок первом,
павший в нем вперед лицом.
Тот, не ведавший, не знавший,
что такое передых,—
дорогой Ефим Зозуля,
друг поэтов молодых.

1965

ДОЛГАЯ ДОРОГА

Шесть десятков лет тому назад была сдана в печать первая книга стихотворений поэта. Прожита большая жизнь, пройден долгий творческий путь, полный ранних радостей, последующих за ними огорчений и разочарований и даже жестоких противоречий.

Следует, однако, сразу же сказать: на всех основных исторических поворотах С. Городецкий был вместе с народом, жил его чаяниями. Несмотря на все затяжные шатания, связанные с периодом петербургского декаданса, С. Городецкий, не в пример некоторым своим спутникам по акмеизму, убежденно примкнул к Великому Октябрю.

Внимательно читая стихи С. Городецкого, с очевидной наглядностью видишь глубокую патриотическую сущность творчества поэта.

Своеобразием, подлинным русским духом отмечены стихи из первой книги «Ярь» (1907), о которой А. Блок писал с чувством радости и симпатии: «Здесь оживают народные слова и эпитеты... Все живет, трепещет своей жизнью».

В основу юношески свежей книги «Ярь» легли красочные мотивы деревенского фольклора Псковской губернии, чутко подслушанные молодым поэтом и выраженные им с подкупающим жизненным лиризмом.

По тогдашним временам буквального засилья мистики, «утонченной», нафабренной поэзии, мертвящей и холодной, естественное поэтическое слово, рожденное на почве человеческой правды, выделялось своей живостью, вызывало сочувствие у знатоков и ценителей искусства. Недаром В. Брюсов, подчеркивая высокие достоинства первой книги С. Городецкого, говорил о том, что он «приобрел опасное право — быть судимым в своей дальнейшей деятельности по законам для немногих».

Наступившая после 1905 года пора реакции существенно изменила общую оптимистическую тональность поэзии С. Городецкого, в его стихах стали преобладать ноты печали, глухого внутреннего протеста против социальной несправедливости.

Характерно в этом отношении стихотворение «Неотвязная картина» из книги «Русь»:

Десятину распахали
В серый прах.
Петухи кричать устали
На плетнях.

Сохнут вскопанные комья,
Мрет трава.
Даль безлесья и бездомья
Вся мертва.

Лихо вьется по дороге
Злая пыль.
Это вымысел убогий
Или был?

Конечно, С. Городецкого нельзя причислить к категории тех литераторов, которые в дооктябрьский период четко определили свои идейные позиции. Но здоровое демократическое начало, заложенное в творчестве поэта с первых его шагов, помогло ему вырваться из душного плена эстетических ухищрений, преодолеть влияния буржуазного упадочничества и устоять на резком ветру преобразующих мир событий.

И декларативные теоретизирования об акмеизме как о «новом слове в литературе», а в сущности не более, чем разглагольствования в тех же рамках символизма, и казенный патриотизм первой мировой войны, и разное наносное другое отступило перед могучей правдой Революции.

С. Городецкий с энтузиазмом включается в бурное строительство нового мира — он пишет стихи, исполненные гнева к угнетателям, славит, воодушевляет людей раскрепощенного труда.

Когда же земное богатство
Достанется истым живым
И ветер свободы и братства
Разгонят удушливый дым? —

нетерпеливо, призывно вопрошает поэт и всем сердцем старается содействовать великому процессу советских преобразований.

С. Городецкий, будучи на Кавказе, редактирует журнал «Искусство», который печатается сразу на двух языках — русском и азербайджанском, возглавляет отдел художественной пропаганды в Кавказском отделении

РОСТА, заведует литчастью Политуправления Каспийского флота. По приезде в Москву — руководит одновременно литературным отделом газеты «Известия» и литературной частью Театра революции.

Служба не мешает поэту быть творчески активным, публицистическая лирика вскоре объединяется им в первой советской книге «Серп», во многом перекликающейся своими жизнеутверждающими мотивами с сонетной «Ярью».

В советское время С. Городецкий энергично работает в разных жанрах — в лирике, в области перевода поэзии братских республик на русский язык, в оперной драматургии.

В 1937 году появляется светлое стихотворение С. Городецкого — «Горюшко». В нем автору удается передать глубокий, волнующий смысл счастливых перемен в новой советской деревне:

Без призора ходит Горе
От одной избу к другой
И стучит в окно к Федоре,
Старой сватье дорогой:
— Отвори, Федорушка,
Отвори скорей!
Это я тут, Горюшко,
Плачу у дверей.

«Ты мне, Горе, не родня!» — отвечает Федора с законной гордостью человека, одолевшего бывшее горе, живущего в достатке.

В какую бы избу ни постучалось Горе — к сватье ли Федоре, к свату ли Егору, к многодетному ли колхознику Сидорушке, — нигде нет Горю пристанища. Изменилась жизнь, ушли, канули в прошлое беспросветные дни. Убедительно звучит концовка стихотворения:

— Что с народом приключилось?
Не видало отродясь!..
Горе лукицей расплылось,
Солище высушило грязь.

Написанное в легкой разговорной манере, с хорошим народным юмором, «Горюшко» впечатляет и запоминается.

С. Городецкий много и плодотворно потрудился в области оперной драматургии. Его перу принадлежат

тексты к операм «Лоэнгрин», «Чародейка», «Фиделио». Бесспорными художественными достижениями отличается новый текст к опере «Иван Сусанин». Патристическое звучание слова, верное понимание поэтом идейной глубины изумительной музыки Глинки сливаются здесь в стройном единстве.

Когда-то, стремясь освободиться от тяжкого груза прежних буржуазных привычек и представлений, С. Городецкий писал:

Пусть с кровью мы сдаем ветошь,
Но мы сдерем ее с себя.

Следует сказать, что у С. Городецкого слово не разошлось с делом. И это обстоятельство вызывает ныне у читателя чувство уважения к его многогранному, долгому, более чем полувековому творческому пути.

1956

СОБРАТЕЛЬ МОЛОДЫХ

Десятая осень отделяет нас от того скорбного дня, когда Москва, писательская братия, многочисленные читатели проводили Панферова в последний путь.

Все люди, близко знавшие Федора Панферова, любили и уважали этого незаурядного человека, родившегося в бедняцкой крестьянской семье на Волге, впитавшего в плоть и кровь эпическую широту и лирическую синеву великой русской реки.

С малых лет познавший тяжелый крестьянский труд старой дореволюционной деревни, проникнувшийся всеми частыми бедами и редкими радостями хлеборобов, мечтательный сельский паренек Федорка потянулся к свету, в сущности, самоучкой, овладел грамотой и со временем стал знаменитым писателем.

Конечно же, стать литератором помогла Панферову Октябрьская революция, родная Советская власть, но этого не произошло бы никогда, если бы он не обладал природным художническим даром.

Лучшее из написанного Федором Ивановичем отличается безусловным чувством историзма, жизненной правдивостью, завидным знанием психологии строителей нового мира, изображенных писателем в самую жаркую пору — в годы ожесточенной борьбы за коллективизацию сельского хозяйства.

Горячее воображение, умение видеть «на семь сажен в землю», ощущать особенности родимого пейзажа, знать, слышать и помнить корневую крестьянскую речь, зорко отличать друзей от врагов, не бояться показывать жизнь во всех ее противоречиях, — все это сопутствовало Панферову в счастливые часы и минуты вдохновения.

Целую галерею положительных образов, борцов за народное счастье, во главе с Кириллом Ждаркиным и героиней колхозных полей — Стешей, создал Панферов, придав им черты обаяния, добившись хрестоматийности изображения. На «Брусках» учились утверждать социализм многие поколения советских читателей.

Говоря ныне о Федоре Панферове, веляя не упоминать о его втором бесценном таланте — редакторе, ор-

гапизаторе, собирателе молодых литературных сил. Будучи много лет подряд редактором журнала «Октябрь», Федор Иванович в буквальном смысле слова всего себя отдавал любимому делу. Не стану перечислять литераторов, обязанных своей сегодняшней известностью Панферову, скажу только, что число их поистине велико.

Без преувеличения можно сравнить эту неугасимую страсть Федора Панферова — искать и находить одаренных людей из народа — с благородной деятельностью Максима Горького.

Прославленный писатель, общественный деятель, депутат Верховного Совета СССР второго, третьего и четвертого созывов, путешественник, охотник, рыбак, веселый хлебосол, труженник, не перестававший думать о других даже в мрачные дни тяжелой болезни, — таким мы запомнили Федора Ивановича Панферова.

ЧУВСТВО СЕМЬИ ЕДИНОЙ

Слова, вынесенные в заголовок этой заметки, принадлежат, как известно, не мне, а выдающемуся поэту Украины — Павло Тычине.

Но, перечитав роман «Семья Рубанюк» Евгения Поповкина, я не нашел лучшего определения для своих мыслей, вновь разбуженных этой книгой.

И это чувство так могуче!
Так ощутимо и весомо!..

Безусловным и прочным достоинством широкого повествования Е. Поповкина является на редкость задушевная общая нота жизненности, правдивости, звучащая на страницах романа.

Ничего не придумывает автор, не ухищряется, не мудрствует лукаво, а обращается к тревожной земной правде, припадает к ней, как путник к родниковой струе, — жадно и благодарно.

Не знаю, как кому, а мне очень дорога именно эта строгая безыскусственность в творчестве Евгения Поповкина, его историческая точность, из которых вырастает убедительная художественная истина.

Надо сказать, что Евгений Поповкин пришел в большую литературу со своими принципами, с последовательностью хорошего, ревнивого летописца. Еще в его ранней работе «Большой разлив» обнаружилось пристрастие к документальности, которое развилось и приобрело приметную эпическую стройность в «Семье Рубанюк».

Я впервые прочитал «Семью Рубанюк» в 1951 году. Читая, помню, испытал то самое неподдельное волнение, которое можно назвать пробужденной патриотической гордостью. Нет, это не выпренность оценки, подобное ощущение, повторяю, испытал я и сегодня.

Опять меня тронул образ старого, но такого молодого душой Остапа Григорьевича, крепкого, как могучий ветвистый дуб, ушедший корнями в родную почву. И его сыновья: старший — Иван, и средний — Петро, и совсем юный — Сашко, словно молодой дубок, выбежавший на поляну жизни из вешнего шумящего подлеска.

Опять я с сочувствием следил за чистотой и верной любовью Петра и Оксаны, за всеми тягостями горьких испытаний, выпавших на их долю, по не ослабивших, а лишь упрочивших этим союз двух влюбленных сердец.

Нет сомнений, что душа романа, его эмоциональный центр — светлое чувство взаимной верности двух молодых людей.

От первых клятвенных слов над мирным, тихим, довоенным Днепром, от первого робкого признания в любви на всю жизнь до суровой присяги родине не словом, а делом, кровью своей и болью своей — вот развитие этой страшной и жгучей линии романа.

Следует признать, что Евгений Поповкин, как немногие в современной литературе, сумел поставить и не без успеха решить важнейшую тему — возникновение сильной и примерной семьи, морально возвышенной и надежной опоры советского общества.

В романе дана, если так можно выразиться, полная воля эпическому перу для описания событий в рамках одной семьи. Однако кровные узы связывают не только многочисленных членов семьи Рубанюк друг с другом, но роднят каждого из них с отечеством, со всем великим советским народом, готовым на муки ради общего счастья.

Другой вопрос: в какой степени элемент описания в романе соотносится с элементами показа.

Тут я сразу же замечу, что Евгений Поповкин, при всей его авторской рачительности, допустил известные просчеты. И произошло это главным образом из-за стремления поведать о всех или почти о всех подробностях бурного времени 1941—1945 годов.

Для этого понадобилось географически размахнуться от села Чистая Криница на Киевщине до Москвы и Подмосковья, от Дона и Кубани до Курской дуги и Крыма. И тяжелые будни фронта, и напряженная до предела обстановка в тылу, и сверхурочный неслыханный труд, и непрерывный смертный бой, и многое, многое другое потребовалось включить в сферу действия романа. Оттого в романе неоправданно много эпизодических персонажей и побочных сюжетных линий, уводящих повествование от главной, основной идеи, лишаящих его стройности. Образовались досадные длинноты, неоправданное многословие. В плавное течение повество-

вательной симфонии как бы вторглись посторонние, невыверенные звуки. Все это так. Но верх взяла все же та самая главенствующая, покоряющая пота жизненности, о которой я сказал выше.

Рядом с Остапом Григорьевичем, Петром, Оксаной, Иваном встают, как живые, многие второстепенные герои, такие, как пятнадцатилетняя Василишка или связанной подпольного райкома партии Супруненко. Им отведена в романе, так сказать, минимальная жилая площадь, но их отважные поступки, показанные исподволь, с неожиданной броскостью, воспринимаются с настоящим интересом, озаряются светом правдивости.

Многое, многое в романе западает в память.

Хорошую службу несет язык. Евгений Поповкин умело, я бы сказал — с какой-то хитрой обаятельностью сочетает русскую речь с украинской «мовою». Делает это он тонко, не злоупотребляя «словесной смесью», не загромождая, а дозируя живо и изобретательно. Получается и остроумно и индивидуально!

В этом смысле особенное сочувствие вызывают письма Василишки из фашистского плена, из Германии. Ребячья непосредственность переплетается здесь с внезапно наступившей зрелостью, горечь — с юмором, ненависть — с любовью. И все это проступает на полотне происходящего с удивительной выразительностью, искрится, переливается, живет чистым словесным бесером.

Почти два десятилетия отделяют нас от того времени, когда роман «Семья Рубанюк» впервые появился в печати.

Радужно встретил его читатель, увидев в пространном повествовании ясный отсвет грозных событий, картины всенародной страды, испытания на прочность всего нашего нового советского строя.

Историческая правда живуча и неистребима. Роман «Семья Рубанюк» не утратил своей боевитости и по сей день — органическое слияние образа отважной семьи патриотов с образом родины продолжает впечатлять читателя своей идейно-художественной значимостью.

Имя Евгения Поповкина не принадлежит к числу особо громких имен современной советской прозы, критика не так уж часто жаловала его своим вниманием, в перечне наиболее известных писателей он не значился.

Но это не мешает широкому читателю видеть в Евгении Поповкине одного из активных авторов, мастеров поднимать пласты народной жизни.

Сама биография писателя подсказывала ему животрепещущие темы дня, диктовала необходимость высказаться о самом главном.

Родился он на Украине, в селе Петроострове, в учительской семье, с детских лет впитал в себя трудовые навыки хлеборобов, глазами подростка увидел пожар гражданской войны, пережил огненные перепады то прихода Красной Армии, то нашествия белогвардейщины. Уже в юном возрасте Евгений Поповкин становится борцом за новую жизнь. В 1921 году он вступает в комсомол и, находясь в отрядах ЧОН (части особого назначения), участвует в борьбе с кулацкими бандами.

В 1925 году Евгений Поповкин становится коммунистом и в качестве партийного пропагандиста колесит по бесконечным дорогам родного края, упрямо занимается самообразованием, командировается на учебу в Москву, в Первый Московский государственный университет, и в 1931 году заканчивает литературный факультет.

Пора окончания учебы совпадает с решением ЦК ВКП(б) о создании при совхозах и МТС политотделов, и Евгений Поповкин добивается откомандирования на политическую работу на Северный Кавказ.

Все эти насыщенные бурными событиями годы Евгений Поповкин не перестает заниматься журналистикой, которая явно перерастает в беллетристику. Его работа в ростовской газете «Молот» помогла ему стать опытным литератором, и в 1940 году он создает свой первый роман «Большой разлив».

Затем — грозовые дни и ночи Великой Отечественной. Северо-Западный, Степной, Воронежский, 1-й Украинский фронты, редактирование армейских газет, неисчислимыя беды и горести отступления, тяжелые, завоеванные дорогой ценой первые воляские победы, и, наконец, гневная солдатская радость — разгром фашистских полчищ. Свидетель и очевидец беспримерной битвы, побывавший в пекле ожесточенных сражений, обремененный богатейшим запасом впечатлений, заполнивших фронтовые блокноты, Евгений Поповкин буквально рвется к письменному столу. Послевоенная жизнь в Крыму целиком отдана творчеству, результатом которого явил-

ся роман «Семья Рубанюк» — плод пятилетней напряженной работы. Потом — переезд в столицу и с 1957 года редактирование журнала «Москва».

Пережитый тяготы войны, возненавидевший ее, как только может возненавидеть непосредственный участник, писатель с воодушевлением включается в активное движение борьбы за мир. Евгений Поповкин участвует во Второй, Третьей и Четвертой Всесоюзных конференциях сторонников мира, трудится в Советском комитете защиты мира, в обществе «СССР — Греция», неустанно общается с международными деятелями мирного фронта. Темперамент публициста, жажда к путешествиям, желание все увидеть и услышать самому не дают Евгению Поповкину засиживаться в Москве. Поездки во Францию, Грецию, Чехословакию, Румынию рождают новые книги. В них неизменно присутствуют горячая симпатия к друзьям, любованье успехами людей свободного труда, осуждение эксплуататоров.

Особенно, с моей точки зрения, увлекательно написано «Несентиментальное путешествие» — трехтысячечилометровый путь по городам и департаментам французской земли. Острая наблюдательность, доброжелательство, очаровательный поповкинский юмор делают свое доброе, жизнелюбное дело.

Последний год жизни писатель тяжело болел, но даже болезнь не могла оторвать его от напряженной творческой работы.

Он скончался в пору мудрой духовной зрелости, в пору энергичного поиска единственно верного слова, не завершив задуманного. Но то, что он успел сделать, долго будет помниться и волновать отзывчивые сердца читателей.

1969

КРИТИК-ХУДОЖНИК

Меня не удивило, как и моих соседей по креслу, что па вечере памяти Александра Николаевича Макарова в Центральном Доме литераторов негде было лбллку упасть.

На вечер воспоминаний о хорошем человеке люди собираются как на огонек. И в этом нет ничего удивительного.

Я не берусь, и это мне просто не под силу, анализировать художнические и философские свойства критических работ Александра Макарова. Не хочу заниматься критикой критики.

Я только хочу высказать свои скромные соображения с тем, чтобы они легли в общую копилку добрых слов в адрес этого па редкость обаятельного, исполненного строгой любви человека, всегда доброжелательного, но отлично видевшего наряду с достоинствами и просчеты, и даже пороки братьев по перу.

Я учился с лпм вместе в Литинституте тридцатых годов и помню его с юных лет. Он в молодости был человеком огромного воображения, беспокойной мечты, и можно было подумать, что он станет романистом или поэтом.

Однако — стал критиком-профессионалом. Да еще каким критиком! Когда возникал спор в издательстве или в редакции газеты, когда необходимо было решить по справедливости судьбу той или иной спорной рукописи, старались дозвоиниться, добраться до Саша Макарова и выслушать его авторитетное, правдивое мнение. И это был правый суд, не требующий пересмотра. Александру Николаевичу верили, знали, что он в своих суждениях безусловно честен и прозрачен, как стеклышко.

С моей точки зрения, Макаров напоминал таких людей в литературе, как Аркадий Гайдар, Михаил Светлов, Антон Семенович Макаренко. То же безусловное бессребреничество, то же отрешение от каких бы то ни было благ, добытых при помощи строчкогонства.

Это был человек, прекрасно разбиравшийся в разных жанрах литературы, умевший «глядеть в корень» явления, обладавший редкой памятью, читавший наизусть

несметное количество стихов и древних, и молодых, и зарубежных, и отечественных поэтов, читавший страстно, с чувством, потому что любил поэзию беззаветной, вечной любовью.

Мы, его товарищи по ремеслу, как-то привычно, просто, спокойно и даже порой, может быть, несколько равнодушно заправили на Сашу; ну, что же, хороший человек, талантливый критик, и все.

А он был, как выяснилось, больше, значительнее, чем мы думали, он заслуживал исключительного к себе внимания. Постоянного.

Привычка, холодная успокоенность, грабчащая с забвением прекрасного, с обесцениванием собственного богатства.

Вот мы сидим тут, разговариваем, а и забыли совсем, что находимся в центре знаменитых исторических мест, связанных с нашей национальной гордостью, с сокровищами родной истории.

Какие достопримечательности окружают наш писательский дом! Недалеко от теперешней площади Восстания, бывшей Кудринской, на Новинском бульваре стоит дом, принадлежавший Федору Шаляпину, а направо по Садовому кольцу — красный домик Антона Чехова.

Да и сам-то наш белый дом с колоннами, где ныне располагается Правление Союза писателей СССР, связан с именем Льва Николаевича Толстого!

Знаток говорят, что отсюда, из Скарятинского переулка, из дома родителей Натали Гончаровой, Пупкина, об руку со своей красавицей невестой, в чужом фраке пешком пошел венчаться в церковь у Никитских ворот. Видите, какие чудеса живут рядом с нами, а мы и не задумываемся об этом!

К Александру Николаевичу Макарову относились мы с излишним ленивым спокойствием, не понимая или не желая понимать, что среди нас жил литератор выдающийся.

Он был человеком отнюдь не атлетического сложения, зато какая приметная духовная сила играла в нем!

В каждой профессии есть хорошие мастера. Возьмите любую, к примеру, четческую. Были-жили хорошие чтецы-артисты, такие, как Дмитрий Орлов, Антон Шварц, Николай Першин. Но был еще Владимир Николаевич

Яхонтов, о котором даже великий Качалов говорил, что он — чудо.

Были, гремели в своей области замечательные, умелые и храбрые летчики, их много, я перечислять не буду, но был еще Валерий Чкалов. Его, к сожалению, все реже называют великим, но он ведь таковым являлся.

Были и есть в нашей советской литературе хорошие критики, умные, просвещенные, но Макаров в их среде был очень заметной личностью, занимал в их строю одно из правофланговых мест, неустанно, терпеливо, несмотря на свои тяжелые физические недуги, с блеском действовал своим умным пером.

Кстати, Саша был чрезвычайно жизнелюбивым, веселым человеком, ревниво ценившим юмор, умевшим смеяться даже тогда, когда иные впадали в панику и опускали руки. Как-то раз, в пору его первой грозной болезни, я сочувственно спросил его: «Ну, как дела? Как здоровье?»

Он лукаво посмотрел на меня и неожиданно ответил смешным четверостишием:

У крокодила Саши
болела чешуя,
но он сказал мамаше,
что это ничего.

Позднее я использовал это четверостишие, написав эпиграмму на не понравившегося мне певца, которого я услышал по радио:

Слышал по радио певца,
хоть не видал его лица,
по, и не видев никогда,
готов признать: вот это пет!

Александр Макаров писал о разных людях, настолько разных, что их можно было назвать полярными, как бы взаимоисключающими друг друга в рамках оценки одного и того же ценителя.

Он анализировал творчество Веры Инбер, и Константина Симонова, и Ярослава Смелякова, и Сергея Подделкова, Евгения Евтушенко и вашего покорного слуги. Я называю лишь несколько фамилий наугад, для наглядности, и, мне думается, они убедительно говорят о широте диапазона критика, о жадности и щедрости его интересов.

Точно, пристрастно, заинтересованно, доброжелательно, умно работал Макаров, стремясь выяснить, определить подлинный вес и место в литературе того литератора, о котором завел речь.

Он был критиком-художником. Что я понимаю под этим? Способность критика проникать в тайны образности языка, видеть деятельность поэта или романиста не только в настоящем виде, но и в перспективе, а самое главное—умение проникать в тайны мастерства, становясь как бы соучастником производства прекрасного, не претендуя на соавторство. Если критик способен на это, значит, он может не только цепить, но еще и направлять, подсказывать, сигнализировать об опасности и освещать путь писателю на крутых поворотах.

Никто из критиков, кроме Александра Макарова, не сумел и не отважился так исчерпывающе верно, так взыскательно и в то же время так уважительно, со строгой любовью сказать прямо в глаза некоторым молодым «модным» поэтам и прозаикам: вы, братцы, конечно, одарены, но будьте совестливы, не завышайте сделанного вами, не занимайтесь сладким самообманом, не вскакивайте на ходу в трамвай с передней площадки, нарушая правила движения на улице советской литературы.

Статьи эти у любителей литературы на памяти. Их написал Александр Николаевич Макаров — взволнованный, бескомпромиссный судья, защитник и глашатай талантов.

ЖИЛ ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ

Мастерство Николая Рыленкова, значительно возросшее, по-моему, за последнее десятилетие его жизни, привлекало внимание любителей поэзии не только безупречной чистотой и ясностью формы, изяществом рисунка, оно имело под собой богатую плодоносящую почву, глубокую национальную основу. Надежной опорой для Рыленкова-художника служила папа бескрайняя родимая Россия с ее раздольными полянами, перелесками, пашнями, протоками, серебристыми трубами журавлей и грачиным граем. И что самое примечательное—природа в стихах Рыленкова никогда не возникала в отрыве от трудового человека, напротив — неизменно находилась в тесном союзе с ним, — в поэме ли, в песне ли, в рассказе ли, в сказке ли.

Николай Рыленков не просто клялся именем России, а буквально жил великой любовью к ней, задыхался без ее медового разнотравья, не мыслил себя как поэта и гражданина в разлуке с ней.

Он упивался гордой историей многострадальной Смоленщины, боготворил ее тружеников и героев на поле брани, да и не мог иначе, ибо сам всей своей жизнью, делом и словом подтвердил эти высокие чувства.

И любо-дорого было видеть в известном поэте Николае Рыленкове (бывшем когда-то босоногим деревенском мальце, учителе ликбеза, председателе сельского Совета) настоящего советского интеллигента, знатока и хранителя отечественной культуры, ревнивого книголюба, страстного глашатая древней и новейшей, устной и письменной словесности. Обладатель редкой памяти, он мог часами читать наизусть полюбившиеся ему стихотворения старых и юных, наших и иноземных, прославленных и безвестных поэтов, с одинаковой горячностью восторгаясь их музыкальной прелестью.

С годами все более тяготел к прозе, Рыленков, однако, не мог, не хотел, не имел сил отступить от поэзии и своих нежных рассказах и романтических былях.

Незадолго до его смерти я имел честь получить по почте юю Смоленска дорогой рыленковский подарок — книгу «На оюере Саншо». Вот она лежит передо мною с душев-

пой надписью: «Давнему другу С. А. Васильеву, с неизменной любовью и самыми добрыми пожеланиями от всего сердца». Я, помню, прочитал книжку немедленно. С первой же страницы, обдавая половой благодатью, полюбила поэзия в прозе:

«Только беглому и равнодушному взгляду может показаться бедной и однообразной русская природа. Да, она раскрывается не сразу. Ее неброскую красоту, ее сосредоточенную шемящую прелесть можно постигнуть, лишь вжившись в нее, внимательно взглядевшись в чередование времен года».

Какая трепетная правда живет здесь в каждом слове! Обидно и больно расставаться с Колей Рылепковым — человеком доброжелательным и честным, умевшим не жалеть себя для литературы, отдавшим всего себя общественному долгу, мечтавшим видеть свое отечество в цвету и славе.

Я так пишу о Рыленкове не потому, что об ушедших полагается говорить только хорошее, а потому, что он действительно заслужил похвалу. У него, как и у всякого живого человека, может быть, и были свои недостатки, но от упоминания о них он не стал бы выглядеть хуже или меньше.

Не выветрятся из нашей благодарной памяти вот эти удивительные строки:

Кто землю сам пахал, тот за столом
Разрежет хлеб, не уронив ни крошки,
Стянув на свежей скатерти уалом
Во дни страды исхоженные стежки.

Я тоже в поле вырос и окреп,
Шел не прохожим по родному краю,
И по тому, как люди ценят хлеб,
Себе друзей в дорогу выбираю.

Здравствующие

ЛИШЬ БЫ ШАГАТЬ

У каждого человека есть своя страсть в жизни: один любит плавать, другой рыбачить, третий садовничать или огородничать.

У Николая Тихонова — неукротимая, всепоглощающая жажда преодоления пространства, страсть к ходьбе. Все равно, где идти — по речной луговине или по альпийской возвышенности, по лесной просеке или по крутой горной тропке, — лишь бы идти, шагать и шагать навстречу свежему ветру, птичьему свисту, мерному плеску студеной воды. Впрочем, не так уж все равно, если учесть, что история советского альпинизма хранит в своих анналах не только факты активного участия Николая Тихонова в рискованных восхождениях, но и гордится высочайшим пиком имени знаменитого поэта.

Значит — не только созерцательная ходьба, а постоянное стремление вперед и выше. К свету, к правде, к добру, к открытию.

Мне думается, что эта земная жизненная устремленность, твердый размашистый шаг являются органической первоосновой мужественной, озаренной тихоновской поэзии.

Начиная с самых ранних книг, таких, как «Орда» и «Брага», с их революционной горячностью и романтической приподнятостью, обогатившими нашу литературу блестящими поэтическим письмом — «Балладой о синем пакете» и «Балладой о гвоздях», — через знойный цикл «Юрга» к «Стихам о Кахетии» ведет Николай Тихонов свой солнечный рассказ о новой, социалистической жизни.

Великолепная образность, гражданский темперамент, подлинный интернационализм отличают поэзию Николая Тихонова, делая ее увлекательной лирической летописью советского многонационального государства.

С годами крепнет, приобретает высокую степень публицистичности, полыхает жарким чувством патриотизма многогранный талант Николая Тихонова.

Побывав в 1935 году в Париже на Конгрессе защиты культуры, исколесив Западную Европу, поэт с необыкновенной силой предвидения пишет тревожную и страстную книгу стихов «Тень друга», в которой, как в зеркале, отражается напряженное время.

Сначала на войне с белофиннами, затем в дни Великой Отечественной войны в осажденном Ленинграде разветывается во всю эпическую ширь, обретает огромную власть над читателями неукротимая военная муза Николая Тихонова.

Взволнованные, полные беспредельной любви к родине и священного гнева к врагам стихотворения «В лесах, на полянах мшистых», «Растет, шумит вихрь народной славы» создают отважный ленинградец.

Но особенный эмоциональный заряд, убежденность воина и веру патриота в победу несет в себе героическая поэма «Киров с нами».

Бесчисленное множество раз цитировала наша критика эти строгие и весомые строфы, но от повторения они не померкли:

Домов затемненных громады
В аловещем подобии сна,
В железных ячехах Ленинграда
Осадной поры тишина.

Но тишь разрывается воем,—
Сирены зовут на посты.
И бомбы сыплют над Невой,
Огнем обжигая мосты.

Под грохот полнотных снарядов,
В полнотный воздушный палат,
В железных почках Ленинграда
По городу Киров идет.

Стихи о Югославии и Грузии, пламенные строки о Туркмени и Индии, о Пакистане и Армении — все это результат длительных поездок, путешествий, походов,

неустанной ходьбы по жизни, вечного и неотступного стремления узпать, увидеть, открыть, подружиться, полюбить, подать руку, переложить иноземное на родной русский язык!

Выдающийся яркий поэт, блистательный прозаик, страстный публицист и неповторимый собеседник, Николай Тихонов поистину поражает людей своей творческой энергией.

Как никому другому, «подходит» Николаю Тихонову высокий и ответственный пост председателя Советского комитета защиты мира. Гражданская совесть, прямота, человеческое обаяние сопутствуют его каждому жизненному шагу, и за это платит ему народ крепкой любовью, и душевно и радостно по справедливости называет его Героем Труда.

1968

ЗАДУШЕВНОСТЬ

Говорить о жизни и творчестве Михаила Васильевича Исаковского — все равно что дышать ароматным воздухом бескрайней России.

Глубокая любовь к родимой земле, подлинное, приобретенное на собственном опыте знание людей, населяющих эту землю, основательная житейская мудрость, неторопливая рассудительность, добрая проницательность, тонкий лиризм пахли в Исаковском своего верного, неуступчивого рыцаря. Я не знаю, пожалуй, другого такого современного русского советского поэта, который мог бы встать вровень с Михаилом Исаковским по родниковой прозрачности и чистоте слога.

И самое примечательное, самое удивительное состоит в том, что прекрасная ясность поэзии Исаковского достигается им не за счет упрощенности фразы или примитивной звукописи, а является прямым следствием решительного отказа от какой бы то ни было вычурности, манерности, аффектации.

Еще в начале писательской судьбы, в 1929 году, установив сельского почтаря, героя «Рассказа о кольцевой почте», поэт высказал свою особую точку зрения на искусство человековеда:

Моя работа высока
И тонкой требует науки:
Людская радость и тоска
Через мою проходят руки.

И этому принципу «тонкой науки» общения с людскими душами, закону «высокой работы» задушевного ясного слова поэт остался верен по сей день. За кажущейся несложной простотой стиля Исаковского стоит терпеливый, скрупулезный труд взыскательного умельца, бескомпромиссного хозяина звонкой, ладной строки, способной тропуть сердце читателя, вбирающей в себя и алый закат за рекой, и яблоневый цвет, и боль разлуки, и восторг долгожданной встречи.

Михаил Васильевич трудится в поэзии самозабвенно, хлопочет над словом, как резчик по дереву, добываясь превосходной строгости звучания стиха. Плоды его умелой работы классически стройны по форме, но рождены

на свет с учетом сложной новой технологии стихотворного производства.

Великие учителя Исаковского — Пушкин и Некрасов — как бы стоят за спиной у талантливого ученика и ревниво следят за каждым его движением. Именно поэтому удалось Исаковскому в большом числе своих задуманных произведений достичь интимной близости с народом, а порой шагнуть в фольклор.

Достоинны похвалы многие произведения Исаковского, написанные в раздольном эпическом плане, такие, как «Мастера земли» (1928), «Поэма ухода» (1929), «Четыре желания» (1928—1935).

В них течет живая кровь народного горя и счастья, ликует ведро и шумит непогода горячего времени, слышится эхо борьбы за новую жизнь.

Безусловно хороши названные произведения. Но главные, всенародно и повсеместно признанные удаchi Исаковского связаны с его лирическими стихами, положенными на музыку и ставшими песнями, известными во всем мире. И тут мне хочется хотя бы бегло коснуться одной лишь стороны песенных шедевров маститого поэта.

И в мирной безоблачной обстановке, и в суровую военную пору стихи-песни Исаковского согреты обязательной улыбкой. И это придает им устойчивую земную силу:

Шли они — рука к руке,
Шли они до дому,
А пришли они к реке,
К берегу крутому.

А вот драматическая сцена прощания двух влюбленных сердец. Она, тревожно вопрошающая его, уходящего на фронт, и он, отвечающий ей с веселой грустью:

— Но куда же напишу я?
Как я твой узнаю путь?
— Все равно, — сказал он тихо, —
Напиши... куда-нибудь.

А вот горделивая, исполненная мужественной горечи и улыбки строфа из песни-вальса «В прифронтовом лесу»:

Пусть свет и радость прежних встреч
Нам светят в трудный час.
А коль придется в землю лечь,
Так это ж только раз.

И этот редкий счастливый талант — находить веселое в грустном, брата горе с радостью — сопровождает Исаковского почти с первых серьезных шагов его творчества, развиваясь и совершенствуясь с годами. Не приходится удивляться, что могучий ценитель поэзии А. М. Горький сразу же заметил первую книжку молодого крестьянского поэта и поддержал ее автора авторитетным приветным словом.

Нет нужды перечислять песенные удачи Исаковского, их много, они принесли ему всеветную славу, облетели все уголки земного шара. Созданные давно и написанные сравнительно недавно, они живут в народной памяти, не умирая, волнуя, вызывая искреннюю похвалу, радуя, увлекая. Песни Исаковского! Возьми из них любую, отдели слова от мелодии, они, слова, отборные и умные, сдержанные и лукавые, все равно останутся искусством, наполненным музыкой и мыслью. Да, надо сказать прямо: Исаковский пока что остается непревзойденным мастером песни.

Вот уж истинный укор сегодняшним бесчисленным подтекстовщикам, откровенным промысловикам, без стыда штампующим песенные поделки для радио и телевидения!

Благородный сын революционной России, трудолюб, коммунист, художник, обязанный советскому строю всем, что ныне окружает и возвеличивает его, Михаил Васильевич Исаковский с естественным задушевным трепетом говорит о Ленине:

И в жизни другого мне счастья не надо,—
Я счастья хотел и хочу одного:
Служить до последнего вздоха и взгляда
Живому великому делу его.

МОЛОДОСТЬ ДУХА

Недавно исполнилось семьдесят лет Павлу Григорьевичу Антокольскому.

«Вот тебе и раз,— невольно восклицаю я,— а как же тогда понимать: молодость, с которой он не разлучался!

А так и понимать: молодость живет в этом человеке неистребимо, упрямо, отшвыривая прочь житейские невзгоды, одолевая недуги, пересиливая печали.

Семьдесят лет—это немало. Лучше, конечно, пятьдесят или, скажем, тридцать пять. Но ведь можно быть старичком и в семнадцать и оставаться юношей в восемьдесят.

Я их знавал и знаю, этих дряхленьких юнцов, отягощенных «мировой скорбью», желторотых скептиков, снедаемых сладкой ленью и преждевременной усталостью.

Как не похож на них всегда и при любых обстоятельствах не унывающий, бодрый, активный, осуществляющий и замысляющий новые и новые творческие планы Павел Антокольский!

Прошло вчера. Приходит завтра.
Мне представляется порой,
Что Время — славный мой соавтор,
Что Время — главный мой герой.

Павел Антокольский, как никто другой из его сверстников, по-моему, имеет право говорить именно так о себе и о своей трудовой художнической доле. История и Время — главные, надежные союзники и двигатели этого устремленного в поиск, пацеленного в будущее, но ревливо оберегающего минувшее, удивительно памятливого поэта.

Я, как и многие мои одноклассники, узнал, полюбил, выучил наизусть «Санкюлота» П. Антокольского в самом начале тридцатых годов, но и в шестидесятые годы с той же мальчишеской горячностью я узнал, полюбил, запомнил его же «Балладу о чудном мгновении». Тогда, как живой, врезался в память яростный горбун, гневный республиканец, а сейчас захватила воображение Анна Керн в гробу, по странной случайности повстречавшаяся с памятником Пушкину, который ввозили в Москву.

Разный материал, разные темы, разное время действия, а твердое перо, воссоздавшее события, одно, и полет балладного лада один и тот же, не ослабевший за три десятилетия,— напротив, приобретший еще большую энергию!

Не буду приводить строки из «Санкюлота», зачитанного, зачитываемого печатно и изустно, напомию «Балладу о чудном мгновении»:

Ей давно не спалось в дому деревянном.
Подходила старуха, как тень, к фортепьянам,
Напевала романс о мгновенье чудном
Голоском еле слышным, дыханьем трудным.
А по чести сказать, о мгновенье чудном
Не осталось грусти в быту ее скудном,
Потому что барыня в глухой деревеньке
Проживала, как нищенка, на медные деньги.

Да и, господи боже, когда это было!
Да и вправду ли было, старуха забыла,
Как по лунной дорожке, в сверканье снега,
Презжала к нему — вся томленье и пена.

Как в объятьях жарких, в молчанье ночи,
Он ее заклинал, целовал ей очи,
Как уснул на груди ее и дышал неровно,
Позабыла голубушка Анна Петровна.

Какое читательское сердце останется равнодушным к былому, связанному с любовью великого Пушкина, какой гордец не замрет благоговейно перед исторически яркой, ясной и животрепещущей картиной, нарисованной Павлом Антокольским!

В крещенский мороз на Тверском тракте скрипят полозья печальных сапог с бедным гробом, а навстречу... Нет, не берусь пересказать то, что ослепляет взор, тревожит душу:

Но пришлось процессии той сторониться.
Осадил, придержал правее возница,
Потому что в Москву, по воле народа,
Возвращался путник особого рода.
И горячие кони били оземь копытом,
Звонко ржали о чем-то еще не забытом.
И январское солнце багряным диском
Рассиялось о чем-то навек близком.

Вот он — отлит на дне из гулкой бронзы,
Шляпу снял, загляделся на день морозный.
Вот в крылатом плаще, в гражданской одежде,
Он стоит, кудрявый и смелый, как прежде.
Только страшно вырос, — прикиньте, смертью,
Сколько весит на глаз такое бессмертье!
Только страшно юн и страшно спокоен, —
Поглядите, правнука, точно такой он!

Грустно, с пескываемым элегическим настроением завершает Павел Антокольский романтический рассказ о необычайной встрече, не забывая, однако, наполнить его великолепным, мужественным философским смыслом:

Так в последний раз они повстречались.
Ничего не помид, ни о чем не почаясь.
Так метель крылом своим безрассудным
Осепила их во мгновение чудном.
Так метель обещала нежно и грозно
Смертный прах старухи с бессмертной бронзой,
Двух любовников страстных, отплывших разном,
Что простились рано и встретились поздно.

Я в этой статье, может быть, излишне часто оперирую цифрами, но как забыть Госпитиздат 1936 года (ровно тридцать лет назад!), как выветрить из головы шумные заседания «Литобъединения при ГИХЛе», где в аспидном папиросном дыму засучив рукава трудился с нами, тогда молодыми, наш верный, умный учитель.

Работа шла споро и дельно, как в хорошем котельном или прокатном цехе, все пылало, искрилось, звенело. Читали стихи и поэмы, разбирали по косточкам прочитанное, спорили до изнеможения, возмущались, восхищались, но последнее, решающее слово было за ним, за Антокольским, авторитет которого непререкаемо возвышался над всеми. Заключительное суждение Павла Григорьевича выслушивалось в заповедной тишине.

Уж на что Иосиф Уткин, выполнявший функции «правой руки» Павла Григорьевича и отличавшийся задиристой несговорчивостью, и тот, бывало, внимал ему с почтительным безмолвием.

Как чуткий диагност, как опытный советчик, а то и как умелый костоправ действовал вдохновенный руководитель Литобъединения.

Вкус, начитанность, память, доброжелательство, культура слова и дела уже в ту пору отличали Павла Григорьевича.

Не скрою, мне лично, с позиций двадцатипятилетнего не шибко грамотного парня из Сибири, сорокалетний Антокольский казался тогда чуть ли не глубоким стариком.

Время, время, как оно гениально учит уму-разуму даже самых недалёковидных! Теперь мне, грешному, скоро самому стукнет пятьдесят пять, между тем я не спешу записываться в пенсионеры.

Многим обязаны Павлу Антокольскому различные советские поэты не одного возраста. Что касается моего поколения, так называемого среднего, то тут можно сказать смело: в большинстве своем мы — должники переклассного мастера.

Павел Антокольский учил нас ревностно, натаскивал, как щенков на увлекательной охоте за точным эпитетом, образом, рифмой. Нацеливал на прочтение необходимых книг, водил по выставкам и музеям, влюблял в театр и живопись, возил по памятным местам в Москве и Ленинграде.

Мало того — Антокольский приучил нас исторически мыслить, любить разноречивость отечественной и мировой поэзии, «ставил голос», как исполнителям собственных произведений на аудитории, приобщал, если хотите, к галантности.

Дисциплина поэтической формулировки, железная свинченность, страстность и приподнятость стиха у многих из нас — наверняка от Антокольского.

Деятельный, внимательный, доступный, умеющий и желающий говорить «на равных» с младшим братом, Павел Григорьевич издавна пользовался и пользуется крепкой симпатией товарищей по перу.

Недавно я был в родных местах — в Челябинске и Кургане. Там, естественно, общался, разговаривал с литературной молодежью, с библиотекарями, с преподавателями литературы в вузах, с журналистами.

Как только заходила речь о поэзии, в особенности о мастерах-учителях, о достойных образцах, и старые и молодые цитировали наизусть Павла Антокольского, ставя его в пример. Эстафета продолжается!

После Зауралья я оказался в Азербайджане, на юбилее Самеда Вургупа, — и там с любовью вспоминали Антокольского, как крупного художника, дорогого друга, блистательного переводчика, поднимали бокалы за его здоровье со всей восточной пышностью и громкостью. Это надо заслужить!

Иные судьбы могут сказать: Антокольский мастер, конечно, но книжный. Книжный? Да, книжный, то бишь интеллигентный. Но лучше уж «книжный», чем невежественный!

Кстати, «книжность» не помешала Антокольскому написать одну из самых жизненных, редких по драматизму

и гражданственности, известнейших в советской поэзии поэм — «Сын».

В пей страсть, и гнев, и стоицизм выдающегося таланта. В заключении поэмы раскрывается поэт пещной и суровой силы:

Прощай, мое солнце. Прощай, моя совесть.
Прощай, моя молодость, милый сыночек.
Пусть этим прощаньем окончится повесть
О самой глухой из глухих одинок.

Ты в пей остаешься. Оди. Отрешенный
От света и воздуха. В муке последней,
Никем не рассказанный. Невоскрешенный.
На веки веков восемнадцатилетний.

О, как далеки между нами дороги,
Идущие через столетия и через
Прибрежные те травяные отроги,
Где сломанный череп пылится, ощерясь.

Прощай. Поезда не приходят оттуда.
Прощай. Самолеты туда не летают.
Прощай. Никого не сбудется чуда.
А спы только спятся нам. Спят и тают.

Мне снится, что ты еще малый ребенок,
И счастлив, и ножками топчешь босыми
Ту землю, где столько лежит погребенных.
На этом кончается повесть о сыне.

А «Большие расстояния», а «Гоголь», а «В переулке за Арбатом» (поэма, с моей точки зрения, еще недооцененная нашей критикой), а книги статей о поэзии и поэтах, а «Стихи последних лет», и многое, многое другое!

В личности, в облике Павла Григорьевича, в его отходчивой, но строгой доброте, в его молодости духа отчетливо видны черты очень дорогих для всей нашей советской литературы людей — Шолохова и Тихонова, Асеева и Луговского, Макаренко и Фадеева, Панферова и Светлова.

Я горжусь многолетней сердечной дружбой с Павлом Григорьевичем Антокольским, думаю о нем с нежностью и верю ему, и надеюсь на его долгую-долгую жизнь.

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ

Василий Казин — выходец из самых трудовых низов, сын водопроводчика, дитя столичных окраин, как говорили в старину.

Первые стихи начинающий рабочий поэт напечатал еще в 1914 году в газете «Копейка», но всерьез пришел к литературе, конечно, после Великого Октября.

Первый же сборник В. Казина принес ему завидный успех. Он назывался «Рабочий май» и получил высокую оценку М. Горького и А. Луначарского. В двадцатых годах, на заре советской культуры, произведения В. Казина привлекли внимание читателей своей удивительной задушевностью, неподдельным лиризмом, возвеличивающим простое земное чудо ремесла. Поэту успешно удалось поднять, казалось бы, сугубо «прозаический материал» до уровня настоящего искусства, воспеть умные мозолистые руки.

Не одно поколение советских поэтов воспитывалось на звонких, целеустремленных стихах В. Казина, на стихах, удививших в свое время редкой особенностью — органическим сплывом трудового запала и революционной романтики.

Можно назвать довольно длинный ряд стихотворений рабочего поэта, которые прошли суровую проверку на прочность, приобрели хрестоматийную силу, надежно закрепились в памяти народной. «Каменщик», «Гармонист», «Дядя или солнце», «Рабочий май», «Ручной лебедь», «Рубанок», — все это замечательные, долговечные удаchi истинного таланта, избравшего благородный путь — путь ревнивого певца трудового люда.

С юных лет я знаю наизусть стихотворение «Рабочий май» и до сей поры не перестаю дивиться весенней музыке, разлитой в каждом слове этого солнечного пронаведения:

Кусаю ножницами я
Железа жесткую краешку,
И ловит подо мной струя
За стружкою другую стружку.

А на дворе-то после стуж
Такая же кипит починка.
Ой, сколько, сколько майских луж —
Образков голубого цивка!

В этих радостных строчках живут и радость мастера, и энергия возрождающейся природы, и пафос революционности.

Недаром в тот период писал А. В. Луначарский: «И все надежды у нас приходится возлагать на пролетарское искусство, между тем пролетариат естественно смог выдвинуть только внушительную фалангу хороших поэтов, среди которых некоторые уже превосходны, уже дали произведения, близкие к шедевр (например, некоторые стихи Василия Казина)...»

В 1920 году В. Казин — один из организаторов общества пролетарских писателей «Кузница», сотрудник «Красной нови» и по совместительству заведующий отделом литературы «Комсомольской правды».

В 1925 году в своем письме к Воронскому А. М. Горький пишет из Сорренто: «Кроме Бабеля и Леонова, я советовал бы Вам привлечь Федина, роман которого положительно хорош. И Тихонова, Казина, как двух наиболее крупных поэтов. Таким образом Вы объедините самое характерное и сильное текущей литературы»¹.

В. Казин на протяжении нескольких десятилетий работает в Гослитиздате в качестве редактора по поэзии и одновременно пишет стихи.

Выходят в свет его книги «Лисья шуба и любовь», «Признания», «Стихи, лирика, эпиграммы, поэмы», «Избранное».

Произведения В. Казина публиковались в Болгарии, Германии, Франции, Англии, Испании, переводились на языки народов СССР.

В последние годы поэт написал поэму «Великий почин», оснатив ее, как и в прежние времена, излюбленным мотивом — раскрытием темы труда, поставив в центр читательского внимания образ В. И. Ленина — великого и скромного участника одного из первых коммунистических субботников.

¹ «Горький и советская печать», т. 2, изд-во «Наука», М. 1965, стр. 16.

В каталоге личной библиотеки В. И. Ленина значится сборник «Рабочий май» В. Казина. Автору этого талантливого сборника, Василию Васильевичу Казину, человеку большого обаяния и необыкновенной скромности, мы, и писатели и читатели, говорим сегодня: доброго здоровья, дорогой друг! Пусть трудолюбие и бодрость духа сопутствуют тебе долгие-долгие годы.

1969

МАСТЕР СМЕХА

Мне кажется, что я знаю этого удивительного артиста с незапамятных времен. В сущности говоря, это так и есть: еще в двадцатых годах он взбудоражил мосмальчишеское воображение своими спогсшибательными трюками в фильме «Похождения Октябрины», где в образе Кулджы Керзюновича Пуанкаре носился вперегонки с автомобилем, гонял футбольный мяч на крыше высоченного дома и бесстрашно разгуливал по перилам балкона.

Затем в тридцатых годах я запомнил Мартинсона, как и все любители смешного, в уморительной роли парикмахера Соля, непредвиденно посаженного на трон, в кинокомедии «Марионетки». Затем в сороковых годах в памяти зрителей «застрял» мартинсоновский хвостун-ловкач Керсипов из кинокомедии «Антон Иванович сердится».

В те же сороковые годы Мартинсон не без успеха воплотил облик маннакального Гитлера, применив для этого приемы буффонады, резкое пародийное преувеличение, не помешавшие, однако, реализму изображения. В трех или в четырех фильмах военной поры запомнилось судорожное рыло заглавного фюрера в уничтожающей сатирической интерпретации Мартинсона.

«Новые похождения Швейка», «Самый храбрый», «Третий удар» — это все «антигитлеровские» удаchi артиста-сатирика.

Затем бюрократ Миусов в «Безумном дне», затем подхалим Лебедев в «Идиоте»... Много раз вынужден я написать слово «затем» потому, что во многих фильмах снимался Мартинсон, — в развлекательно-комедийных, в трагикомических, в приключенческо-сказочных, вроде «Алых парусов», «Золотого ключика» и «Сказки о Мальчише-Кибальчише».

И следует сказать прямо: никогда зритель не оставался безотзывчивым к игре Мартинсона, зритель выделял комика, отдавал ему свои искренние симпатии.

Удачлив в большинстве ролей бывал Мартинсон и на сцене. Начиная с Хлестакова в мейерхольдовском «Ревизоре», через резко очерченные образы белоэмигранта Татарова в «Списке благодетелей» Ю. Олеси, вредителя

Левпцкого в «Павле Грекове» Б. Войтехова и Л. Лепча и осмившего Живовского в «Смерти Пазухина» Мартинсон пришел к саркастически-горестной роли князя К. в «Дядюшкином сне» на сцене и на экране.

Перечень ролей, сыгранных Мартинсоном, как видите, продолжают, но далеко не полно. Если к театральпо-кинематографической деятельности артиста прибавить еще его эстрадное мастерство — чтение сатирических стихов советских поэтов (в том числе литературных пародий и эпиграмм автора этих строк), то облик неустанного «трудяги» Мартинсона, хотя бы в схематическом позображении, будет для нас ясен.

Известность Мартинсона общенародна, популярность безусловна, интерес к нему повышенный.

Естественно, что на новый спектакль с участием Мартинсона (на музыкальную комедию, шутка сказать!) под длинным названием «Опять премьера, или Укрощение строптивой» я отправился с жадным трепетом, как охотник на вечернюю утиную тягу.

И что же? Говорю откровенно и без преувеличения: получил удовольствие! Слаженно, живо протекает пьеса Кола Портера. Вернее — не просто пьеса, а пьеса в пьесе, так как герои обоих действий — актеры не совсем удачной труппы, осуществляющие на шатких подмостках «Укрощение строптивой» Шекспира. Режиссер-дебютант Д. Ливнев проявил немало выдумки, чтобы оправдать лукавое соединение строгого классического текста с житейским современным говорком, своеобразную хитрую «стыковку» сценического канона с жизненной повседневностью. Студию киноактера «Мосфильма» можно смело похвалить за веселый, красочный спектакль.

Зрители знают многих исполнителей по кинокартинам, но это не мешает им воспринимать происходящее на сцене с полным ощущением изобразительной новизны.

Что это — оперетта? Водевиль? Ревю? Нет, это типичный мюзикл, задорное действо с шутками-куплетами, с песнями и танцами, с лихой четкой, с неожиданными сюжетными перепадами, с умышленным «подключением» мелодрамы и немедленным ее осмеянием. И исполнителям, следует признать, есть где развернуться — играют в хорошем темпе, с улыбкой, горячо.

Э. Исаев, Н. Агапова, Л. Гурченко справляются со

своими ролями с безусловным успехом, не отстают от них и В. Комиссаров, В. Грачев, Г. Крашенинников.

Но самый, если так можно выразиться, козырный успех падает на игру Мартинсона в роли миллионера-сенатора, вчерашнего короля гангстеров Харрисона Хоуэлла. Появление богача старика, решившего жениться на молодой актрисе мисс Вапесси, резвого в начале выхода и сладко, с храпом засыпающего на глазах у зрителя, вызывает дружное восхищение зала.

Благодарные зрители аплодируют неиссякаемой силе комизма Мартинсона, его по затухающей с годами энергии эксцентрика, когда «срабатывает» все — и мимика, и жест, и движение, и музыкальный слух актера, и его «синтетическое пугро».

Трудолюбивому жизнелюбу, мастеру смеха, блистательному народному артисту республики Сергею Александровичу Мартинсону исполняется семьдесят лет, а его рабочей, профессиональной форме может позавидовать иной сорокалетний.

Несметное количество поклонников большого артиста сердечно сегодня приветствует его и надеется на многие-многие встречи с ним впереди.

ТАНЦУЕТ МАЯЯ ПЛИСЕЦКАЯ

Сию, гляжу, благоговей,
и не могу решить вопрос —
кто там за рампой: нимфа? Фея?
Наяда? «Дева сладких грез»?

Нет! Это, устали не зная
(то бег, то взлет, то поворот!),
танцует женщина земная,
да так, что за душу берет.

Все в ней доверчиво и ясно,
как в спелом колосе зерно,
добру и радости подвластно
и естеству подчинено.

Поет смычков пурга сквозная.
Искрится танец, как родник,
то блеск звезды напоминая,
то птицу, взмывшую на миг.

То ярко-красный луч, то синий
из тьмы выхватывает вдруг
беспрекословность четких линий,
неоспоримость ног и рук.

В ладу с умом, без напряженья
летят навстречу красоте
безукоризненность движения,
непримиримость к суете.

Нерасторжимо воедино
с порывом грация слилась —
гордыня стати лебединой
и строгой женственности власть.

В безмолвье долгом и обманном
рукоплещу, как все, дивлюсь
и поневоле становлюсь
еще одним балетоманом.

ПОЕТ ГЕОРГ ОТС

Слышите? Голос Отса.
Редко такой найдешь.
Так над землей и льется,
как августовский дождь.

Ровной струей прямою
падает на сердца.
Бархатный. С бахромою
высшего образца.

В педрах его богатых
царствует вольный звук,
грозный на перекатах,
ласковый у пзлук.

Ластятся к Отсу ноты,
светят ему слова,
дружат с певцом высоты
певчего мастерства.

И до чего ж естествен!
Будто морской прибой,
будто поет не песню,
а говорит с тобой!

Если тебе неймется,
грусть доняла опять,—
вслушайся в голос Отса —
грусть обратится вспять.

И — потеплеет вроде,
и в сердце войдет покой,
как говорят в народе,
снимет печаль рукой.

...В темь уже даль одета,
лунная блещет медь.
Слушал бы до рассвета,
да кончил волшебник петь.

ТАНЦУЕТ МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ

Сию, гляжу, благоговей,
и не могу решить вопрос —
кто там за рампой: нимфа? Фея?
Наяда? «Дева сладких грез»?

Нет! Это, устал я не знал
(то бег, то взлет, то поворот!),
танцует женщина земная,
да так, что за душу берет.

Все в ней доверчиво и ясно,
как в спелом колосе зерно,
добру и радости подвластно
и естеству подчинено.

Поет смычков пурга сквозная.
Искрится танец, как родник,
то блеск звезды напоминая,
то птицу, взмывшую на миг.

То ярко-красный луч, то синий
из тьмы выхватывает вдруг
беспрекословность четких линий,
неоспоримость ног и рук.

В ладу с умом, без напряженья
летят навстречу красоте
безукоризненность движенья,
непримиримость к суете.

Нерасторжимо воедино
с порывом грация слилась —
гордыня стати лебединой
и строгой женственности власть.

В безмолвье долгом и обманном
рукоплещу, как все, дивлюсь
и поневоле становлюсь
еще одним балетоманом.

ПОЕТ ГЕОРГ ОТС

Слышите? Голос Отса.
Редко такой найдешь.
Так над землей и льется,
как августовский дождь.

Ровной струей прямою
падает на сердца.
Бархатный. С бахромою
высшего образца.

В недрах его богатых
царствует вольный звук,
грозный па перекатах,
ласковый у излук.

Ластятся к Отсу ноты,
светят ему слова,
дружат с певцом высоты
певчего мастерства.

И до чего ж естествен!
Будто морской прибой,
будто поет не песню,
а говорит с тобой!

Если тебе нейдет,
грусть доняла опять,—
вслушайся в голос Отса —
грусть обратится вспять.

И — потеплеет вроде,
и в сердце войдет покой,
как говорят в народе,
снимет печаль рукой.

...В темь уже даль одета,
лунная блещет медь.
Слушал бы до рассвета,
да кончил волшебник петь.

**РАССКАЗЫВАЕТ ИРАКЛИЙ
АНДРОНИКОВ**

Вот вышел Ираклий на сцену,
взглянул на сидящих людей.
И словно незримую стену
разрушил улыбкой своей.

За фразою хитрую фразу
улыбчиво в зал уронил
и сразу — решительно сразу! —
все тридцать рядов полонил.

Пред публикой ярко предстали,
прямой чередой пронеслись
запальчивых судеб детали,
приметы событий и лиц.

Пошли, развернулись, поплыли,
как памятных яхт паруса,
лукавые небыли-были,
заветных имен голоса.

Метнулись из плена бывшего
волной ветерка-свежака
и смех Алексея Толстого,
и жаркая речь Маршака.

Светло. Достоверно. Похоже.
С житейскою точностью сплошь.
Услышишь — мурашки по коже,
увидишь — руками всплеснешь.

Ни звука рояля, ни грима,
ни мглы декораций цветных.
Картины минувшего зримо,
роясь, возникают без них.

И вся эта живопись слова,
и мыслей живых острота —
при помощи жеста скупого
и смело отверстого рта!

*Москва—Баку
1966—1967*

СЛОВО РЕДКОЙ КРАСОТЫ

Это было, это было
двадцать девять лет назад.
Память точно сохранила
мокрый поздний листопад,
топот амовского грома
по булыжной мостовой
и лоточниц Моссельпрома,
завладевших всей Москвой;
низких туч суровый полог,
и людской водоворот,
и согбенных богомолок
возле Иверских ворот.
По Тверской еще, бывало,
изпачи на лихачах...
А меня лишь волновала
мысль о собственных харчах.
Был тогда я дюже тощ
меж другими шкетами
и, крича в сентябрьский дождь,
торговал газетами.

— Лотерея Автодора!
Проверяй и получай!
— Балерина Айседора
отправляется в Киптай!
— В Тегеран летит Чичерин!
— В новом фильме Гарри Пиль!
— Продается сивый мерин,
сильный, как автомобиль!

Эта громкая реклама
пестрых фактов из газет
мне давала, скажем прямо,
заработать на обед.
Это было, это было
двадцать девять лет назад.
Время четко, как зубило,
мне на память зарубило
вехи давних горьких дат.

Что ж поделаешь, стареем.
Не стареет лишь хорей,
п поэтому с хореем
дело движется скорей.
Как сейчас, отлично помню
(этот вечер мне запал
прямо в сердце!): повезло мне —
в руки Шолохов попал.
Взял я книжку-невеличку
и хоть вымок и продрог,
но от первой же странички
оторвать глаза не мог.
Весь квартал вокруг облазав,
выбрал я сухой подъезд
и все шесть «Донских рассказов»
прочитал в один присест.
Вторгся в душу мне зеленый
аромат донских степей,
покорили волны Дона —
хоть черпай в ладонь и пей!
Верьте мне или не верьте,
с той поры на вечный срок
в душу врос до самой смерти
властный шолоховский слог.
Как забудешь ту страницу,
где вдруг встали пред тобой,
эти судьбы, эти лица
над рекою голубой!
Этот месяц, как подпасок,
забредающий в пейзаж!
Все свои запасы красок
за донскую ширь отдашь!
А кудель степного дыма
от костра в почной тиши!
Как все подлинно, как зримо,
как понятно для души!
Или звезды над Стожаром
в блеске лунного гнезда!
Нет, недаром, пет, недаром
свет влюбился навсегда
в тихий Дон с его польпью,
и в красавицу Аксиною,
и в Григория се!

Сколько раз, читая снова,
перечатывая вновь,
я мечтал постичь основу
властных шолоховских слов!
В самом деле, где тут тайна
кисти, тонкого резца!
Как же так необычайно
слово трогает сердца?
В чем секрет?

Ни водопада,
ни роскошных райских птах.
Только вброд коровье стадо,
да и то репей в хвостах.
Только поле в курослепе.
Но готов свести с ума
шелест шолоховской степи,
уводящей в терема
разнотравного цветенья
по тропинке луговой,
в мир такого откровенья,
что под стать любви самой!
Мак поблизи иль подорожник, —
как искусный полевод,
знает Шолохов-художник,
чем он дышит, чем живет.
Хвощ ли с жалким опереньем, —
видит Шолохов его
молодым, завидным зреньем,
раскрывая естество
неприметливого стебля
(мал ли он пли велик),
видит ясно, словно в землю
на семь сажен вглубь проник,
словно влажной почвы токи
все разведal целиком
и впитал земные соки
с материнским молоком.
И читателя пленяют
не принцессы, не цари,
а земли родня простая —
хлебробы-плугари,
не застывшие от скуки
длани касты родовой,

а мозолистые руки
честной знати трудовой.
Почему же и откуда
эти звуки и цветы?
Почему пленит, как чудо,
слово редкой красоты?
Потому, что в чистом поле
снарядил его в полет
по своей великой воле
славный труженик народ.
Потому, что от народа
верный сын неотделим
и родимая природа
заодно повсюду с ним.
Страсть к труду его вскормила,
подняла людская боль.
В этом власть его и сила,
в этом суть его и соль.

1956

А ТАКУЮЩЕЕ СЕРДЦЕ

На усталость жалобой моею,
Выходом из строя хоть на миг
Огорчить друзей моих не смею
И врагов порадовать моих.

Значит, бейся, сколько можешь биться,
А когда почувствуешь беду,
Не проси меня остановиться —
Можешь разрываться на ходу!

Так гордо сказал Николай Грибачев в стихотворении «Своему сердцу».

Сын бедняка, сызмала, за сохой да бороной познавший труд, жадно потянувшийся к знаниям и при помощи родной Советской власти приобретший его, Николай Грибачев биографически представляет собой яркий пример талапта, вымахнувшего, как говорили в старину, из деревенских.

Я был на крутом берегу Десны, где стоит родительская изба Грибачева, видел его ближнюю и дальнюю родню, слышал соломенную речь домочадцев, воочию убедился, какие гигантские усилия нужно было сделать рядовому сельскому мальцу, чтобы подняться на вершины грамоты и не отступить от обуявшей дерзкой мечты.

Первая книжка Николая Грибачева вышла в свет еще в 1935 году, в Петрозаводске. Книжка эта говорила о способностях молодого автора, по отнюдь не ей суждено было стать высоким творческим показателем упорной работы поэта.

Как художник Николай Грибачев возмужал значительно позднее.

Участник трех войн — освободительного похода в Западную Белоруссию, финского фронта и, наконец, второй мировой войны, Николай Грибачев прошел бесчисленные дороги сражений, видел горечь солдатских неудач и жгучую радость наступления. Он был командиром взвода в боях под Москвой, командиром саперного батальона под Сталинградом, дивизионным инженером гвардейской дивизии на Донце, а с середины 1943 года — специальным корреспондентом армейской газеты.

Он участвовал в форсировании Дона, Донца, Буга, Вислы, Одера, Эльбы, во взятии Берлина и освобождении Праги.

Стихи Николая Грибачева военных лет, посвященные доблести солдат и офицеров Советской Армии, особенно стихи, обращенные к Болгарии, Венгрии, Румынии, несут отголоске исторических событий, рисуют дни, когда отважное советское воинство, разгромив полчища фашистов, пядь за пядью освобождало западные страны от нацистского рабства. Воинствующим бескорыстием веет от лучших стихотворений поэта того незабываемого времени:

В вешпрокой долине — село и река,
пз ребристого камня ограда,
вишневый запах листвы, аромат табака
и живая степа винограда.

Нам хозяин отвесил поклон поясной,
и девчонка с таким же поклоном
подала рушники и кувшины расписной,
чтоб умыться гостям запыленным.

Я взглянул на нее и припомнил сестру,
что вот так, перед самой войною,
босиком по траве пробежал, поутру
подавала мне ковшик с водою.

А когда всей семьей повели нас за стол,
хлопоча, словно братья о брате,
я как будто вторую отчизну пашел
в македонской приземистой хате.

Послевоенный период творчества Николая Грибачева ознаменован серьезными удачами в эпическом плане и лирике.

Поговорим сначала о поэмах. Их пять, написанных за сравнительно короткий срок: «Колхоз «Большевик», «Весна в «Победе», «Ким Ир Сен», «Рядом с нами» и самая последняя — «Америка, Америка...».

Поэма «Колхоз «Большевик» (1947) и поэма «Весна в «Победе» (1948) убедительно показали, как реалистично повествовательное умение Николая Грибачева.

Правдиво нарисовал поэт картины коллективной борьбы за хлеб. Обе поэмы созданы на материале современной колхозной деревни, но очень различны и не похожи друг на друга по композиционному решению.

Если в поэме «Колхоз «Большевик» преобладает радужная окраска, оптимистические тона и сцены трудового ликования, то в поэме «Весна в «Победе» при той же атмосфере трудового подъема явственно звучит нота драматичности, тревожного размышления, философского осмысления происходящего вокруг.

Трагедия парторга Зерпова, сломленного тяжким недугом, умирающего в разгар весны, не заслоняет, однако, от читателя неумирающего большевистского духа коммуниста.

Это очень не просто: смертью героя утвердить жизнь. Николай Грибачев сумел об этом сказать без фальши, без позы, без выпренности.

За колхозными поэмами последовала поэма «Ким Ир Сеп», о которой нельзя говорить, не коснувшись целого цикла корейских стихов, сопутствовавших ей.

Далеская, многострадальная Корея, страна трудолюбив и воппов! Много воды утекло с той поры, когда на полуострове, овеваемом соленым океанским ветром, спривоцированная и организованная американскими капиталистами, бушевала братоубийственная война.

Все трудовое человечество, все честные люди мира напряженно следили за ее исходом. Советский народ, сам вынесший на своих могучих плечах всю тяжесть гитлеровского нашествия, с чувством братской солидарности думал о Корее и чутко ловил вести о ней.

Советские люди сердцем верили: справедливость победит! Вот почему поэма и стихи, написанные Николаем Грибачевым о мужественных сыновьях и дочерях Кореи, приобретали в те дни силу большого политического звучания.

Поэт собственными глазами видел Корею, объехав почти всю северную часть страны вместе с группой деятелей советского искусства. Он видел тогда мирный созидательный труд корейцев. Народ, сбросивший цепи долголетнего рабства, познавший радость свободы, трудился, не жалея сил, учился, торжествовал.

Тогда было так, а вскоре стало иначе. Корею залили кровью патриотов. Объединенные темные силы американцев, англичан, недобитых самураев и предателей-лисымаповцев превратили полуостров в землю горя и пепла. Но как бы ни зверствовали интервенты, как бы ни паощрялись в подлом деле порабощения Кореи, — им

не удалось сломить дух гордого корейского народа, его волю к победе.

В начальных строках стихов о Корее поэт заявляет об этом прямо:

В горы вцепиться? Штыками щепиться?
Атом обрушить? Взорвать водород?
Море не высохнет. Суша не сдвинется.
Вставший на битву, не дрогнет народ.

Эти строки как бы заключают в себе всю сущность страстной поэтической речи Николая Грибачева о событиях, ставших фактом ежедневного, ежечасного волнения любого мыслящего человека доброй воли. В стихах о Корее выделяются такие, как «Пела девочка», «У Нампхо», «Вопсан» и «Друзьям». Стихотворение «Пела девочка» написано особенно трогательно:

...Будто ветром полдневным пел,
свежим ветром с большой реки,
вел припев ее: «Хей-я! Хей-я!» —
от строки до другой строки.

И казалось, поля шумели,
колослись вокруг поля,
и дороги под солнцем млели,
красноватой пылью пыли,

и выпделись за чащей сцены,
с пустырями вступали в спор
городов и селений стены,
спины рек и седины гор.

Крошка, чижик темноголовый,
в пыльных уляцах Спныйчку —
снова лето в полете, снова
цвести цветку и свистеть стрижку...

Так участливо, любясь поющей девочкой-смуглянкой, живописует Николай Грибачев мирное время корейской земли и заканчивает стихотворение с чувством тревоги и боли:

Только, может, в мигнуту эту,
не успев ничего понять,
спротои ты пдешь по свету,
на пожарище ищешь мать,

и плывет над судьбой мосою,
дпи и ночи звучит во мне,
как рыдание: «Хей-я! Хей-я!» —
песня девочки в той стране.

Заключительные строки этого стихотворения нельзя читать без душевного трепета. Любовь и гнев одновременно охватывают сознание читателя, с одинаковой силой призывая к действию, к протесту, к необходимости говорить правду в глаза циничным поработителям и насильникам, посмеявшимся поднять руку на миролюбивый народ.

Строго написаны стихи «Вонсан» и «У Нампхо». В первом очень впечатляюще воссоздана картина воспрянувшей счастливой жизни освобожденного от самурайского рабства города Вонсана, того самого, который был почти до основания разрушен и сожжен американскими воздушными пиратами. В те дни, когда его видел поэт, Вонсан дышал полной грудью:

В Японском море рев тайфуна,
на якорях дрожат суда,
на бивни скал, вздыхая трудно,
летит кипящая вода.

И заштрихованы туманом,
не видя неба и земли,
 дрейфуют горы за Вонсаном,
как каменные корабли.

А город, как пловец отважный,
неукротим в труде своем.
Он видел бури не однажды
и не однажды слышал гром.

Хорошо прочувствованная и понятая сердцем атмосфера возрождения Кореи передана здесь Николаем Грибачевым красочно и живо. Стихотворение «У Нампхо» — все в движении, в полете. Читая его, словно дышишь теплым встречным ветром, бьющим тебя в лицо.

Шофер Цой, спутник поэта, гонит машину по гладкой дороге, пролегающей среди рисовых полей:

...Он гнал и пел. А я не мог
понять, не знал о чем.
О юности ли, что зажгла
огни в озерах глаз?
О девушке ли, что ждала
его в печерный час?

Поэт волнуется, вопрошая. А ответ уже подсказан собственным сердцем, он — вот он, в близости дум двух

спутников, в органическом понимании друг друга, в обоюдном стремлении вперед — к правде:

Сложны законы языка,
по сердцу моему
была та песенка близка,
не знаю почему:
не потому ль, что далеко,
за десять тысяч верст,
есть край, где дышит легко
при свете змивих звезд;
что за громадой синих гор,
за пламенем костра
мне видится полей простор,
жемчужный блеск Днепра.

Вместе с поэтом и шофером Цоем хочется, как песню, повторить ясные, полные революционной решимости и свежести слова:

Так пой, шофер, мой спутник Цой,
пой песню и гони
сквозь этот сумрак голубой
на блики огня;
гони и пой, и я пойму,
не зная языка:
откликна сердцу твоему,
как моему, близка.
Мы честь свою сквозь горы лет
и мужество свое
несем на этот вечный свет,
на вечный зов ее!

Обличительны и гневны стихи «В Японском море» и «Друзьям». В них пламенный язык публициста, по своей прямоте приравненный к газетной прозе, выполняет свое высокое политическое назначение. Из этих стихов мы узнаем историю корейской земли, трагическую и прекрасную судьбу свободолюбивой нации, неистребимую жажду корейцев быть независимыми. Остальные стихи цикла менее выразительны. В некоторых из них это идет за счет чрезмерного увлечения автора особенностями «азиатского пейзажа» и приводит к излишней созерцательности. Иногда привлекает поэта внешняя сторона увиденного, и он, сосредоточив на ней свое внимание, обедняет внутренний смысл события.

Но это — редкие частности, не машающие общей положительной оценке всего цикла в целом.

Развивая тему интернациональной солидарности, Николай Грибачев выступает со злободневной поэмой «Ким Ир Сен».

Собственно, поэмой это произведение называть не обязательно. Это скорее пространный поэтический монолог. Если попытаться искать в этой работе Николая Грибачева элементы поэмы как формы, то можно вообще не увидеть главного.

А главное состоит в том, что поэт, предельно конкретизировав повествование, создал не только облик народного героя, но и образ героя-народа. Верный очерковой, несколько импрессионистической манере, Николай Грибачев на этот раз не очертил перед собой круг определенной фабульной схемы, как это было в поэмах «Колхоз «Большевик» и «Весна в «Победе», а повел рассказ в русле вольного лирического течения. И несмотря на то, что в повествовании в основном говорится о вожде корейского народа Ким Ир Сене, центральным действующим лицом повествования остается народ.

Не тот, о котором историк
писал, что он беден и дик,
а тот, что плотным построил,
за городом город воздвиг,

что миру сказать свое слово
пришел и назад не уйдет,
что спину расправил и снова
ее никогда не согнет!..

Будучи глубоким лириком по характеру своего художнического видения, Николай Грибачев ярко рисует корейскую тревожную, но пока еще мирную осень:

В подсолнухе, в скрипе капустном,
в неярком шолку паутин,
в том запахе милом и грустном,
что все совмещает один...

И хлопок белеется, будто,
забыв свои сроки, сама
широкне грядки негусто
присыпала снегом зима.

Очарованный творческой мощью корейского народа, его трудолюбием, его готовностью до конца драться за свое будущее, его верой в силу своего испытанного во-

жака Ким Ир Сена, советский человек-коммунист поет гимн братьям по духу.

Ким Ир Сен — слава корейского народа, его чистая совесть.

...И рухнет гора и скорее
река породнится с огнем,
чем сломится воля Кореи,
в живом воплощенная в нем!

Корейский парод из уст в уста передает рассказы о своем бесстрашном полководце. В народном сознании имя Ким Ир Сена живет как призыв на подвиг, поэтому легендам о нем нет числа.

И в каждой па них непременно
поймешь и почувствуешь ты
бестрепетный ум Ким Ир Сена,
железной натуры черты.

В «Ким Ир Сене» Николай Грибачев высказывает полную уверенность в завтрашней окончательной победе корейского народа. Эта уверенность подсказана поэту всем ходом событий, всей правдой истории освободительных войн. Корея в огне. Не умолкает гром орудийной пальбы. Падают бесчисленные бомбы на скорбную, заунывную землю. Но не иссякает мужество защитников родины.

...И ходит в тревоге Макатур
походкой сивей заводной,
мусолит военные карты,
но нет между ними одной,

нет той, где, рассчитанный верно,
нацелил удар острого.
Та карта в руках Ким Ир Сена,
и страшно значение ее,

страшны те резервы и сроки,
тот, где-то намеченный час,
тот план, те железные строки,
что лягут в короткий приказ!

Правда, Николая Грибачева можно упрекнуть в том, что «Ким Ир Сен» написан ритмически однообразно, что на некоторых строфах повествования лежит печать спешки. Однако он первым из советских поэтов сказал свое веское, убеждающее слово о том, что волновало и продолжает волновать миллионы людей. Слово это испол-

нено любовью к миролюбивому народу Кореи и жгучим гневом к ее захватчикам и грабителям.

Интересно написана поэма «Рядом с нами».

Это — цепь лирико-публицистических отступлений, связанных одним героем. Несмотря на умышленное нарушение канонического построения поэмы, главное лицо повествования Степан Петрович Холодков, человек, потерявший почву под ногами, все время находится в хитром фокусе сюжета, в движении, психологически развивается. Исполнень, с жизненными подробностями, человекно рисует Николай Грибачев портрет своего героя, не прибавляя лишних достоинств, но и не убавляя свойственных ему недостатков. Именно поэтому так убедительно выглядит ироническая характеристика, которую дает поэт Холодкову:

...А он и то перзабыл,
что раньше приобрел.
Всю жизнь он лишь руководил,
лишь возглавлял и вел...

Поэма сильна пафосом убежденного осуждения мещанства, самоуспокоенности, нравственной лени. Этот пафос осуждения и развенчания распространяет поэт не только на Холодкова, но и на его супругу, закишшую в атмосфере обывательского благополучия:

...А там влюбленная жена,
окончив третий курс,
к нему уехала она,
а там вошла во вкус
веселья, сытости, тепла,
вросла душой в уют.
А там в заочный перешла,
а там и вовсе не смогла
окопчить институт.

В поэме много зорко увиденных жизненных деталей быта, реальных житейских противоречий, не зачеркивающих, однако, будущей судьбы героев, а подсказывающих им, как изменить судьбу к лучшему. Зрелой поэтической мудростью насыщен конец поэмы:

Один закон для всех нас есть,
он праведен и прост
по силам — труд,
по знаниям — пост,
и по заслугам — честь!

По-разному, вероятно, отнеслись читатели к поэме, но в одном, думается, не смогли отказать ей все: в злободневности, в партийности, в индивидуальном подходе к решению весьма сложной проблемы — становления характера нового, советского гражданина, преодоления им собственных ошибок, происходящих иногда по недоразумению, иногда по причине потери обыкновенного чувства самоконтроля.

Если поэму «Ким Ир Сен» я назвал пространным поэтическим монологом, то поэму «Америка, Америка...» с полным основанием можно назвать поэтическим диалогом.

Разговор идет в поэме между поэтом, странствующим по осенним горным дорогам Америки, и «маленькой американкой с русской кровью», «светловолосой девушкой с нежным ртом», расспрашивающей о том, что сегодня делается в России, где родился и жил ее «старый папá». Прежде и раньше другого в поэме «Америка, Америка...» бросается в глаза заметно угловатая, освобожденная от строгой метрики, порой даже, я бы сказал, рискованно расшатанная манера повествования, никогда ранее не применявшаяся Николаем Грибачевым. Поначалу это настораживает и мешает восприятию прочитанного, но, постепенно углубляясь в текст, следишь уже не за формой, а за смыслом сказанного.

Далекая заокеанская земля простирается перед взором поэта, чужие пейзажи плывут слева и справа, но уважительно, по-русски благоговейно начинается рассказ о страдном времени года:

Осень, осень! Она и там и дома,
Надевает теперь свою сельскую шаль.
И длинна ее вечеров истома,
И светла золотая ее печаль.

И земля прохладна, и свежа, обширна,
И все дальше в спячке растворено.
А нас со сном унесет машина
В город Рино.

И вот возникают спокойные в своей рассудительности, но разительные по своей «несопоставимости», не географические, а социальные параллели между американским образом жизни и советской действительностью.

С одной стороны — миллионы лишенных единства, разрозненных и раздробленных фермерских хозяйств, с другой стороны — коллективный колхозный строй нашей новой деревни. С одной стороны — чудовищные факты безработицы, доводящей трудовых людей до отчаяния, с другой стороны — нехватка рабочих рук, необходимых на бесчисленных площадках развернутого социалистического строительства.

Непримиримо «сталкиваются лбом» такие понятия, как доллар, возведенный в божеский ранг, и обобществленная народная собственность, культ алчной личной наживы и бескорыстный государственный интерес.

Беседа поэта с юной спутницей, исполняющей обязанности гида, дружеский, иногда запальчивый спор двух путешественников понепопу приобретает форму состязания двух миров, двух систем.

Без излишних социологических паффов, без назойливой правоучительности, как бы балагурия, «шутя и играя», ведет беседу Николай Грибачев, отдавая должное увиденному, но сердцем и мыслями, всем существом своим оставаясь на родине.

И, вероятно, оттого, что ни на одну минуту не покидает поэта хозяйская дума о родимых дачах, он так участливо относится к окружающему, иногда очень похожему на родное, на русское. Доброжелательно, радуясь хорошему и осуждая плохое, желая удачи трудовому американскому люду, пишет советский поэт-коммунист о капиталистической стране, которую он посетил не один раз и о которой с полным правом может сказать:

Но по слухам я знаю тебя, Америка,
Не чужие побаски засунул резинкой в рот.
Я прошел от Гудзона, что плещет волною мелко,
До Золотых Ворот,

От Бродвея до гор и долин Калифорнии.
До кукурузных полей и коровьих стад.
И текли по лицу моему неоповые молнии
Твоих автострад и твоих эстрад...

Хороши многие послевоенные лирические стихи Николая Грибачева. Наиболее удавшиеся из них всерьез свидетельствуют о своеобразности его стиля. Я уже в начале статьи цитировал стихотворение «Своему сердцу». К нему, как к правофланговому, примыкают «Прощай,

зпма), «К весне», «Ожидание», «Дождик», «Тишина», «Той, которую любил», «Я видел степи и леса...». Это все произведения элегической окраски, но обязательно соединяющие в себе элементы человеческой грусти с неподдельным оптимизмом. Николай Грибачев мастер изображения русской природы, знаток родного пейзажа. В этом смысле у него есть свои вершинные достижения, такие, например, как «Раздумье» и «Дождик».

Отличаются гражданским задором стихотворения «Сын полюбил...», «Возвращаясь из далека» и «Из женеvского дневника». Из этих трех, без сомнения, лучшим являются два первых. После основательной и боевой книги «Женеvский репортаж» стихок под названием «Из женеvского блокнота» кажется бледным довеском к богатой журналистской биографии автора и, к сожалению, заметно ослабляет впечатление, полученное когда-то при чтении боевой «международной» прозы.

С годами поэзия Николая Грибачева, по-моему, несмотря на всю свою элегичность, окрашивается все заметнее в сатирические тона.

Сочетание лирики и сатиры наблюдалось в работе поэта и раньше, но в последней его новой стихотворной книге «Сталь и моль» ноты пропы и даже сарказма зазвучали с очевидной настойчивой отчетливостью.

Не знаю, как кому, а мне любо-дорого читать вот такие прозрачные до дна, полные чувства собственного достоинства и убежденности строки, открывающие книгу:

Не в стороне,
А на пестру стою,
Не забываюсь в щель при непогоде,
Не признаю
Подыгрываний моде.
Суда мещан не признаю.

И под любую крепкой прострельной,
В которой их искусны языки,
Не подсюсюкну
Лирикой постельной
И не сыграю правдой в поддавки.

Уже не раз охая и обалгал,
Слышавший улюлюканье и свист,
Я,
Словно верующий перед богом,
Пород своим народом
Сердцем чист!

А если где-то выпил не к поре
Иль женщиной залюбовался стройной,
Так я еще
Не прах заупокойный
И не монах в монастыре.

Легче всего назвать такие стихи декларативным заявлением. Да, в приведенных строках явственно слышится трубный голос программных мыслей автора. Но в том-то и ценность этой резкой программности, что она на проверку не останется безответственной громкой фразой, а подтверждается всей творческой практикой поэта.

За пламенным и открытым словом стоит принципиальное партийное дело, дело защиты передового социалистического искусства, укрепление завоеванных позиций, неуступчивость в борьбе с инакомыслящими.

В книге «Сталь и моль» в обоих ее разделах, почти в любом стихотворении ощущаешь эту грибачевскую боевую собранность, готовность с честью постоять за правоту своих твердых взглядов.

Вот как прекрасно выражены эти бойцовские свойства в стихотворении, призывающем помнить об угрозе новой мировой войны:

Я не под тихим небом рос,
Не при погоде голубой,
Я, руки выкинув вразброс,
Лежал под всяческой пальбой;

Я не лозняк — что мне гроза!
Что вихрь — я не тростник сухой!
Но до грозы за полчаса
Иной у чувств и мыслей строй.
И глаз за тридевять земель
Уже нащупывает цель,
И пальцы сводятся слегка
Предощущением курка.

Таков наш век — он в драках весь,
В его любовь, дерзаясь, спы
Вжилась жестокая болезнь —
Продопасение войны.

И нам стоять настороже,
В своем полку идти, пока
На новом где-то рубеже
Не посветлеют облака!

Говоря о высоте, добытой ценой ссадин, ценой преждевременно залегших складок возле рта, обращая взгляд на прожитые стропильные будни и страшные схватки с фашизмом, Николай Грибачев встряхивает, будоражит душу читателя: если ты не слеп, если ты способен видеть и выцкать в суть минувшего, ты поймешь, сколько нам стоило восхождение на вершину.

И догадаешься, пожалуй,
Что будет с тем, кто как-нибудь
По опрометчивости шалой
Нас впиз попыбует столкнуты!

Этой же определенностью, темпераментом гражданина и солдата, резкостью линий и бескомпромиссностью заряжены стихи «Тем, кто молод пока», «Первооснова», «Дымный ворс шипели», «Будущий!», «Спасите ваши души», «Затем!..» и, в особенности, «Признаю»:

Что, драчлив? Прикапаю не споря.
А откуда и быть мне, кстати,
Усыпляющим ветром с поля,
Новомодным пальто па вате?..

...Я веселым и в топ одетым,
Знал, чьи и где интересы,
На приеме шел к президентам
И к бандитам из желтой прессы.

Что ж мне, травкой стлаться под погн,
«Рад стараться!» — бубнить кому-то?
Я, как вечный солдат в дороге,
В полной форме встречаю утро.

И пока душа не остыла,
Не сплыла на покой по мраку,
Ради жизни — ва сплу сплал! —
Поднимаюсь

рывком
в атаку!

По-своему привлекательны и остроумны пародийные стихи из раздела «Подражания моде». Первостепенно здесь «Вселенная на квасе», лукавая имитация довольно распространенного строчкогонства белым стихом, обычно неоправданно длинным и перегруженным наукообразными разглагольствованиями. Пародия жжет, но, на мой взгляд, все же малость проигрывает из-за отсутствия адресата.

Язвительно, прямолинейно действуют заключительные строчки из «Главной темы», сатирической миниатюры, высмеивающей некоторых поэтических перестарков, добрый десяток лет исправно бреющих бороды, но бравлирующих своей молодостью:

Самых себя поем —
 дневно ли, звездно ли,
Свой рост,
 свой ум,
 талантливость свою.
Что?
Мы героя времени не создали?
Так некогда ж!
 Поем.
 Цвень-цвепь!
 Фью-фью!

Иронические достоинства в пародийных стихах Николая Грибачева, как говорится, налицо, но пародийные стихи все-таки явно уступают по силе воздействия взволнованному, по-настоящему гневному и трепетному стихотворению «Сталь и моль», созданному по крупному счету, пронизанному историзмом.

Поэт ставит перед собой задачу раскрытия взаимоотношений старшего, революционного поколения отцов с поколением молодых людей, принимающих эстафету строительства нового мира.

Воспевая нержавеющую сталь героических деяний отцов, закаленных в бою и в труде, перепесших тяжкие испытания и достигших старости, Николай Грибачев восклицает:

Но не зря им муки
Были суждены,
Но не зря их руки
Были сплетены.
Травы в росах поздних,
Песня соловья —
На дорогах
Звездных
Их
Сыновья!

Но, к сожалению, сыновья сыновьям рознь. Попадают еще в среде молодежи такие дремотные хлыщи, с напускным «шиком» усталости поплеывающие на вся и на всех, с издевкой брозяющие о прошлом и настоящем. Вот

про таких лоботрясов, вернее, вот про такую моль, осмелившуюся вершить свой насекомый суд над горделивой старостью отцов, и говорит возмущенный поэт во весь размах грозного сарказма:

Так не лезь ты, модник,
Как кур во щи,
Девок-однодневок
Ступай ищи,

Чадом ресторанным
Кидай их в соя,
Портновским старьем
Дави фасон.

Только здесь ты полностью
Выкинь спесь,
С грубостью и пошлостью
Брось, не лезь.

По чужим,
По подлецким
Не ползи следам,
Не глумись над подвигом —
В зубы
Дам!

Иному всепрощающему, может статься, такой финал покажется непедagogичным, недостаточно деликатным, а я лично нахожу его закономерным, в самый раз.

Общепозвестны успехи Николая Грибачева в области публицистической деятельности и в области художественного рассказа, но, упоминая об этом, я даже в малой мере не ставлю перед собой задачу анализировать Грибачева-прозаика. Это — особая тема для разговора, требующая и специального понимания предмета и места для разбора.

Я лишь включил в круг своего внимания полюбившиеся мне стихотворные работы Николая Грибачева.

Поэтому закончу статью примерно тем, с чего начал: многое успел сделать поэт! Щемит сердце, когда перечитываешь стихотворение «В пути», в котором, как в гулком весеннем лесу, перекликаются юность и зрелость и, как в зеркале майского половодья, отражается трудно завоеванная слава мастера:

...Соловьи поют — осататели.
Рощи дремлют. А навстречу мне
В куртке, перебитой из шинели, —
Паренек с котомкой на спине.

Сероглазый, русский, крепко сбитый —
День веспы моей полузабытой,
Молодость без шрамов и паград.
— Ты куда?
— Учиться в Ленинград!

Сторонюсь, тропинку уступаю.
И, забыв тотчас же про меня,
Он уходит, словно утопая
В теплых травах, в синей дымке дня,

И пад рощей облака теснятся,
И дорога катится за холм,
И готов я жизнью поменяться
С незнакомым этим пареньком.

1967

Наша поэзия представлена в сатире разными формами: обличительное стихотворение, фельетон, пародия, басня, эпиграмма.

Особенно действенна и доходчива форма басни. И здесь по праву главное место принадлежит сегодня активно действующему в этой области Сергею Михалкову. После В. Маяковского, Д. Бедного и В. Лебедева-Кумача он раньше других обратился к басне и во многих произведениях этого нового для него жанра добился немалых удач.

Три его книги — «Басни», «Сатира и юмор» и «Избранные басни» — уже позволяют сделать некоторые выводы о работе поэта в басенном плане.

Много лет тому назад, когда впервые была напечатана маленькая поэма «Дядя Степа», сразу же стало ясно, что в лице ее автора наша литература приобрела оригинального детского поэта-рассказчика со своим голосом, с умением добродушно посмеяться, увлечь читателя яркостью описываемых событий. Эти особенности С. Михалкова проявились не только в «Дяде Степе», но и в таких широко известных стихах, как «Мы с приятелем...», «Про мимозу», «А что у вас?».

«Большой» читатель с удовольствием нашел в стихах С. Михалкова то, что адресовано маленьким, а маленький отлично понял то, что предназначено взрослым.

Собственно говоря, разграничивать стихи С. Михалкова «по возрастным признакам» читатель и не собирался.

С. Михалков в детской поэзии обнаружил тонкое чутье, по-своему увидел и понял детвору, угадал ее желания и интересы.

Стихи его не просто «дошли» до ребят, а вернее сказать — подружались с ними. Из серьезного разговора по существу, из умения не заигрывать с детьми, не сюсюкать, а говорить с ними как равный с равным, вызывая доверие и расположение, выросло обаяние детского поэта.

Даже в тех случаях, когда требовалась «мораль», когда надо было прямо сказать, «что такое хорошо и что такое плохо», — поэт не прибегал к скучным наставлениям, не докучал, а всегда сохранял лукавую улыбку

и только иногда хмурил брови, оставаясь по-прежнему веселым и пронырливым.

Именно эти качества привели С. Михалкова к басне. Перед тем как прибегнуть к басне как к форме, поэт отточил свое поэтическое оружие, закалил и натренировал стих, подготовил перо к выполнению тонкой работы.

В указанных выше книгах С. Михалкова на международные темы есть несколько басен, и лучшими из них, конечно, являются «Мартышка и Орех» и «Доллар и Рубль». Остроумно, едко, уничтожающе по своей вступительной логике высмеял поэт империалистическую Мартышку, грозящую Орехом — атомной бомбой — всему живому на земном шаре.

Мартышка где-то разыскала
Нежданненький кокосовый Орех...
Им накормить бы можно было всех!
Он мог бы радости доставить всем немало!
И счастья и утех!
Мартышка же грозить Орехом стала...

На хвастливые угрозы Мартышки хорошо ответил спокойный и рассудительный Крот:

— Нет спору, плод велик! Кто отрицать посмеет?! —
Мартышке как-то раз заметил старый Крот. —
Но если кто другой такой же плод имеет?
Ты заглянула бы в соседский огород!
Быть может, там такой Бурак растет
Или такая Тыква зреет,
Что перед ними твой Орех бледнеет?

В этой гордой, патриотической, целеустремленной басне С. Михалков проявил политическую устремленность, публицистическую зрелость.

«Мартышка и Орех» завершается ритмически неожиданно и весело, и это придает ей активную пронырливую окраску:

Дули, дули, раздували
Каждый день и каждый час,
Всем грозили, всех пугали...
В результате как-то раз
Сообщенье прочитали —
Сообщало миру ТАСС
Просто, скромно, без апломба,
Что, мол, атомная бомба
Есть у нас и есть у нас!
Да-а!

Привлекает внимание читателя басня «Рубль и Доллар».

Кратко, метко удалось развенчать С. Михалкову записный денежный знак Америки, знак, «который нынче лезет всем в заем». За Долларом по всему свету идут нужда и смерть, его кладут в карман убийцы и провокаторы, торговцы совестью, а наш Советский Рубль знаменует собой расцвет справедливого государственного устройства, свободного труда, высокой сознательности трудового человека.

Вот почему так убедительно, мужественно звучат заключительные четыре строки басни:

А я народный Рубль, и я в руках народа,
Который строит мир и к миру мир зовет,
И, всем врагам назло, я крепну год от года.
А ну, посторонись: Советский Рубль идет!

Выделяются басни на внутренние темы «Слон-живописец», «Лиса и Бобер», «Заяц во хмелю», «Две подружки». Умело используя аллегорию, строго замыкая ее в рамки четкого сюжетного построения, освобождая диалог от многословия, С. Михалков достигает, например, предельной ясности мысли в басне «Слон-живописец».

Слон-живописец написал пейзаж,
Но раньше, чем послать его на вернисаж,
Он пригласил друзей взглянуть на полотно,—
Что, если вдруг не удалось оно?

Гости, каждый со своей колокольни, начинают обсуждать произведение.

Крокодил упрекает художника за то, что он не изобразил на картине Нила, Тюлень сетует на отсутствие снега и льда, Крот требует огорода, Свинья хочет видеть на полотне желуди.

Все советы Слон принимает к сведению, берется снова за кисть, вписывает в пейзаж все, что рекомендовали гости. И даже изображает мед, «на случай, вдруг Медведь придет картину посмотреть».

Результат плачевный: судьи, взглянув на картину, квалифицируют ее единодушно — ералаш. Предупреждая язвительно восклицает баснописец:

Мой друг! Не будь таким слоном:
Советам следуй, но с умом!

Хлестко, реалистично написана басня «Две подружки», в которой подвергнута осмеянию Крыса, дамочка-мещаночка, любительница всего заморского, запыхавшаяся в бегах заграничным барахлом.

Признания Крысы, полные глупого и жалкого восхищения перед иноземным, выворачивают наружу ее обывательскую душонку, вызывают у читателя чувство презрения к мещапству, к низкопоклонству перед чужим во всех его разновидностях. Запоминается злая и одновременно смешная строфа:

Мы знаем, есть еще семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки,
А сало... русское едят!

Как все происшедшее в басне «Слон-живописец» похоже, к сожалению, на практику некоторых известных наших художников, порой беспринципно угождающих вздорным вкусам своих друзей.

Как типична дамочка в образе Крысы, одна из тех, к счастью немногочисленных, но все же пока существующих собирательниц заграничных этикеток.

Энергично трудится С. Михалков над баснями. Во всех трех книгах есть немало удач.

И все же было бы непростительной ошибкой не обратить внимание поэта на промахи и явные неудачи, иногда постигающие его.

Известно, что за последние годы на страницах газет и журналов появилось изрядное количество посредственных, серых басен, принадлежащих перу и опытных и неопытных поэтов. Главный их порок — механическое, бездумное перенесение почти всей фауны земного шара в басенный текст, и без того художественно немощный.

С. Михалкова в этом упрекнуть нельзя, у него повадки зверей соответствуют характерам героев басен, стих обычно хорош, но вызывает неудовлетворение читателя временами другое — незначительность поводов к написанию басен. Вернее — необязательность, при которой цель не оправдывает средства. Показательным примером в этом смысле служит басня «Завистливый больной», которая, правду говоря, не поднимается выше анекдота. Рассказывается о том, как некий легко больной Бобров,

освобожденный от изнурительных, тяжелых процедур, позавидовал тяжело больным соседям, принимающим эти процедуры. Что, собственно, произошло в басне? Бобров заподозрил врачей в невнимании к себе. Только и всего?! Маловато. Внешне смешная, но мелкая по мысли, вернее, лишенная остроты, нужной мысли, эта побасенка остается всего лишь развлекательством. Общественное значение басни — никакое. Душа басни, ее поэзия — сатира — подменена хихиканьем. Конструктивно рыхло выглядит басня «Кирпич и Лыдипа». В ней повествуется о том, как Кирпич плыл на Лыдипе, учил ее в пути и, уча, утонул, когда Лыдипа растаяла. Мораль басни неинтересна:

Знай место, чтобы вдруг
На дне не оказаться!

Несмотря на краткость, басня скучна своей назидательностью, мизерностью цели, она не только не несет в себе элементов нового, но слабо повторяет много раз слышанные мотивы во многих юмористических стихах и прежних и современных поэтов.

Потеря самоконтроля в любом деле не сулит ничего хорошего. Не потому ли С. Михалков допускает порой обидные несуразности: в басне «Без вины пострадавшие», в целом удачной басне, Лисе фактически приписывается глупость вместо хитрости, что противоречит оценке этого зверя старинной народной мудростью, а стало быть, противоречит и художественной правде.

Традиционная, строжайшая форма басни сама по себе налагает на пишущего в этом жанре жесткие обязанности быть чрезвычайно осмотрительным. Очень легко впасть в скучнейшее эпитопство, повторяя (пусть даже гладко и грамотно, по все же повторяя!) интонационные азы предшествующих классических образцов. Нужно иметь хороший вкус, чуткое ухо, чтобы овладеть «секретом» проникательного лукавства, чтобы мимовать стандарт, не оказаться эпитопом, не стать скучным или, наоборот, не скатиться к обыкновенному зубоскальству.

Нравоучительное свойство в талантливой басне никогда не лежит на поверхности темы, мораль идет изнутри темы, проявляется в поступке персонажа при определенном комическом стечении обстоятельств и поэтому роднит басню с трудным искусством комедии и пародии.

Свидетельством такого положения являются не только классические труды И. А. Крылова в далеком прошлом, но и талантливые басенные опыты В. Маяковского в первые годы революции. К ним смело можно отнести его «Интернациональную басню» и «Рассказ про то, как кума о Врапгеле толковала без всякого ума». Подтверждают это и боевые басни Д. Бедного, такие, как «Шпага и Топор», «Дом», «Лапоть и Сапог», «Волк-моралист» и другие.

В басне, как, может быть, ни в какой форме иронического письма, исключительную роль играет «служба слова».

Басня, надо признать, разрабатывалась в советской поэзии незаслуженно мало и редко.

Тем более отраднo видеть в С. Михалкове талантливого энтузиаста этого нужного, доходчивого жанра.

В лучших своих баснях он добился подкупающей свежести, придал им новый политический и социальный смысл, вызвал к жизни незаслуженно обойденный вниманием большинства видных поэтов род поэзии. Лукавое перо С. Михалкова похоже на жало, но возможности поэта в работе над баснями далеко им не исчерпаны.

ЗОРКОСТЬ

Мне легко и трудно говорить о поэте Сергее Смирнове. Легко потому, что я знаю его давным-давно, без малого три десятка лет, мне известно о нем все до капельки так же, как ему, Смирнову, все известно обо мне.

Трудно потому, что говорить о поэте Сергее Смирнове надо ясно и весело, а самое главное — задумчиво, на уровне подлинной земной искренности, «по-смирновски». В самом деле, поэтическая индивидуальность Сергея Смирнова такова, что она требует основательных и одновременно улыбочивых слов при попытке нарисовать его человеческий облик.

С первого же знакомства с Сергеем Смирновым в начале тридцатых годов под кровлей Литературного института, который тогда назывался ВРЛУ (Вечерний рабочий литературный университет), я обнаружил в молодом поэте одну решающую черту его симпатичного дарования: зоркость. Зоркость во всем — в выборе темы для стихотворения, зоркость в отсортировке материала, зоркость в умении избрать для себя наиболее правильную позицию для наблюдения людей и предметов, зоркость определить, у кого учиться, с кем рядом сидеть, с кем дружить, кого любить и кого ненавидеть.

Время подтвердило мои ранние впечатления: ведь сегодня Сергей Смирнов уже никак не зеленый юноша, а седовласый, умудренный опытом муж, при чтении книги или рукописи он торжественно водружает на переплиту роговые очки, а зоркость, представьте, не изменила, она стала еще острее, еще безошибочнее!

Под словом «зоркость» в данном случае я разумею способность Сергея Смирнова мгновенно схватывать суть дела, распознавать, отбраковывать ненужное и оберегать и прививать необходимое.

И следует заметить, что эта особенность Сергея Смирнова распространяется не на одну только его поэтическую или общественную деятельность, а буквально на все, чем живет он и дышит: на рыбалку, на садоводство, на удивительную, виртуозную способность искать и

находить грибы, когда их никто не находит, и солить их, и жарить с мастерством заправского повара.

Надо видеть, чтобы оценить по достоинству, как поэт Сергей Смирнов со свистом, прищуриваясь, закидывает спиннинг, как насаживает на крючок живца или мотыля, как выскивает под жухлой листвой белый гриб или подберезовик, как на почтительном расстоянии от цели след в след посылает пули из пневматического ружья в облюбованный, трепещущий осиновый лист!

Очень рано прижав на мальчишеские плечи груз житейских невзгод, вырастая без матери, подражая трудолюбивому отцу, Сергей Смирнов с первых шагов приучил свою музу к многотерпению, к преодолению трудностей. Какие же это трудности? Трудности добычи единственно верного слова, желание и умение работать при любых обстоятельствах, пусть даже они на первый взгляд кажутся немыслимыми: «Да здравствует умение быть веселым, когда тебя ничто не веселит!»

Поэзия Сергея Смирнова — это оптимистическая повесть нашей советской жизни со всеми ее радостями и горестями, революционными порывами и взлетами, стремительным размахом, удачами и непредвиденными трудностями. Сергей Смирнов принес на творческий семинар Литературного института ритмы, запахи и краски, шочерпнутые им в условиях подземной схватки с плывунами, в борьбе за прокладку первой линии метрополитена, где трудился простым проходчиком. Сергей Смирнов всей душой воспринял и передал в стихах трудовой энтузиазм советских людей напряженной поры первых пятилеток.

А когда грянула Великая Отечественная война, молодой поэт, освобожденный врачами от военной обязанности, «изловчился», что называется, и ушел добровольцем на фронт и в качестве гвардии рядового оттрубил все четыре грозных года.

Поэзия Сергея Смирнова — это непрерывный поиск правды изображения жизни, не боясь заметить и вскрыть противоречие, восхититься героическим, подчеркнуть прекрасное, добродушно улыбнуться над нерасторопностью, откровенно поиздеваться над обывательщиной и антисоветчиной. Стих Сергея Смирнова по-солдатски подтянут и подобран, дисциплинирован и отчетлив, закован в строгую форму и оснащен, как говорит сам поэт, «чувством адресата». У Сергея Смирнова есть

в запасе хорошая поговорка, которую он любит употреблять, когда ему не нравится какое-либо скороспелое стихотворение: «Работы не видно!»

Так вот у Сергея Смирнова в его творческой практике всегда «видна работа», она заключается в идейной целенаправленности, в бескомпромиссном единоборстве с материалом, в стремлении добиться железной строфы, в обязательном лиризме. Поэт, однако, не боится самых прозаических вещей, запросто вторгающихся в его поэзию, — напротив, словно бы зазывает в гости прозаические речения и смело сближает их с родниковой лирикой, так поворачивает слово, так «подгоняет» и «притирает» противоположные понятия, что они не конфликтуют под пером властного автора, а своеобразно оттеняют друг друга, высекают при столкновении искры остроумия, превращаются в изящный афоризм.

Мне думается, что именно эта сторона поэтического приема Сергея Смирнова, эта на редкость обаятельная манера говорить ласково и «прозаично», ставит его в один ряд с видными мастерами современной советской русской поэзии.

Оригинальность стиховой речи, основанная на сложной неожиданности, великолепная простота, легкость, певучесть и летучесть сделали свое законное дело: смирновские стихи завоевали широкий круг читателей.

Сергей Смирнов в равной степени интересен и в лирике и в сатире. От начальных юношеских стихов, таких, к примеру, как «Всем товарищам Смирновым» или «Дорога», через весь военный цикл с его замечательными «Зорькой», «Домиком», «Обратным путем» и «Котелком», через цветное поле «Лирической повести», «Избранницы» и «Русской красавицы» к лирической исповеди «Вновь я посетил...» тянется, вьется, переливается золотая нить изобретательного, многого, непосредственно-го говорка смирновской поэзии.

И любопытно, что как раз из человечности и доброты, а не из обозленности и желчи вырастает, отпочковывается, наливается живительным соком упругая ветвь смирновской прозы, жгучий сарказм, меткость едкого слова. Конечно же такого рода «повость» объясняется не «агрессивностью», не склонностью поэта к обыкновенному злословию, а упрямым стремлением защитить, убе-

речь, возвысить добро, ударить по маскирующемуся, а иногда и открыто действующему злу.

И это обстоятельство придает поэтической работе Сергея Смирнова особую силу и цену.

Я уже не один раз говорил на поэтических собраниях о коротких баснях Сергея Смирнова, не один раз высказывался в печати о его достижениях в этой области. С удовольствием повторяю это.

Короткие басни Сергея Смирнова, с моей точки зрения, с большим основанием можно было бы назвать прощескими миниатюрами или краткими стихотворными рассказами. Впрочем, как их ни назовем, ясно одно: перед нами свежий, изящно отгравированный вид сатирического письма. Очевидным достоинством сатирических «малюток» Сергея Смирнова надо признать энергичную броскость, предельную емкость строфы. Поэту удается иной раз при помощи всего лишь четырех, а то и двух зарифмованных строк нарисовать образ, создать характер.

Вот, например, «Мирный и мыльный»:

Расщеплся
Мирный Атом
И — но стал лауреатом,
А Пузырь не вповат,
Если он — Лауреат.

Или «Кот-валерьянец»:

Опять
сидит «под мухой» Кот.
Он
валерьянку
пьет и пьет.
Ему
усы
отгрызла Мышь,
А он поет:
«Шуме-е-ел камы-ы-ыш!..»

Взяв за принцип эпиграмматическое немногословие, поэт заботится о глубокой смысловой нагрузке и поэтому добивается желанного результата. В лучших коротких баснях Сергея Смирнова высмеяны (да еще как!) многочисленные горе-герои — от узколобого обывателя до наглого хапуги, от проспиритованного обжоры до пижона, от ведомственного вельможи до простого жулика, от самоуверенного глупца до поджигателя войны включительно.

РАЗГОВОР СО СТРУЖАНЬЮ

В газете «Советская Россия» покойный Николай Николаевич Асеев немногословно, но очень похвально высказывался о книжке стихов «Времена года» Виктора Полторацкого.

Говоря о том, что В. Полторацкий является поэтом «не по анкете, а по одаренности и широте душевного взора», Н. Асеев одновременно отнес В. Полторацкого к числу «неожиданно отличных поэтов».

Для Н. Асеева это действительно явилось открытием и неожиданностью, поскольку он знал В. Полторацкого до сих пор лишь как прозаика, а со стихотворениями его знаком не был.

А вот мне, например, это «открытие» представляется самой обыкновенной закономерностью в творчестве В. Полторацкого: я знал и читал его стихотворения ранее, и сегодняшняя поэтическая удача только подтвердила мое представление о нем.

Самым решающим достоинством лучших стихов В. Полторацкого, с моей точки зрения, следует назвать его принципиальное умение живописно соединять человека и природу. Я подчеркиваю эту особенность: умение соединять действия, поступки лирического героя с богатым русским пейзажем, с великолепием окружающей нас лесной благодати, голубишной неба и серебром речной волны.

Вот типичный «полторацкий» зачин:

Называлась речка Стружанью,
Начиналась она из Трех Ключиков
И струилась, взяв трех попутчиков:
Легкокрылые облака,
Запах сена и молока
Да пчелы-работяги жужжащие.

Казалось бы, в этом в общем достаточно ярком, но привычном направлении будет развиваться пейзаж и да-

лео,— так пет же! Начипастся живое, дружеское общение поэта с речкой Стружанью:

Речка, речка,
Завей колечко,
Молви ласковое словечко,
Захвати и меня с собой
В мир, от радости голубой,
Где вода ясна,
Где всегда весна.

Если можно так выразиться, «продолжение» пейзажа приобретает форму диалога, с прекрасной легкостью и естественностью происходит процесс «очеловечения» природы. Чтобы быть более доказательным, не поспеюсь местом и процитирую всю концовку стихотворения:

И в ответ Стружань не молчит,
Слышу я, как вода журчит:
— Ну, а если сведу с ума,
Если я не знаю сама,
Где пути моего окончанье,
Где надежда и где отчаянье?
Я тебе отдохнуть не дам,
Потеряешь ты счет годам
И хлебнешь маеты земной.
Не бойсьяся —
Иди за мной.

Я иду —
И солнце меня печет,
И поэмка пещадно лицо сечет,
А вода в реке
Все течет,
Течет...

Умное, содержательное стихотворение! И — никакой назойливой созерцательности, никаких шуршащих камышей, плаучих ив, бархатных закатов и прочих осточертевших аксессуаров так называемой «пейзажной лирики». И в то же время — стихи о природе, о пронзительной луговой красе средней полосы России!

В маленьком по количеству строк сборнике «Времена года», вышедшем в библиотеке «Огонька», В. Полторацкому удалось сказать многое: как хороша Мещера с ее лесными озерами, с темными стрелами куги и пронизками кукушкиных слез, как «желтые косы мост Ока душистым настоем допника», как плывет осенняя паутина «над вырубкой, где ягоды в траву горстями брошены».

Мы видим зеленую ширь полей, слышим звонкие песни птиц, чувствуем запахи черемухи и мяты, по самое главное — мы ощущаем могучую силу народа, трудолюбивых, радостных людей, влюбленных в свою могучую землю, в свою заповедную природу, в свою величественную, гордую историю. От древнего Суздаля, описанного В. Полторацким с настоящим блеском, веет суровым ветром времени:

Мороз идет по городу,
Поднял седую бороду.
Сухой поземкой стелется
Февральская метелица.

Заспелая улица
Сугробами сутулится,
А на базарной площади
Занедевели лошади...

Так что же здесь? Морозная
Зима Ивана Грозного?
Иль праздник ветра дикого
Времен Петра Великого!..

Нет, и покров и тронца
Отбыли век свой с дедами,
А здесь иное строится,
Дела иные ведомы.

С одной стороны — седая старина, с другой — современное село Небылое, которое дышит одним воздухом, с Москвой, у которого заботы и думы идут в ногу с заботами и думами столицы, село, из которого «вся Россия видна».

В квинжке «Времена года», кроме упомянутых, есть превосходные стихотворения, такие, как «Россия», «Бунни на чужбине», «Обоянь», «Двое», «Мир хорош! Цветут степные травы...», «Года уходят, сердце бьется глуше...», «Осторожный».

Поэтическое творчество В. Полторацкого примечательно своей задушевностью и глубокими национальными корнями.

Много споров-разговоров ведется у нас последнее время о поисках формы, о преимуществе якобы новой «корневой рифмы» перед рифмой традиционной, о правомочности белого стиха, о рубленой строфе, о пресловутой «лесенке» и о прочих тонкостях поэтической технологии.

Сам по себе дискуссионный, разговор на тему о технике стихотворной речи, конечно, приписит известную пользу.

Новое содержание, разумеется, требует и соответствующей свежей формы, тут сомнения быть не может. Но жаль только, что в этих горячих дискуссиях зачастую «выпадает» один немаловажный тезис — отношение широкого читателя к процессу видоизменений и роста современной поэзии.

А ведь широкий читатель, не очень-то посвященный в «хитрости» поэтического ремесла, ищет в творчестве того или иного поэта не внешние украшения, не изощренные приемы крикливо модного стихотворного построения строфы, а глубину мысли, лирическую исповедь и публицистическую проповедь художника слова.

Советскому читателю, особенно молодежи, далеко не безразличны те поэтические средства, при помощи которых поэт разговаривает со своим собеседником. Но ему, читателю, еще важнее услышать от поэта ответы на животрепещущие вопросы жизни — о времени, о событиях внутренних и международных, о любви и дружбе, о верности, о долге и о многом другом, чем богата наша неповторимая действительность.

«Простому» читателю нужна ясная идея, четкость позиций, откровение, доходчивое чувство мыслящего, а не фиглярствующего мастера стиха. Читателю нужно, чтобы его тронули за сердце, повели за собой, увлекли, помогли работать и жить, а не поразили набором громких, «эффектных» слов, всячески запяточная традиционную форму стихосложения.

Традиционная, классическая форма поэзии далеко еще

¹ Статья написана вместе с Г. И. Рязановой.

не обречена на безмолвие и умирание. Все дело в том, как ею пользоваться и как ее обновлять.

И вот таким «традиционным» и одновременно новым поэтом является талантливый Сергей Наровчатов.

Молодость С. Наровчатова проходила бурно и тревожно. В конце 1939 года вместе с ближайшими друзьями ушел добровольцем на финский фронт, бойцом легколыжного батальона, участвовал в рейдах по вражеским тылам, был тяжело обморожен. По возвращении с фронта поступил в Литературный институт имени А. М. Горького.

Институт закончить не удалось, так как началась Великая Отечественная война.

В первые же дни войны вместе со всей комсомольской организацией Литинститута, секретарем которой он был, ушел добровольцем на фронт, в Действующую армию. Воевал на Брянском и Волховском фронтах, был в блокированном Ленинграде, участвовал в прорыве блокады. Прошел с боями Прибалтику, Польшу, центральную Германию и встретил день Победы на Эльбе.

Сергея Наровчатова трудно определить, «чей он именно» ученик — А. Блока, В. Маяковского, Д. Бедного, С. Есенина или Н. Асеева.

Можно сказать, что, продолжая великую традицию гражданской лирики Пушкина, Лермонтова, Некрасова, он по форме остался верен классической школе, а по содержанию, по своей душевной настроенности, по революционно-романтическому духу являет своим творчеством пример развития лучших образцов современной отечественной поэзии, и в первую очередь — поэзии В. Маяковского.

Перед нами книга избранных произведений Сергея Наровчатова — «Стихи и поэмы».

В книге «Стихи и поэмы» как на ладони видна трудовая и боевая биография нашего современника.

Патриотично, убежденно, по-человечески внушительно звучит стихотворение «В те годы», датированное 1941 годом.

Стихотворение это очень существенно для всего творческого облика Сергея Наровчатова.

Я проходил, скрипя зубами, мимо
Сожженных сел, каменных городов,
По горестной, по русской, по родимой,
Завещанной от дедов и отцов.

Запомнил над деревьями пламя,
И ветер, разбросанный жаркий прах,
И девушек, блблейскими гвоздями
Распчатых на райкомовских дверях...

В своей печали дронным песням равный,
Я села, словно летопись, листал
И в каждой бабе видел Ярославну,
Во всех ручьях Непрядву узпалал.

Крови своей, своим святыням верный,
Слова старинные я повторял, скорбя:
— Россия, мати! Свете мой безмерный,
Которой мезтью метить мне за тебя!

С каким великолепным чувством историзма, с каким гордым национальным чувством и как просто это паппсапо, как берет за живое и наполняет душу красотой подлинного волнеппия.

На первый взгляд — все «традиционно», «старомодно», без модернистских ухищрений, без «фонетических откритий»!

Просьба понять меня правильно: я не против повшеств в поэзии, не против формальных поисков, но я решительно не за то, чтобы пренебрегать классическим наследием, ппзводить каппппческую форму русского сти-ха до жалкой роли устаревшего, «стандартного образца».

Все дело в том, как пользоваться традицией, в чьих руках оказывается пушкинский ямб, какова степень умения, индивидуального подхода к использованию классических средств, каков художнический уровень самой поэтической формулировки!

Ведь старый размер, традиционный ритм и «кирпичная форма» строфы, закованная в железную раму перекрестных привычных рпфм, при уме да при таланте может произвести гораздо более действенное впечатление, чем пустой штукарский трюк плого развязанного «новатора».

На помощь старинной форме стиха одаренный современный поэт привлекает и свежий, неожиданный апитет, и запоминающийся образ, и новую мораль, и прогрессивное, передовое видение мира.

Поэзия Сергея Наровчатова своеобразна. Что же, спрашивается, составляет ее своеобразие? На этот вопрос можно ответить так:

Во-первых — наличие мысли, большой человеческой мысли, без которой невозможно никакое искусство, тем

более — искусство поэтического слова. В основе лучших произведений С. Наровчатова лежит всегда идея, глубокий подтекст, веская смысловая нагрузка, как бы уместящаяся между строк.

Во-вторых, отличительной чертой поэзии С. Наровчатова, индивидуальным признаком его поэтического письма является также свежий эпитет, неожиданный, на первый взгляд рискованный, но при ближайшем рассмотрении — единственно верный по своей удивительной меткости.

Запоминал над деревнями пламя,
И ветер, разносивший жаркий прах,
И девушек, *библейскими* гвоздями
Распятых на райкомовских дверях.

Это ветхозаветное, замшелое, отдаленное во времени определение «библейскими гвоздями», взятое из области догматов и мифов христианской религии, внезапно, смело поставленное рядом с «райкомовскими дверями», производит, конечно, незабываемое по яркости впечатление.

И, наконец, третья немаловажная особенность — тонкое умение С. Наровчатова пользоваться приемом ассоциаций, эффектной параллелью, нередко историко-романтического происхождения.

Эмоциональная сила воздействия на читателя в данном случае безошибочна:

В своей печали древним послам равный,
Я села, словно летопись, листал
И в каждой бабе видел Ярославну,
Во всех ручьях Неприяду узнавал.

Разнопланово, непохоже друг на друга выглядят фронтовые стихи Сергея Наровчатова.

Чаше это — глубокое раздумье о солдатском воинском долге, патристический порыв, вера в победу, жажда мести злобному, наглому врагу, осквернившему просторы родной земли.

Иногда это — суровый военный пейзаж со всей его жестокой правдоподобностью и трагической натуральностью, иногда — дневниковая запись в походном блокноте, иногда — оперативный поэтический репортаж с поля боя.

А порой это — почти сказочная история, взмывающая на крыльях остроумной фантастики. Таково, например, стихотворение «Письмо из Марпенбурга». Написанное лукаво и весело, с огоньком хорошей выдумки, оно привлекает своим милым озорством, своим неожиданным, специально пущенным в ход «гусарским шиком».

Бурая метет, слепит глаза буря,
Но ей бежать вьюмах до самой Волги,
Где ждет ее безусый капитан
В надвинутой на брови треуголке.

Он ей навстречу плащ свой распахнет
И, в первый раз объявив подотрогу,
Лишь вымолвит: — Не час я ждал, а год.
Но Вы пришли, благодаренье богу.

Как удалось отда Вам обмануть!
Как счастлив я! Но надо ждать погоды... —
Ямщик готов. И вот уж в дальний путь
Упряжку мчат заждавшиеся кони.

А девушка спит, едва жпва,
И лишь порой на срывах п откосах
Мелькает озорная татарка
В ее глазах, по-волжскому раскосых.

Позвольте, что это такое? Какой капитан в треуголке? Откуда взялся ямщик и продрогшие кони в допотопной упряжке? Что это за красotka, спешащая тайно встать под венец? Зачем и кому нужна эта старомодная ересь на фоне человеческих страданий, в обстановке тяжелых испытаний войны?

Спокойно, читатель! Оказывается, пужпа, да еще как нужна улыбка, п вымысел, п игривая придуманная история о таинственной любви в условиях фронта.

Поэт сам псчерпывающе точно отвечает нам на все недоуменные вопросы, непринужденно п улыбочиво давая разъяснение:

На полуслове оборву рассказ,
Махнем рукой романтике старинной...
С чего я вдруг узнал себя п Вас
В любовниках поры полубылиной!

С чего бы это? Но, мой милый друг,
Неужто Вы заметить не сумели,
Что мне осточертел Марпенбург,
Где я торчу четвертую неделю?

Как все это молодо, и по-военски лихо, и по-русски красочно! И опять-таки певольно напрашивается разговор о классической русской традиции, унаследованной С. Наровчатовым. Читая искрящиеся строфы «Письма из Мариенбурга», явственно видишь картины и слышишь музыку, навеянные нам фронтовыми стихами Дениса Давыдова, и «Метелью» и «Капитанской дочкой» Пушкина, и «Тамбовской казначейшей» Лермонтова, и «Тройкой» Некрасова.

Нет, традиция в умелых руках, при уме да при таланте не только не старит поэзию, а, наоборот, придает ей завидную свежесть!

Посмотрите, как убедительно и предельно впечатляюще выглядит стихотворение Сергея Наровчатова «Костер», написанное уже в послевоенном, 1946 году. Призывную, эмоциональную силу «Костра» трудно переоценить. В стихотворении идет речь о судьбе двух солдат, воинов разноименных стран и разных языков:

Прошло с тех пор немало дней,
С тех стародавних пор,
Когда мы встретились с тобой
Вблизи Саксонских гор.
Когда над Эльбой полыхал
Солдатский наш костер.

...Неплохо было нам с тобой
Встречать тогда рассвет
И рассуждать под треск ветвей,
Что мы на сотни лет,
На сотни лет весь белый свет
Избавили от бед...

И тьма ночная, отступив,
Не смела спорить с ним,
И верил я, и верил ты,
Что он неугасим
И это было. Джонни Смит,
Понятно нам двоим!

Но вот на столбцах газет заскользнула косая тень отчуждения, грозя заслопить весь белый свет, политиканы «холодной войны» снова принялись за черное дело натравливания народов друг на друга, вновь подняли головы фашиствующие и реваншиствующие недобитки.

Сергей Наровчатов находит веские, суровые и спокойные слова, обращенные к давнему фронтовому дру-

гу, слова, продиктованные болью беспричинной размо-
лки и тревогой за мир:

Но я спрошу тебя в упор:
Как можешь ты молчать?
Как можешь верить в ташь да гладь
Да божью благодать,
Когда грозятся ваш костер
Смести и растоптать?

Мужеством и прямою наполнены лучшие стихи Сергея Наровчатова, поэта очень русского, умеющего говорить доверительно, иногда строго, иногда улыбочиво. Самые, казалось бы, высокие темы, требующие обязательного пафоса, приобретающие в стихах много поэта звучание труб и барабана, Сергей Наровчатов решает сдержанно, проникновенно, приподнято, но не риторично.

Это распространяется и на фронтовые стихи, и на стихи послевоенного периода, на такие, как «Анфиса», «Плотник», «Сказка», «Охота на коршуна», «Тост за Украину».

Александр Фадеев в своих «Заметках о литературе», опубликованных в «Литературной газете» 24 сентября 1955 года, писал, что «...С. Наровчатов начал свою поэтическую жизнь со стихов о войне и стихов политических, посвященных таким большим темам, как, например, столетие «Коммунистического манифеста», решая эти темы не внешне, а глубоко. Стихотворения его, появляющиеся, свидетельствуют, что у него богатые поэтические возможности».

И все же, несмотря на высокие художественные показатели С. Наровчатова, необходимо сигнализировать ему о некоторых ненужных, с моей точки зрения, ущербных сторонах его поэтической работы.

Одной из таких тревожащих сторон является попытка поэта перепевать самого себя. Так, например, вся то-
нальность, весь внутренний образный настрой стихотворения «Молодые коммунисты» перекочевали в стихотворение «Мое поколение».

Неосмотрительное и чреватое нежелательными последствиями занятие! Радость добычи нового не приходит на выработанном месте, она появляется лишь в результате разработки вновь разведанного участка.

Следует обратить внимание поэта на то, что он порою теряет «чувство бдительности», ослабляет поводья и

Пегас заносит его на чужое поэтическое поле, в полосу подражания посторонним голосам. В этом смысле такое стихотворение, как «На чужбине», можно поставить в упрек талантливому поэту.

Вот как выглядит взятое нами наугад место из стихотворения «На чужбине»:

Пускай мы от нею сейчас далеко,
Чужая окружает нас земля —
По-прежнему нам светит свет
с восточка,
Высокий свет родимого Кремля...

Именно потому, что С. Наровчатов от природы наделен и мыслями и воображением, именно потому, что ему не занимать ума и темперамента, он обязан ревниво, похозяйски относиться к своему богатству!

Особое место в творчестве Сергея Наровчатова занимает лирика, в которой ему удастся с необыкновенной чуткостью и тактом касаться самых острых житейских ситуаций, проникать в психологию людей.

В этом плане наиболее заметное и яркое создано в цикле «Разговор с дочкой». Два стихотворения из этого цикла, «Скучное лето» и «Разговор с дочкой», напечатанные в свое время в «Литературной газете», заметил А. Фадеев, они-то и послужили поводом для его письма к поэту. «Два новых Ваших стихотворения,—писал А. Фадеев,—говорят о том, какие в Вас еще заложены возможности. Так вольно, просто, умно и так хорошо «подперчено»!.. Нужно, чтобы Вы больше писали, чтобы новое, как и старое, не рассыпалось на отдельные удачные пробы, броски туда или сюда, а чтобы были далеко идущие замыслы, чтобы все гармонизировалось в циклы выношенные, ... малые, целеустремленные...»

Выше было сказано, что Сергей Наровчатов является поэтом очень русским. Что это значит? Это значит, что поэту свойственна органическая привязанность ко всему русскому, к героической, гордой истории России, к ее могучему, многотерпеливому и несокрушимому пароду, к ее просторам без конца и края, к ее певучему языку, к изустной русской речи, полной былинного разлива, песен и поверий.

Нужно обладать отличными историческими знаниями, уметь «видеть» прошлое, владеть даром незаурядного воображения, чтобы браться за изображение древних времен.

Сергею Наровчатову оказалась по плечу такая задача. В последней его поэме с энической широтой встает картина далекого русского прошлого, красочно и размашисто возникает занев о Василии Буслаеве:

— Кто кого? Чья взяла?
— Чей почин? Чьи дела?
Господи! Великий Новгород
Бьет во все колокола...
Хоть бы голь одна,
Что пьяным-пьяпа,
Хоть бы сотни две удалцов-молодцов,
Хоть бы два конца, по все пять концов,
По от бражников до степешных купцов,
Все на улице,
Все лютуютца —
Кто с кольем,
Кто с дубьем,
Кто с орысшой,
Кто с бревном,
Кто с доской,
Кто с хвалой,
Кто с хулой,
С паговоркою и напраслиной
Поминяют сегодня песь день-деньской
Имя звонкое *Васьки Буслаева!*

Поэма «Василий Буслаев» является в творчестве Сергея Наровчатова безусловным подтверждением и следствием его верности революционным национальным традициям, глубокого пристрастия ко всему тому, что составляет честь и славу русской художественной культуры.

Сергей Наровчатов трактует образ Василия Буслаева не механически, берет по внешнюю сторону озорного бунтарства новгородского «ушкуйппка» и «разбойника», а находит ключ к социальной первопричине бунтарского поведения героя старинных былин.

Замечательно тонко пропикая в толщу мпнувшего времени, как бы раздвигая завесу вековых туманов, освобождая родную историю от папастований капувших в вечность эпох, поэт силой воображения создает картины древней Руси. При этом он не удовлетворится поверхностным слоем своих чисто художественных находок, а стремится вскрыть исторические корни возникновения облика Василия Буслаева, пытается нащупать реальную почву зарождения буслаевского характера, как пародного явления.

И в этом смысле С. Наровчатов идейно перекликается с воззрением Горького на Василия как на стихийного

бултаря, возвысившего свой своевольный голос не только и не столько перед народом, а в первую очередь перед правителями, перед властью имущими, которых он отвергает, высмеивает и презирает.

В поэме довольно отчетливо слышна нота сочувствия простому трудовому люду, ощущается беспокойная дума Василия Буслаева о том, что есть и что будет с народом, размышления Василия Буслаева о судьбе народной рисуются как его широкий и пристальный взгляд на будущее.

Горьковское понимание образа народного бултаря, выраженное великим писателем в «Монологе Васьки Буслаева», органически сливается с поэтической, романтической приподнятой точкой зрения С. Наровчатова.

«И земную забыл он и высшую власть!..» — пишет С. Наровчатов о своем своеобразном бражнике, подчеркивая этим самым не только его бултарский поров, но и прямо указывая на его атеистическую сущность.

Задиристо, гордо бросает Василий Буслаев вызов самому богу, люди со страхом слушают дерзкие слова, становятся «тише воды, ниже травы, ни живы, ни мертвы»:

По себе я хорош, по себе и плох,
И по верю я, Васька, ни в сон, ни в чох,
Ни в змеиный шип, ни в воровий грай,
Ни в крошечный ад, ни в господень рай.

Вместе с показной удалью слышится и любовь к бедняцкой доле, угадывается гуманизм, щедрая симпатия к загнанным, голодным и обездоленным людям в крамольной Васькиной речи:

...Человек — венец поднебесной красоты,
Нашей светлой земли украшение,
Вы подаром па двор мой ко мне пришли,
Здесь сегодня не ждет вас ни князь, ни плеть,
Насобрал я богатства со всей земли,
Не запрячу я их ни в подвал, ни в клеть,
Все берите! Распоряжайтесь!

И безбожный нрав, и широта, и великодушие Василия Буслаева наряду с его душевной неустroенностью и воинствующим индивидуализмом, достигающим неосмотрительного противопоставления себя народу, — все это, вместе взятое, окружает легендарного новгородского бултаря ореолом незаурядности и вместе с тем приводит его

к трагическому концу. Орыв от земли, мятежная попытка править людьми по-своему, по-буслаевски, по принципу «сам себе холоп, сам себе господин» и является гибелью сплывшей, яркой личности, не сумевшей понять одного: нельзя пренебречь вечным колоколом, который всегда олицетворял волю народа.

В поэме присутствует главное — колорит времени, атмосфера исторической правды, броскость и яркость русской речи, напряженная революционная романтика, окрашивающая повествование о давних былых временах в действенные современные тона.

Разумеется, С. Наровчатов не безгрешен. В ткани повествования встречаются порой стиливые промахи, иногда поэт, увлекаясь переливами древнеславянской речи, превращает поэтический рассказ в словесную игру, и это выглядит чрезвычайно парочито. Временами режет слух и глаз читателя «образное излишество». Так, например, блестяще описывая «прямо в небо крестами» вколотый древневечный город, поэт манерно говорит о том, что город: «Не ветра овевают, по ветры. Не снега заносит, по снега». Но это — сравнительные мелочи вполне и легко устранимые, незначительные просчеты.

В целом же поэма находится на той заветной ступени законченности, когда произведение композиционно приобретает единственно верную форму, приковывает читателя завершенностью замысла.

Нет сомнений, что автор при его взыскательности будет еще трудиться над своим широким эпическим полотном, придавая ему дальнейшую художественную цельность, но уже сейчас видно, как раздольно и по-русски многоцветно разворачивается действие былых времен.

Поэма «Василий Буслав» пагладно подтверждает наше прочное убеждение в том, что ясный патриотический талант Сергея Наровчатова мужает и пабирает новую высоту.

МУЖАЮЩЕЕ СЛОВО

Три десятилетия тому назад в Свердловске на страницах журнала «Штурм» появились первые стихотворения Людмилы Татьяничевой.

С той поры читатель часто встречается это имя в нашей периодической печати. Талант Людмилы Татьяничевой набирает силу без спешки, но с той необходимой эпергией, которая таит в себе и сосредоточенность и волю к преодолению трудностей, и умение взглянуть на себя с достаточной самокритичностью. При всей своей строгой собранности и «деловитости» дарование Людмилы Татьяничевой не теряет, однако, напряженного лиризма, поэтому ее творчество я бы назвал мужественной жесткостью. Это не парадокс, а сущая правда. Вся образная система, язык, пейзаж — все у Людмилы Татьяничевой подчинено уральской теме, продиктовано, отмечено негасимой любовью к родимому лесному да горному краю. А Урал, как известно, не любит слабых душой и телом. Он гостеприимен и хлебосол, но он одновременно и суров, и скуп на ласку, и нетерпим к суесловию.

Вот эти-то характерные черты жизненной прямооты, душевной открытости без малейшего палета сентиментальности, сдержанной нежности пашли в поэтессе своего верного печальника и глашатая. Даже в сугубо личной лирической псноте она не отстует от своего стелевого принципа:

А январская ночь холодна и темна,
И не скачет к крылечку твой конь,
И спешипка, как маленькая лупа,
Спускается мне на ладонь.

Только верю я в счастье. Ручьям звенеть,
Быть свиданыю. Всему свой срок.
Сколь ни злится зима, а в берлоге медведь
Повернулся на левый бок.

Но это — из сравнительно ранних стихов. А посмотрите, как мужественны более поздние, в которых проотует биография:

Пусть не в меня в прямом бою
 Воззаялся пыток чужой ограды,
 Протиснул сквозь молодость мою
 Годы
 Тяжелые, как толки.
 О трудный марш очередной
 За хлебом.
 Клеплым от бурыля,
 И пад молчаньем площадей
 Суровый голос Левитапа...
 А дети в патишках худых,
 А вдов опущенные плечи!
 Нет горше будней фронтовых.
 Но эти
 Вряд ли были легче..
 Ты знаешь это.
 Ты видал
 Цеха бессонные, в которых
 Из гнева плавился металл.
 А слезы
 Превращались в порох.

Я позволил себе привести столь пространную цитату для того, чтобы напомнить читателю о нелегком трудовом пути Людмилы Татьяничевой, о пути, начавшемся после окончания школы, у токарного станка на заводе в Свердловске, в течение целых десяти лет на строительстве Магнитки и приведшем ее к письменному столу литератора в Челябинске.

Хорошо, досконально знает Людмила Татьяничева характер, привычки, привязанности своих земляков-уральцев и поэтому с подлинным уважением глубоко, взволнованно рисует их.

Изобразительные средства поэтессы изобилуют яркими северными красками, напоминающими горные самоцветы, добытые в богатых залежах людских душ. И люди и природа Урала живут в ее лучших стихотворениях со скульптурной осязаемостью, вызывают чувство симпатии, западают в память.

Думается мне, что доходчивость и яркость лирических созданий Людмилы Татьяничевой объясняются не только уральским колоритом и знанием людей труда. Дело в том, что она умсет отлично соединять интимную лирику с воинствующей публицистикой, и этот замечательный сплав действует безотказно.

Реалистическая манера письма, верность классической строфике, точной полноримной рифме не мешают Людмиле

Татьяничевой быть поэтом очень современным. Не отрываясь от родной уральской почвы, она свободно касается, что называется, всесоюзных и даже мировых проблем. В этом смысле особенно хороши такие стихи, как «Физикам», «Область личного счастья», «Моя привилегия», «Гражданственность», «И на току, и в чистом поле». Для наглядности цитирую последнее:

И на току,
И в чистом поле
В войну я слышала не раз:
— А пу-ка, бабы,
Спляшем, что ли! —
И начинался сухопляс.
Без музыки,
Без вскриков звонких,
Сосредоточенны, строги,
Плясали бабы и девчонки,
По-вдовьи повязав платки,
Не навами по кругу плыли,
С ладами чуткими в ладу,
А будто дробно молотили
Цепам горь-лебеду.
Плясали, словно угрожая
Врагу:
— Хоть трижды нас убей,
Воскреснем мы и парождем
Отечеству богатырей! —

Тут превосходное чувство русской отходчивости сливается с горделивым и неистребимым чувством патриотизма, горечь — с задором, многотерпение — с веселым порывом.

В большинстве своем плавная поэтическая речь Людмилы Татьяничевой порой ритмически усложняется, словно бы взвихривается, и в этом я вижу еще одну сторону ее плодотворных поисков — разнообразие, своеобразную многоступенчатость технологических стиховых решений.

Я внимательно, на протяжении двадцати лет с лишком слежу за творчеством Людмилы Татьяничевой и должен сказать прямо: много успела сделать моя землячка.

Прежняя, ранняя поверхностная говорливость сменилась экономной фразой, на смену приблизительности пришла выверенная мысль, некоторую музыкальную рыхлость заменила строгая фонетическая опашка.

Упорный, радостный труд принес свои долгожданные плоды — имя Людмилы Татьяничевой по праву стоит в

ряду известных русских поэтов, а родимый Урал может не жаловаться на повзрослевшую дочь, она не уронила его чести:

Я — сосна в твоём бору.
Ближе нет родства!
У тебя, Урал, беру
Тайны мастерства.

Это сказано с достоинством и благодарностью. А мне в заключение хочется обратиться в адрес Людмилы Татьянической ее же сердечные строки, но произнести их так, будто они мои собственные:

И вот я слушаю с волнением
Твою ритмическую речь.
В пей все и живописно и пово
И все
Исполнено огля..
Твое мужжающее слово —
Большая радость для меня.

НЕ ОШИБСЯ!

Не могу отделаться от мысли о том, что это было совсем недавно. В прошлом году, в крайнем случае в позапрошлом... А на самом деле, оказывается, это было в 1955 году! Ах, время, как безжалостно стремительны твои крылья!

Что же такое — «это»? Это — когда мне дали в руки тоненькую книжечку стихотворений неизвестного тогда для меня Василия Федорова. Книжечка называлась «Лесные родники» и дана была мне, чтобы помочь решить вопрос: принимать или не принимать в члены Союза писателей ее автора. Раскрыл я книжку, углубился в чтение, и не заметил, как прочитал ее до последней строки, не отрываясь. Со страниц повеяло крепким северным морозцем, смолистым запахом хвои, ухо уловило шелесты, плески и шумы таежной благодати, а на губах появился сладкий, вяжущий привкус черемухи и костяники.

С той поры я — ревностный читатель и болельщик поэзии Василия Федорова, поэта резко индивидуального, рассудительного.

Не берусь в короткой заметке капитально обосновать свою точку зрения, но с убежденностью говорю: основное богатство В. Федорова зиждется на умении проникать в душевный мир своих героев, на стремлении показывать их со всеми противоречиями и неустroенностями, с конфликтами и даже драмами. При этом никогда не теряется нить жизнеутверждения и оптимизма. В. Федоров — отличный мастер эпического склада. Его поэмы приобрели заслуженную известность. Столкновение доброты с яростью злобы в «Бетховене», кротости с ненавистью в «Золотой жиле», красоты с обязанностью в «Проданной Венере», пропозитивной исповеди очарованных душ в «Белой роще», «Седьмом небе» и «Книге любви» — все это говорит о незаурядном даровании, о жажде воображения. Василию Федорову уже за пятьдесят.

Ну, что же, при уме да при таланте жить в таком возрасте — самая радость. Я открыто горжусь, что тогда, в 1955 году, не ошибся.

Ныне громкий голос Василия Федорова украшает наш поэтический цех.

ЕДИНСТВО РАЗНООБРАЗИЯ

Мое знакомство с поэзией Николая Доризо началось много лет назад, когда он был еще совсем молодым поэтом. На странице «Комсомольской правды» я обратил внимание на стихи неизвестного автора «Баллады о русском солдате».

Была фамилия — Доризо, но никакого всесоюзного имени, конечно, не было и в помине; оно пришло позднее, но пришло с безусловной очевидностью. И здесь уместно вспомнить строки одного из последних стихотворений Николая Доризо:

Как много фамилий,
Как мало имен!
Поэтов у нас изобилие,
Но как тяжело
перейти Рубикон,
Чтоб именем
стала фамилия!

Перейти этот Рубикон действительно удается немногим. В чем же секрет популярности поэта, популярности, рассчитанной не на обывателя, а на настоящего ценителя поэзии, и, что самое существенное, где таится корень популярности поэта в народе? Ведь в конечном счете не что другое, а именно это определяет величину и значительность поэтического имени.

Давным-давно заприметив стихотворение Николая Доризо в «Комсомолке», я не только его запомнил, но и вырезал из газетной полосы, и положил в паспорт, и не один год хранил как дорогую находку. И когда меня познакомил с Николаем Доризо, я ему предъявил как красноречивый документ моего отношения к его стихам пожелтевшую газетную вырезку.

С того давнего летнего дня и началась наша прочная профессиональная дружба. Так для меня, поэта и, смею утверждать, сурового ценителя поэзии, появилась не фамилия Доризо, а новое талантливое литературное имя.

Но это в какой-то мере ответ на первую часть вопроса — в чем тайна известности поэта у профессионалов.

знающих и понимающих тонкости поэтического проповедства.

Меня, как поэта, приворожила в стихотворении Николая Доризо неожиданность и свежесть образного поворота, стремительность и четкость ритма, зоркость эпитетов.

А вот ответ на вторую часть вопроса — в чем секрет популярности поэта в народе.

Недавно один знакомый литератор рассказал мне, что в его присутствии к Николаю Доризо подошел рабочий человек, шофер, работающий на дальних рейсах, и, узнав поэта в лицо, достал из кармана кожанки паспорт, в котором, рядом с фотографией жены и дочери, находился пожелтевший клочок бумаги. Это были стихи Доризо, напечатанные в «Правде» в 1962 году. Семь лет человек хранил в своем паспорте приглянувшиеся, запавшие в душу строки. Шофер не был знатоком, искушенным ценителем, не разбирался в хитростях поэтического ремесла и весьма далек был от поэзии. Почему же все-таки он столько времени не расставался с полюбившимися стихами? Да потому, что в стихах были сказаны *его* мысли, *его* чувства, *его* слова, которые жили в нем, которые он не мог высказать для себя так ясно и убедительно — это были заветные слова о нем самом и его фронтовых однополчанях.

Сегодня время
вспомнить тех солдат,
Во имя правды
это сделать надо,
Отдавших жизнь свою
за Сталинград
И потому не знавших
Волгограда.

Меня удивила похожесть ситуации: и в первом и во втором случае стихи поэта оказались в паспорте читателя по причине того, что читатель не хотел с ним расставаться. Все это, вместе взятое, во многом отвечает на две стороны вопроса — в чем же секрет популярности.

Николай Доризо обладает ценным умением выразить то, о чем думают другие, свое сделать «чужим», пужным и близким людям. Видимо, поэтому многие стихотворения поэта стали песнями, известными всему наро-

ду: «Помпипш, мама?..», «У нас в общежитии свадьба...», «Огней так много золотых...» (из кинофильма «Дело было в Пенькове»), «Мужской разговор», «Песня о любви» (из кинофильма «Простая история»), «Песня Рощина» и «Вальс школьников-выпускников» (из кинофильма «Разные судьбы»).

И вот что любопытно: песни эти с годами не стареют, они, как и прежде, ложатся на улицах и в парках, на домашних вечеринках и со сцены Дворца культуры. Не называя многих других песенных удач Николая Доризо, скажу, что обаяние и несомненная доходчивость лучших песен, созданных на его стихи, идут от проникательности лирической натуры поэта, от его душевности.

Николай Доризо никогда не решает тему упрощенно, он не боится жизненной правды, напротив — старается не отступить от нее и всегда стремится к глубокому художественному ее решению.

Его поэтические произведения в большинстве своем очень современные, психологичны, порой драматичны.

Творчество Николая Доризо по-настоящему разнообразно.

Николай Доризо — автор многих поэтических сборников, автор пьес в стихах: трагедии «Место действия — Россия», драмы «Утром после самоубийства», комедии «Конкурс красоты». В этом году в журнале «Москва» поэт впервые выступил с прозаическим произведением — острокопфликтной и лирической интересной повестью «Измена».

Кроме того, Николай Доризо (и об этом надо сказать обязательно!) является блистательным актером. У него свой, ни на что не похожий театр, театр одного человека, театр устных литературных пародий. В театре своих гротесковых устных миниатюр поэт, он же исполнитель, за несколько минут создает на ваших глазах яркий, неповторимый образ, комедийный портрет собрата по перу.

С этим своим театром одного актера Николай Доризо выступает на многолюдных аудиториях, и всегда с неизменным успехом.

Песня и повесть, устный шарж и философское стихотворение, и газетный очерк, — нет ли в этом излишней

всеядности, мешающей углубленному и сосредоточенному литературному творчеству?

В том то и дело, что нет. В поэзии, как и в самой жизни, соседствуют грусть и шутка, проия и трагедия — и все это естественно, органично, правдиво.

Николай Доризо на протяжении многих лет чрезвычайно последователен в отборе своих, я бы сказал — «доризовских тем».

В песне и в драме, в стихотворении и в повестке ему пужен конфликт, парадокс, афоризм, причинность. По этим приметам всегда можно узнать стиль и почерк беспокойного поэта.

Есть внешнее единство, внешняя индивидуальность, когда поэт держится за уже освоенную им манеру, и эта манера становится зачастую навязчивой, утомительной, мотор работает на отработанном горючем. И есть внутреннее единство, глубинная индивидуальность, которая не исключает, а, напротив, предполагает разнообразие манер и жанров. Мы, советские литераторы, должны почаще оглядываться в этом смысле на великие примеры отечественного прошлого. Вспомним гениального Пушкина с его чудесным, как сама жизнь, волшебным единством разнообразия. Вспомним и отважмся на разнообразие.

ВЫСОКАЯ ПРОСТОТА

Разговор о поэзии Константина Вапшенкина хочется начать с его высказывания в прозе.

Вот это запомнившееся мне место из рассказа «Шумавские волки», обнаружившее, по-моему, главный творческий принцип поэта: «Всё труднее находить какие-либо ценности на поверхности, такое теперь может быть лишь счастливой случайностью. Нужно бурить скважины очень глубоко, применяя самый тонкий инструмент. Главная ценность поэзии — как и прежде — простота, естественность, органичность, — но смешно было бы думать, что это легко достигается».

И далее: «Расширение тематики часто идет по чисто географическому принципу — описание все новых и новых мест, куда попадает поэт. Путешествие в пространстве — дело нехитрое, особенно в качестве пассажира. Путешествие в душе — потруднее, и, главное, это совершенно разные сферы, не надо их путать».

Резонно сказано. Чувствуются и житейская мудрость, и немалый профессиональный опыт художника. Когда и где они приобретались поэтом?

В 1942 году Вапшенкин из десятого класса ушел в армию, служил главным образом в воздушнодесантных войсках, участвовал в боях на Втором и Третьем Украинских фронтах. Это и было для будущего поэта главным университетом, предшествующим поступлению в Литературный институт имени Горького. Здесь, в среде начинающих поэтов, одногодков-фронтовиков, началось осмысление пройденного.

И ничего удивительного нет в том, что военная тема стала для Вапшенкина самой заветной, а фронтовые товарищи — самыми дорогими людьми на свете. Пройдет время, и в 1963 году Вапшенкин скажет о них удивительно просто и нежно:

И табула в грозные бои
Чуть ли не со школьного урока
Славные ровесники мои,
Рыцари без страха и упрека.

Немаловажным фактом в творческой биографии Вапшенкина было знакомство с Михаилом Исаковским. Об

этом Ваишенкин вольновольно вспоминает: «Я решился показать стихи настоящему поэту. Мне повезло: первым поэтом, с которым я познакомился в своей жизни, был Михаил Васильевич Исаковский; его добрые советы и душевная поддержка сыграли огромную роль в моей судьбе».

Неприятные риторички, отказ от намеренного штуркаства, максимальное приближение поэтической формулировки к естественной человеческой речи — все это результат благотворного влияния Исаковского.

Воспоминание ли о мальчишеской поре, суровая ли правда армейского быта, признание ли в любви, изображение ли зимних сумерек, раскрытие ли заповедных «тайн» художника, — всюду Ваишенкин принципиально ясен и немногословен, вдумчив и собран, мысль и форма ее выражения живут у поэта в стройном, тесном художественном согласии. И добивается этого Ваишенкин стилиюдь не при помощи упрощенности письма, никак не за счет нагнетания пресловутой «общедоступности», а в результате ревнивого отбора единственно необходимого слова, строгой музыкальной оснастки.

Жизненной достоверностью, непридуманностью веет от ранних стихотворений поэта, таких, как, «Писарь», который нет, «не шагал в походе, ехал в обозе где-то, спал по ночам в подводе, вздрагивал, ждал рассвета». Таких, как «Командарм», за которым спеша, «шагают вестовые, бормочут: «Ох и дождь, беда...» А командарму не впервые, должно быть, заезжать сюда».

Подкупает юношеской чистотой вихрастое, озорное и одновременно нежное стихотворение «Мальчишка», написанное с непосредственностью необычайной, озаренное внешней радостью внезапного возмужания.

Их много в книге, сердечных лирических историй, переданных трогательно и лукаво, без сентиментальности, без выкрика, просто и уважительно. Упомяну лишь некоторые, особо мне приглянувшиеся: «Я прошел от самого показала...», «К чему копить ничтожные обиды...», «Земли потрескавшейся корка», «Минское шоссе», «У наковальни и у готовален...», «Весной сорок пятого».

Я назвал произведения, выхваченные из длинной череды целого двадцатипятилетия, разные по времени и по содержанию, но как они родственны по ощущению жизни.

едины по патристическому взлету, объединены светлой гражданственностью.

В начале заметки я обращался к прозе Ваншенкина, видя в ней наличие глубокой профессиональной рассудительности поэта.

В ваншенкинской прозе наряду с эпическим спокойствием» отлично соседствует горячий лиризм, и это делает ее поэтически насыщенной, подчас избыточной красочными ассоциациями, не уступающей стихам по эмоциональному заряду. Вот еще одно доказательство жанрового взаимообогащения, органического слияния порыва восторженных чувств и сдержанного «здорового смысла»!

Проза поэта образовалась из поэзии, плавное течение повествовательного периода отпочковалось от крепко сбитой строфы, эпитеты и сравнения несут свою постоянную службу, не теряя безупречной строевой подтянутости. В повести «Армейская юность», например, слово подогнано так, словно каждая строка держит равнение на четкость: «Разве забудешь безмолвный Донбасс сорок третьего года, разбитые города Белоруссии и знаменитый Бобруйский котел, где на много километров сплошным павалом, друг на друге — искореженные немецкие танки, орудия, бронетранспортеры, машины. А взятие нами Вены! А конец войны! А бесчисленные встречи в избах и хатах, в коттеджах и виллах на огромных дорогах войны! Армейская жизнь была суровой, но сколько в ней было неожиданного тепла!»

Ничего лишнего. Все просто и верно. И так — в увлекательных рассказах «Повезло» и «Случай», так в интересных повестях «Большие пожары» и «Графин с петухом».

Константину Ваншенкину вняло счастье быть автором стихотворений, которые стали всенародно известными: «Я люблю тебя, Жизнь!», «Вы служите, мы вас подождем», «Как провозжают пароходы». Я знаю, специально Ваншенкин никому из композиторов не подтекстовывал, стихи превратились в песни потому, что произошло дружное слияние хорошей мелодии с простыми сердечными словами, а парод в долгу не остается, он платит за это художнику вниманием и памятью.

БРАТСТВО

РОДСТВО ДУШ

Несмотря на то что в нашей периодической печати довольно часто публикуются стихи болгарских поэтов, я с интересом и с каким-то волнующим чувством неожиданности прочитал сборник «Радуга».

Одним из достоинств сборника является его, если так можно сказать, разновозрастный подбор.

С одной стороны, сборник «Радуга» никак не антология, а с другой стороны — вполне представительный и многоплановый показ сегодняшней яркой картины поэтического искусства Болгарии.

Составители поступили правильно, сосредоточив свое внимание в основном на последнем десятилетии активной работы болгарских поэтов.

Такой принцип построения книги позволил лишний раз продемонстрировать великолепные образцы творчества представителей самого старшего поколения, познакомить советского читателя с поколением, средним по возрасту, показать произведения талантливой молодежи, уже окрепшей всерьез, с успехом продолжающей достойное дело отцов.

Читая стихи болгарских поэтов на русском языке, трудно удержаться от того, чтобы не порадоваться, (с первых же страниц чтения!) органическому родству душ, близости двух братских народов — болгар и русских.

Цепя этой близости велика, ибо ее корни уходят в глубину столетий, а вершинные ветви во всей своей могучей красоте бушуют на свежем ветру нынешнего советского времени.

Само уже слово Россия, как географическое понятие, приобрело широкий социальный смысл, превратившись

в символ дружбы народов, но историческая сила родства россиянина и болгарина по-прежнему остается неугасимой.

И в этом нет ничего удивительного, потому что братство русских и болгар скреплено не только письменностью, пришедшей из Болгарии в Москву, не только единством славянства, но и совместно пролитой кровью в ожесточенных схватках с общим врагом.

Обо всем этом невольно думаешь, пробегая глазами скрепленные строки стихотворения «Русскому народу» Людмила Стоянова:

В доблести, в мужестве кто тебе равен?
В дружестве кто еще выше, сильней?
Был бы допын парод мой бесправен,
если бы не было дружбы твоей.

Мудро и точно передает Элизавета Багряна свое ощущение обновленной жизни, подлинный лиризм окрашивает ее ясную речь:

По-новому на эту землю глядя,
иду я вдоль межи.
На пол-ладони выше стало за день
густое поле ржи.

Мне думается: с силой небывалой
встанет сегодня новый человек.
В такое время в год один, пожалуй,
растешь на целый век.

Патриотичны, исполнены высокого чувства ответственности за свою поэтическую профессию стихи Николая Фурпаджиева «Я по твоим дорогам шел...».

Задушевно, без правоучения, но с бережной вдумчивостью мастера, напутственно и нежно обращается Христо Радевский к молодому поколению, идущему по широкой дороге справедливой борьбы за народное счастье:

Любимая, родная молодежь!
Лети вперед, вслед за своей мечтою!
Пусть песни, что сегодня ты поешь,
прибавят силы юному герою.

По Левскому свой шаг равняешь ты,
и жизнь твоя могуча и крылата.
Отчаяно отдаешь свои мечты,
в Гагарине по праву видишь брата.

Дружным откликом на горячий призыв старшего поэта, наглядным подтверждением и оправданием его надежд звучат звонкие имена одаренных, полюбившихся народу поэтов среднего поколения.

Веселин Ханчев, Павел Матев, Димитр Методиев, Лиляна Стефанова, Божида Божилова — ведь это все недавние юноши и девушки, на долю которых выпало суровое время ожесточенных битв родного народа с фашизмом, приход трудно добытой победы, начало стройки.

Ведь это они приняли из рук Христо Радевского и его литературных сверстников эстафету революционной непримиримости, классового гнева, веры в будущее.

Не так уж давно ступили они на нелегкий путь стихотворчества, а посмотрите, как уверенна их походка, как индивидуальна манера письма и как образно слово!

Мастерство Павла Матева, например, отличается строгой публицистичностью, прямоотой взгляда. Отлично, по-братски говорит поэт, обращаясь к рабочим, из среды которых он вышел:

Хочу по всем
принять участие,
делить и радость
и удар.
Вы точно мне
отмерьте счастье,
проверьте трижды говорар.

Философично, с глубокой рассудительностью, избегая риторики и в то же время сохраняя пафос гражданской ответственности, умело соразмеряя чувство и мысль, пишет Димитр Методиев. Характерно в этом смысле его превосходное стихотворение «Хлеба», в котором живет сильная тяга к природе, подвластной разуму и труду человека. Запоминается заключительная строфа:

Не раз ветра в неистовстве шальном
освистывали нас
и с ног сбивали...

Хлеба,
я преклоняюсь перед вами,
перед вашим молчаливым торжеством.

Волнуют русского читателя умные, искрящиеся лазурью стихи Лиляны Стефановой. Интересно, по-своему

сложился ее обаятельный поэтический облик. Я бы назвал талант Лилианы Стефановой синтезом женственности и мужественности. Воистину это так. Недаром стихотворение «Она и я» замечательной болгарской поэтессы, напечатанное впервые в «Антологии болгарской поэзии» в 1956 году, стало очень известным в Москве. Это согретое жаром интернационализма стихотворение есть и в сборнике «Радуга», оно по-прежнему радует, но я хочу сказать о другой удаче Лилианы Стефановой — о «Тревоге».

Беспокойством, жаждой деятельности, боязнию не успеть осуществить задуманное дышит каждая строчка «Тревоги», отлично переведенной Павлом Антокольским. Нельзя остаться равнодушным, прочитав вот такую тревожную исповедь возбужденного сердца:

Мне кажется, что, опоздав на поезд,
кому-то уступила я билет,
что слова жду, колеблюсь, беспокоюсь,
а поезд мчится, потерялся след.

Беспокойством, а стало быть, хорошей творческой удовлетворенностью, стремлением к поиску отмечены стихи и совсем молодых, таких, как Пельо Пенев, Любомир Левчев, Дамян Дамянов, Слав Хр. Караславов, Станка Тычева, Петр Караангов.

Целеустремленные, ищущие натуры угадываешь сразу в разнообразных, не похожих друг на друга поэтических работах молодежи.

Любовь к родимой земле, готовность правдой и верой служить социалистической отчизне, коммунистической партии, трудовому народу, отстаивать завоевания революции, плоды борьбы, покончившей навсегда с монархо-фашистским режимом, — таковы главные мотивы произведений талантливой поэтической смены.

Справедливости ради следует сказать, что в творчестве молодых встречаются еще порой элементы некоторой декларативности, непреодоленной схемы, заметных посторонних влияний, но в основе своей стихи молодых болгарских поэтов свидетельствуют о богатстве красок, о множестве приемов растущей, расцветающей поэзии раскрепощенного трудолюбивого народа. Вдумчивая учеба у классиков болгарской литературы — Христо Ботева, Ивана Вазова, Пейо Яворова, Христо Смирненского,

Никола Ванцарова, стремление перенять огромный опыт советской поэзии делают свое дело.

Есть в молодой поэзии болгар просто первоклассные образцы лирики. Вот как, к примеру, трогательно и человечно говорит о своей стареющей матери Пеньо Пенев:

Но не печалься, мама, будь горда,
пусть это глаз твоих не омрачит —
ведь в мире только то не отцветает,
что не цветет и не дает плода.
А ведь с тобою рядом, глядя прямо,
строитель-сын стоит на страже, мама!

Мужает, идет в гору солнечная, правдивая поэзия новой Болгарии. Мне недавно пришлось быть в Софии на международном слете поэтов, на праздновании Дня поэзии болгар. Я своими глазами увидел это всенародное ликование, эти многолюдные сердечные встречи садоводов и сталеваров, горняков и хлеборобов, солдат и студентов со своими поэтами. Народ и время не обманешь: есть что послушать и есть что почитать в книгах современных болгарских поэтов!

Полезное, доброе дело осуществило издательство «Прогресс» в Москве, выпустив в свет сборник «Радуга», снабдив его коротким, но дельным предисловием Евгения Винокурова.

Нет сомнений, «Радуга» найдет прямой путь к сердцам широкого советского читателя, умеющего ценить искусство поэтического слова.

ПЕРЦЕМ ПЕСНЮ НЕ ИСПОРТИШЫ

Редко, к сожалению, очень редко наши издательства выпускают в свет книги подобного рода. Да издательствам, собственно, трудно и поставить в вину это обстоятельство: такие книги очень редко пишутся! Кадры писателей-сатириков, писателей-юмористов, надо сказать прямо, весьма малочисленны.

Сборник сатирических стихотворений украинского поэта Степана Олейника «Наши знакомые» — улыбкающая книжка, населенная добродушно смеющимися людьми.

Самым существенным ее достоинством является жизненность. Ничего не выдумывает автор-сатирик, все к нему приходит из действительности, все выглядит естественно, правдиво.

Степан Олейник умеет наблюдать, умеет видеть смешное, умеет смехом «любить и ненавидеть».

Лучший отдел книжки — «Приметы весны». Почти в каждом стихотворении этого отдела рассказана запечатленная история, которая происходит на нашей советской земле, в разных условиях: в обстановке активного строительства — на колхозном поле, в вагоне мчащегося поезда, в хате хлебороба Героя Социалистического Труда, в зале заседаний.

Независимо от места действия герои Степана Олейника чувствуют себя уверенно, они по-хозяйски гостеприимны, по-советски прямолинейны. Горды своим счастливым отечеством.

Реалистическое изображение увиденного, стремление быть понятным читателю до конца, желание не только развлечь читателя, но и сообщить ему новое — отличительные черты творчества талантливого украинского сатирика Степана Олейника. Даже тогда, когда поэт, усложняя сюжет, идет путем необходимого художественного вымысла, кажется, что он не отступает от факта, — так предельно похоже изображаемое поэтом событие на неприкрашенную правду. Знакомясь с героями стихов, хочется сказать: так есть; или: так должно быть; или: так обязательно будет!

Не берусь утверждать, которое из стихотворений-рассказов наиболее ярко иллюстрирует нашу мысль, но можно сказать наверняка, что в любом из стихотворений книги, особенно из начального ее раздела, найдутся примеры для подтверждения этой мысли.

Возьмем стихотворение «Микола Калюжпый». Вот его содержание. Собрание колхозников подходило к концу. На собрании в тот вечер как раз горячо обсуждались вопросы дисциплины. И вот «под занавес», так сказать, к шапочному разбору, в помещение врывается промокший до нитки, взлохмаченный, запыхавшийся колхозник Микола. Весь гнев коллектива обрушивается на опоздавшего, на злостного нарушителя дисциплины. Кто-то даже острит язвительно, под анлодисменты всего собрания: «Наверно, пришел подписать протокол?!»

Вскипел секретарь: — Проучить! Наказать!
Пускай уважает собрание!
Калюжному падо сейчас записать
От имени всех
Порицание!.. —
Сказал и уселся. Схватил карандаш
И грифель нацелил в тетрадку.
Прорвало Миколу:
— А ну-ка, уважь!
Давай доложу по порядку!.. —
Поднялся в президиум, стал у стола
И начал:
— Такая причина...

Из доклада взволнованного Миколы выясняется, что он по пути на собрание трижды вынужден был изменить маршрут, спасая колхозное добро от разбушевавшейся стихии.

На току разметало ветром снопы — Микола уложил их в кучу под навес, мобилизовав для этого колхозных сторожей.

Только справляясь со снопами и побежал было на собрание — услышал с фермы крик колхозницы Каленихи Мотри. Телята, испугавшись грома и молнии, сломали частокол и убежали в поле. Гонялся за телятами по поскотине, всех, собрав в кучу, обтер, как малых детей, пересчитал, успокоился. Снова бросился на собрание, да увидел на подворье покинутый воз с ценной поклажей, впрягся в оглобли, отвез в сарай, под прикрытые. И, наконец, измученный, добрался до цели... Вот причина

опоздания! Зад аплодирует, все восхищены Миколой, и вместо порицания растроганные люди выносят оторопевшему Миколо великую благодарность. Неожиданная концовка, нежная сцена признания заслуг Миколы делают стихотворение теплым, обаятельным, образ Миколы выглядит запоминающимся, милым, живым.

Так же изобретательно, оригинально и убедительно написан фельетон «Дипломат», в свое время опубликованный журналом «Крокодил» и заслуженно обративший на себя внимание широкого читателя:

Лишь собрался поужинать Гнат,
Тут записку приносят до хаты:
Едет в гости, мол, к вам дипломат,
Приготовьтесь встречать дипломата.

Действительно, в колхозное село с целью «увидеть собственными глазами» жизнь и быт советского крестьянства, приехал заморский гость из Вашингтона. Жена Гната принарядилась, прикрепила на пиджак мужа Золотую Звезду и ордена, как полагается в торжественных случаях. Встреча состоялась у Гната в хате:

— Я, — ответил хозяин кивком. —
Господин дипломат? Заходите!
Что приму не за «круглым столом»,
Уж за это меня извините... —

(Был, как видите, Гнат из таких,
Что в карман не полезут за словом.)
Началась «ассамблея» у них
За квадратным столом, за дубовым.

Важный, надменный гость с холодной учтивостью выражает прославленному бригадире свое намерение познакомиться с опытом коллективного хозяйства детально. Далее стихотворение развивается с такой стремительной прощесской выразительностью, что мы себе позволим процитировать из него целый кусок:

Соблюдая положенный такт,
Гнат сказал: — Очень рад убедиться
В том, что сэр (знаменательный факт!)
У колхоза не прочь поучиться.

А на просьбу ответу вам так:
Бесполезен наш опыт артельный
Вашим фермам, где каждый батрак —
Раб господский, а сам безземельный!

Дипломат стал от бешепства сер.
Душит сэр старинная злоба:
— Это ведь агитация, сэр!
Я, по-моему, гость хлебоборба!

Тут пробил час на стене.
Бригадир говорит осторожно:
— Может быть, вы позволите мне
Поразвлечь вас слегка, если можно?

Вот вы в хате моей, по душа —
Там, в Америке, скажем-ка честно.
И послушать теперь «голос США»
Будет очень для вас интересно!

Зашипел тут приемник эмсей...
Просит ужинать Гнат дипломата.
Завязался невиданный «бой»
Меж Нью-Йорком и хатою Гната.

Диктор: «Град и палет сарапли...
Урожаю советскому гибель...»
А хозяйка песет калачи!
Дипломат тихо цедит: — Шпасибо!..

Диктор: «...Там, на Украине всей,
В реках начисто вымерла рыба».
А на стол подают карасей!
Дипломат шенелявит: — Шпасибо!

Диктор: «...Там электричества пот,
Каганцами закопчены хаты...»
Гнат зажег электрический свет.
Люстра светит, слепя дипломата.

Диктор: «...Песен теперь не поют
Украинские девушки, хлопцы...»
А из клуба ребята идут.
«Ой ты, хмелю...» — до хаты песетел.

— Ешьте, сэр,— бригадир говорит,—
Вы ж надолго приехали в гости! —
Дипломат на приемник глядит,
То зеленый, то белый от злости.

Закачивается эта своеобразная «дипломатическая беседа» внезапным нарушением этикета: гость хватает шляпу и опрометью кидается вон из хаты, к своему автомобилю. Казалось бы, комизм случившегося очевиден и достаточен для завершения фельетона. Но Степан Олейник, будучи художником, великолепно чувствующим «сущность смешного», не успокаивается на

этом, он замыкает юмористический рассказ тончайшей по своему остроумию концовкой. Остроумный поэт понимает, что перцем песню не испортишь, предоставляет слово жене Гната.

Лишь отъехал с тем гостем шофер,
Так жена бригадире сказала:
— Двадцать лет прожила с вами, «сэр»,
А что вы дипломат — и по знала!

Композиционно фельетон построен просто, но в этой простоте — искусство доходчивости и дальнобойности. Смело найденный и отлично использованный прием «столкновения лбами» капиталистической кривды и советской правды дает удивительно эффектный результат: надменный гость, приехавший «разоблачать», оказывается сам в положении разоблаченного.

«Дипломат» — произведение с широким политическим диапазоном, в нем и наша советская истина, и наша советская гордость, и развенчание педругов наших.

На таком же высоком комедийном уровне написаны и другие вещи цикла «Приметы весны» — «Рассказ галчанки», «Император», «Необычный пассажир», «Гостеп», «Ровесники», «Десант».

Обеими хочется отметить стихотворение «Ровесники». Точно и кратко написанное Степаном Олейником и так же точно и чисто переведенное с украинского на русский язык А. Безыменским, оно по всей внутренней стройности, по музыкальности рефренов роднится с песней, а по содержанию своему напоминает поэму-минигиатуру.

Понстине — словам тесно, а мыслям просторно.

Цикл «Наши знакомые» — серьезное достижение нашей советской сатирической литературы.

Гораздо слабее два других раздела книги. Здесь мы встречаемся с сюжетной рыхлостью, с общими, иногда утомительно трескучими рассуждениями.

Некоторые стихи раздела «Выпадет и так», такие, например, как «Одарка с пережитками», написаны неоправданно длинно, без правильного ощущения «закопов» юмора. Подчас чувство вкуса изменяет Степану Олейнику, и он допускает грубоватость, даже неграмотность:

...Фрося — к пой. — Да что вы спьяну?! —
Вышла бабка, чуть жива.
На ухах у ней сметана,
И в сметане голова (?).

Уши, как известно, находятся не на спине, а на голове, стало быть, описывать их раздельно от головы — невозможно.

В «Ромашке», стихотворении в целом удачном, мешает навязчивая потка разжевывания смысла.

В стихотворении «Поджигателям войны на память» и «Сэр Макитра» такое количество грубых ругательных слов, что порой кажется — читаешь не Степана Олейника, а какого-то другого, пезадачливого стихотворца. Правда, речь в этих вещах идет не о полевых цветах, а о поджигателях войны, по уснащать стих без конца выражениями, вроде «по прифонам здесь он шлялся», «но не сдох бандит прожжепный», «залагал штаны оп сзади», «Бн-Бн-Си брехней и визгом», «плюнут в морду мне — я вытру», «кем он сдохнет — я не знаю» и т. д. — это значит идти путем самым легким, быть неразборчивым, невзыскательным. На этом пути трудно, почти невозможно вызвать сочувственную улыбку читателя, а следовательно, трудно достигнуть цели — нанести удар средствам смеха.

Упреки подобного рода в меньшей степени, по все же следует адресовать «Похождениям Перца». На этот раз ругательства смягчены, по они заменены, так сказать, перечислением, вернее, нагромождением сухих газетных фраз, не оживленных лукавой поэтической выдумкой. Поэтому, несмотря на тщательный перевод, «Похождения Перца» остаются сочинением схематичным, вялым, вызывающим относительно равнодушие читателя.

Не указать на эти недостатки Степану Олейнику нельзя: сатирический талант его находится в расцвете, энергичная проническая муза его парализует мускулы, и дело критика — помочь ее совершенству.

ПОПОЛАМ С СОЛНЦЕМ

Редко-редко удастся автору — будь то прозаик или поэт — придумать такое название своей книги, чтобы оно точно выражало ее содержание.

Чаще всего книга (особенно это распространяется на стихотворные сборники) носит приблизительное, условное наименование.

А вот в данном случае, мне кажется, книжка стихотворений названа очень верно, даже можно сказать — исчерпывающе верно.

На обложке стоят три слова — «Жить до жить».

Стихи эти написал молдавский поэт Петря Дарнепко, а перевел их Сергей Смирнов.

Жизнерадостный, светлый тон большинства произведений, включенных в сборник, создает картину душевной приподнятости, от каждой строки веет верой в труд человека, любовью к природе, слова не просто звучат, а ликуют. Книжка наполнена солпечным ветром возрождения и обновления.

И впечатление это рождается не случайно, оно возникает логически: ведь речь идет о Молдавии.

Невольпо вспоминается многострадальная история благодатной южной земли, бесчисленные невзгоды и лишения, тяжелые испытания трудолюбивого народа-песенника, нашедшего наконец свое счастье.

Чем была Молдавия до Октябрьской социалистической революции? Одной из самых глухих окраин царской России, полосой сплошной неграмотности. Чем она стала теперь, в годы Советской власти? Цветущей республикой, богатым краем высокой духовной культуры, передовой промышленности, общего национального подъема.

Так как же не славить, не возвеличивать родную землю ее художникам! Петря Дарнепко и является лирическим историком Молдавии, ему удастся с подкупающей искренностью, без треска, без риторики, но возвышенно говорить о своем обновленном отечестве.

В поэме «Здравствуй, грядущее!», недавно напечатанной в газете «Правда» и вошедшей в сборник «Жить

зрачные струи студеного родника, лепечущего среди
ивняковой чащи, призывающего людей утолить жажду,
теплые сады, отягощенные благоухающим грузом со-
зревших плодов, бескрайние виноградники, пастбища и
пашни.

Ароматом свежескошенного сена, знойным запахом
цветов, плеском морской волны, трелью жаворонка и
песней соловья наполнены страницы книжки.

Богатая природа Молдавии в поэзии П. Дарепко жи-
вет в солнечном союзе с трудовым человеком, с его
революционным характером, в тесном контакте с поры-
вом строителя новой жизни.

Чувствуется, что поэт умеет видеть, выделять и под-
черкивать главное, отвергать второстепенное.

Такие стихи в книжке, как «Над земным морем»,
«Жить и умереть», «Мой народ» и «Ответ моему крити-
ку», свидетельствуют о большом гражданском темпера-
менте поэта, о хорошем умении образно мыслить, нахо-
дить верное определение.

Яркость красок и эмоциональность — верные спутни-
ки таланта, Петря Дариенко — счастливый обладатель
этих завидных качеств. Наличие пылко этих качеств
позволяет ему остановить внимательный взор читателя
на своих стихах.

В этой связи уместно вспомнить Белинского, кото-
рый, анализируя стихотворения Владимира Бенидиктова,
сказал когда-то:

«...В самом деле, много ли надо таланта, чтобы обра-
тить на себя внимание стихами в наше прозаическое
время?»

Перефразируя Белинского, можно сказать: да, пе-
мало надо таланта, чтобы обратить на себя внимание сти-
хами в наше поэтическое время!

Добрым похвальным словом, конечно, следует помя-
нуть поэта Сергея Смирнова, пропикшего в самую суть
талантливов подлинника, показавшего высокий пример
добросовестного переводческого искусства.

МАСТЕР ТАТАРСКОЙ ПОЭЗИИ

Сорок с лишним лет звучал в многонациональной нашей литературе голос выдающегося татарского поэта. За эти годы он создал немало замечательных стихов и поэм, изданных на родном языке, переведенных на русский и на языки народов СССР. Поэт широкого политического кругозора, активный общественник, Ахмед Ерикеев был поэтическим летописцем Советской Татарии, певцом новой жизни республики, глашатаем всех ее социалистических преобразований.

Конечно, А. Ерикеев — лирик, но его творчеству свойственна эпическая манера письма. Именно эти характерные свойства его поэзии — стремление к сюжетности, элемент повествования в сочетании с доброй лиричностью — делают многие стихи А. Ерикеева индивидуальными, запоминающимися.

Органическая преемственность классического последнего татарской поэзии, своеобразное восприятие реалистических приемов таких мастеров, как Тукай и Такташ, умелое использование фольклора, стремление к освоению великой русской культуры помогли А. Ерикееву говорить в своих стихотворениях о самых, казалось бы, прозаических вещах с подлинной поэтичностью.

Коллективизация, добыча нефти, строительство промышленных предприятий, культура на селе и в городе, — все это находит взволнованный отклик в сердце поэта.

Наиболее плодотворно А. Ерикеев проявил себя в песне. Сохраняя почти все особенности эпического жанра — сюжет, занимательность, диалог, придавая песне необходимую ей краткость и афористичность, А. Ерикеев добился на этом пути значительных успехов. Песни его, отличаясь простотой и сдержанностью, одновременно насыщены беспокойным чувством бурного времени. Особенно популярны песни А. Ерикеева на молодежные темы. Свидание, свадьба, верность, ревность, разлука — понятия, разумеется, отнюдь не новые, они справедливо отнесены в искусстве к разряду так называемых «вечных тем». Од-

нако полнза освещения этих старых попятий, оригинальное их решение приводят поэта к желанному результату: песни на старые бытовые темы воспринимаются по-новому. Народ, особенно молодежь, подхватывает их. И тут главную роль играет злободневное в лучшем смысле этого слова отношение поэта к выбору материала для своих песенных созданий.

А. Ерикеев умел быть личным, раскрывал несколькими точными штрихами внутренний мир своих героев, люблленно живописал природу родного края, пленительные картины Прикамья. Он рисовал образы хлеборобов, передовиков производства, восторженно пел о дружбе многоязычного братства. Он возмелчичкал свободный труд, славил жизнь, шел следом за своей мечтой:

Я в труде, в дыму, в огне
Счастлив был в родной стране,
Никогда не ждал, что счастье
С неба свалится ко мне.

Он стремился жить в полную силу еще много лет:

Дорога, дорога, будь долгой и трудной,
Но только последней не будь!..

Как горько, но как правдиво и человечно звенят эти жизнелюбивые и мужественные слова! Обширен перечень известных песен и романсов А. Ерикеева, распеваемых в народе. Песни на слова поэта можно услышать и в передачах по радио, исполняются они и самодеятельными и профессиональными певцами. Поют их в Башкирии и Казахстане, в Московской области и в Сибири, в Поволжье и в Закавказье, а в Казани и во всей Татарии едва ли встретишь человека, который не знал бы поэзии Ерикеева.

Вот наиболее известные его песни: «Песнь о дружбе», «Народу русскому привет», «Вясов запахло сиренью», «Пусть цветет земля», «Наши парни и девчата», «Две звезды», «Обняла нас тишина», «Комсомолка Гюльсара», «Черемуха моя», «Я пел, чтоб мир был светел», «Песня о Волге». С лирическими рассказами А. Ерикеева подружилась музыка таких видных татарских композиторов, как Сайдашев, Габяши, Яруллин, Жиганов, Музафаров, Ключарев, Файзи, Фаттах. Верный сын своего народа, старый член Коммунистической партии, познавший в

детстве эксплуатацию богатеев, раскрепощенный Октябрем, возвращенный Советской властью, он неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР, награждался орденами и медалями родины. Благодаря таланту Ахмеда Фазловпча Ерикесва русский читатель еще глубже и крепче полюбил храбрый, трудолюбивый народ Татарстана. Поэты России склоняют головы перед светлой памятью ушедшего друга.

1968

А. А. А. А. А.



БЛИЗКИЕ ИЗДАЛЕКА

УМА ПАЛАТА

Конечно же, самую верную, исчерпывающую оценку басенному искусству Ивана Андреевича Крылова дал Белинский. И будь ты хоть семи пядей во лбу, все равно не минуешь глубоких и точных слов великого критика о великом баснописце.

Взять бы, кажется, удержаться, по нет сил не повторить: «Множество стихов Крылова обратилось в пословицы и поговорки, которыми часто можно окончить спор и доказать свою мысль лучше, нежели какими-нибудь теоретическими доводами». Дедушка Крылов! Воистину ума палата — каждый раз читаешь лукавые притчи, как в первый раз!

Воинствующий патриотизм, гуманность, «здравый практический смысл» — все это чудодейно слилось в мудром крыловском творчестве и завладело человеческими сердцами на веки вечные. Ипосказательный прием, отточенный до безукоризненности, доведенный до совершенства способ разговорности, неременный нравственный вывод без пафоса, без пафоса торчащего «указующего перста» — все это давным-давно стало высоким примером для писателей-сатириков, для преподавателей-словесников, для артистов-чтецов.

Осмеянный Лжец, развенчанная Спесь, пригвожденная к позорному столбу Алчность, посрамленная Трусость, осужденное Легкомыслие, разоблаченная Лень и многие-многие другие людские пороки названы по имени, вылеплены, выточены, выгравированы удивительным мастерством пронычского пера. Сословия, профессии, возрасты, наклонности, привязанности и прочие земные «опознавательные знаки» человеческого рода даны в ярких

образах, в незабываемых действиях, в раз и навсегда оформованных характерах.

Метко. Общедоступно. Целесообразно.

Прибегнув к древнему басенному жанру, по решительно обновив его реалистическими красками, вдохнув в него могучий дух живой народной речи, Крылов создал перукотворное чудо: целый мир нарицательных типов.

Крылов, можно сказать, познал «тайную жизнь» животных, птиц, насекомых и растений. Зоркий художник в нем словно бы побратался с пристальным зоологом и естественником, и упрямо пропик в «психику» четвероногого и крылатого населения. Повадки тех и других Крылов ухватил с ловкостью необычайной. И, что самое примечательное, применяя повадки зверей и птиц к поступкам людей, нигде, никогда, ни разу не нарушил равновесия характеристик.

Уж если у Крылова трудолюб — так это не кто-нибудь, а муравей, если осел — так ротозей-бестолочь, если свинья — так лежебока-обжора, если беспечность — так стрекоза и т. д. Каждому — своя логичная мета.

И тут я позволю (уже не в первый раз!) сделать упрек нашим современным начинающим (а иногда и опытным) баснописцам: не громоздите ералаш! Не делайте лису душой, не заставляйте курицу плавать, не приписывайте зайцу храбрость! Учитесь у Крылова терпеливо и честно.

Я даже, с целью ограждения безвиных животных от нашествия бездумных любителей эзоповского языка, сочинил пародию-басню под названием «Баран-баснописец».

Вот ее начало:

В один журнал принес один Баран
одну плохую побасенку.

Редактор с ходу взят был на таран.

И вот в журнале,

на одну колонку,

с рисуночком в кудряшках завитых
был обнародован нехитрый стих.

Не басня... Так — трава пырей, сырье:

ослы... козлы... такие и сякие...

Казалось бы, зачем ругать ее,

ведь пишут же про разное зверье
и Михалков, и прочие другие.
Прочтешь-зевнешь, а то чуток — вздремнешь,
и позабудешь стадо зоопарка.
Зверям оно, конечно, нестерпимо,
по людям-то ни холодно, ни жарко.

В блистательных творениях Ивана Андреевича Крылова, в самой натуре поэта, рядом с едким сарказмом, с издевкой и отрицанием, жил светлый гений доброты, похвалы и утверждения.

В своей непревзойденной яносказательной поэзии Крылов сумел поселить на равных правах гнев и любовь, презрение к тупеядству и уважение к труду.

Весь свой редкий дар острослова и провидца Крылов отдал на благо родного народа.

За это вот уже значительно более полутора веков не-
печислимые соотечественники Крылова передают его яс-
ное слово из уст в уста, храпят в благодарной памяти
и любят и гордятся полетом крыловского слова за
моря и океаны.

1968

ПЕВЕЦ СВОБОДЫ И ЛЮБВИ

Собираясь минувшей осенью поехать в Венгрию, я раздобыл разные популярные словари-справочники, географические карты, рассказывающие про эту красивую страну.

Все, что раздобыл, — прочитал, проштудировал с карандашом в руках, сделал выписки в дорожную тетрадь. Ну, думаю, теперь я хоть минимально, но все-таки вооружился: буду шагать по венгерской земле не вслепую.

Умом рассудил с холодным расчетом, а внутренне тревожился: чего-то не хватало.

И тут вспомнил — великая истина гласит: если хочешь всерьез узнать чужую страну, если намерен сердцем почувствовать малознакомую землю — прочитай ее лучшего поэта.

И вот передо мной четыре синих, с золотым тиснением тома Шандора Петефи.

Поочередно раскрываю каждый том и погружаюсь в зеленый, алый, голубой, певучий мир лучащейся поэзии. Шелест листвы горного вяза и дуба, ароматы полевых трав из междуречья Дуная и Тисы, устойчивый приятный запах яблок летят па меня с каждой страницы.

Плеск волны озера Балатон, переплетающиеся голоса струнного кобоза и скрипки, фуруй и цимбал слышу я, вихревые ритмы чардаша будоражат мое воображение.

А самое главное — как живые встают перед глазами люди, сыны и дочери гордой и песенной Венгрии.

Под чародейским пером Шандора Петефи все цветет, пенится, звенит, воскресает и зовет в дорогу, на поиск в битву за справедливость.

Я прочитал и перечитал все четыре книги, и мне хочется рассказать о них по возможности подробнее.

Ведь в таком полном виде, во всем многообразии жанров своего творчества, во всю широту художественного дара и революционного темперамента, на русском языке Шандор Петефи существует только у нас, в Советском Союзе.

Страстная поэзия Петефи известна русскому читателю еще со времен Некрасовского «Современника», когда

я качестве переводчика и пропагандиста творчества венгерского певца свободы и любви выступил известный писатель, революционер-демократ М. Л. Михайлов.

Царское правительство сделало все для того, чтобы приглушить голос Шандора Петефи. Полицейский цензурный режим самодержавия не позволил широко распространиться свободолюбивым стихам Петефи.

Только после Великого Октября русский читатель смог близко познакомиться с боевой лирикой глашатая венгерской свободы.

Наиболее ценным был сборник Петефи, опубликованный в нашей стране в 1948 году, составленный из переводов известных советских поэтов. Но каким бы он был значительным изданием 1948 года, оно не может идти в сравнение с четырехтомным капитальным изданием.

На этот раз мы имеем возможность проследить возникновение и развитие огромного таланта Шандора Петефи, в подробностях разглядеть источник его вдохновенной поэтической речи, с хронологической последовательностью, без больших разрывов и скачков во времени, изучить процесс стремительного роста прекрасной и мятежной музыки. Именно эта сторона дела — полнота текста, строгое соблюдение принципа бережного отношения к последствию — делает гослитовское издание художественно и исторически ценным.

В первом томе собраны стихотворения, написанные поэтом в период 1842—1846 годов. Это — период поэтической юности Петефи.

Первая книга открывается великолепным, полным светлого лиризма стихотворением «На родине» (перевод Б. Пастернака).

В нем отразились горячие чувства молодого патриота, успевшего на заре юности, в поисках хлеба и счастья, исколесить просторы родной обездоленной земли и увидеть и почувствовать произвол и бесправие, которыми придавливал трудовой народ Венгрии властители-феодалы и австрийский император.

Много горя и унижения хлебнул талантливый юноша, скитаясь по дорогам отчизны и не находя применения своим недюжинным способностям, много обид запечатлела душа, но не охладела к родному краю, наоборот,

еще крепче полюбила его прочной, хотя и грустной любовью.

Степная даль в ишенице золотой,
Где марево колдует в летний зной
Игрой туманных, призрачных картин!
Вглядись в меня! Упала? Я — твой сын!

Когда-то из-под этих тополей
Смотрел я на летевших журавлей.
В полете строясь римской цифрой пять,
Они на юг летели зимовать.

В то утро покидал я отчий дом,
Слова прощанья лепеча с трудом,
И вихрь унес с обрывками речей
Благословенье матери моей.

В этом прочувствованном стихотворении соединились две характерные черты раннего Петефи-лирика: безмерная любовь к отчужденному краю и размышления о его печальной участи, горькие мысли о собственной голодной жизни скитальца. Здесь же мы находим все элементы яркой индивидуальности Петефи как пейзажиста и рассказчика, щедрого на раздумья.

Но, любуясь лиричностью поэта, мы не обнаруживаем еще тех громких, негодующих нот социального протеста, которые появятся в поэзии народного печальника в скором будущем. Это произойдет в 1843-м и особенно в 1844 году, когда из-под пера молодого воинствующего лирика, кроме ряда превосходных обличительных стихотворений, выльются, одна за другой, две замечательные поэмы — «Сельский молот» и «Витязь Янош».

В поэзию Венгрии придет новатор, открыватель ясного народного стиля, певец нелегкой жизни трудового народа, обладатель естественного, прозрачного, как горный ручей, литературного языка.

Первый и второй тома хронологически объединяют десятки отличных образцов высокой гражданской лирики Петефи, показывая в полный рост революционный пафос и романтическую, полную стремительной фантастики, озаренную верой в приход светлого будущего, могучую силу его тревожного, звучного слова.

Читая, буквально не знаешь, какому стихотворению отдать предпочтение, — так хороши многие.

А как бы хотелось целиком привести такие шедевры

поэтического творчества Петефи, как «Сумасшедший» (перевод Л. Мартынова) — стихотворение, которое звучит как беспощадный, суровый приговор алчной своре власть имущих, тупым дворянам, грубым торгашам, убивающим на корню творческую мысль народа, топчущим душу простого труженника!

А как убедительно выглядят сатирические «Песня собак» и «Песня волков» (перевод Н. Тихонова), с убийственным сарказмом и пеподкупной гордостью высмеивающих всегда сытых любителей подачек с барского стола и, наоборот, возвеличивающих всегда голодных, но зато вольных рыцарей свободы.

Нежностью и искристым юмором пропизано детское стихотворение «Лаян Араню» (перевод С. Маршака), в котором рассказана забавная и поучительная история с упрямым сусликом.

Годы поэтической зрелости Петефи увенчаны целым рядом блестящих по форме и богатых по содержанию поэтических созданий, среди которых одно из первых мест занимают стихи «Поэзия» и «Мой Пегас» (перевод Л. Мартынова).

Поэзия не зал и не салон,
Где избранное общество расселось,
Как лук-порой в салатнице... О пет!
Поэзия — такое это здальце,
Куда войти свободно могут все,
Кто хочет думать, чувствовать, молиться...
Что апаете о храме вы таком?
Поймите: это храм, в который можно
Войти в лаптях и даже босиком!

Эта здравая, горделивая мысль о демократичности поэтического искусства получает дальнейшее свое развитие в «Моем Пегасе», где с еще большим жаром и патриотической горячностью Петефи говорит о назначении своего творчества, о принадлежности своего дарования к могучему народному дереву мудрости.

При этом поэт не ограничивается только утверждением истины, а зовет к борьбе, кличет Пегаса на подвиг, на бой с реакционной бандой насильников свободного поэтического слова.

Он, Пегас мой, не скакун английский,
С тонкой псией, с длинными ногами,
И не жирный домовля немецкий,
Что идет медвежьими шагами.

Мой Пегас — венгерец чистокровный, —
Вот какой я прелестью владею!
Солища луч на этой гладкой шерсти
Поскользнется и сломает шею!

...Никогда Пегас мой не устанет,
Что ни час, то неустанней мчится.
Так и надо мчаться, потому что
Далека мечты моей граница.

Мяцсь, Пегас, скачи через овраги,
Удержи не зная никакого,
А противник встанет на дороге —
Растопчи такого и сякого!

Прекрасны стихи «Все говорят, что я поэт» (перевод В. Ийбер) и «Степь зимой» (перевод Б. Пастернака). Каждое по-своему, они наглядно показывают шедрость красок, которыми владеет Петефи, эмоциональную напряженность стиха, человечность и правдивость подлинной поэзии.

На все возрастающей волне гражданского пафоса, достигая уже вершин социального гнева, возвышенно и торжественно звучат стихотворения «Австрия» (перевод Л. Мартынова) и «Венгерский парод» (перевод М. Исаковского).

Во втором томе сосредоточены главным образом зрелые произведения Петефи, созданные им в годы расцвета его политического таланта, и затрудняешься, повторю, в выборе их. Не просто, например, ответить на вопрос: какое стихотворение совершенней — «На рождение моего сына» (перевод Н. Чуковского) или «Гонвед» (перевод Л. Мартынова)?

В третьем томе собраны поэмы, начинающая с юношеского «Сельского молота» и кончая «Апостолом».

Девять поэм Петефи — это девять красочных повествований об истории и жизни своего народа, о красоте величавой природы Венгрии, о превосходстве ума и сердца трудового человека над тупостью и жестокостью богача.

То лирически-задумчивое, то прощически-лукавое, то грозное, стремительное, перо Петефи рисует образы друзей и врагов его милого отечества.

С веселой издевкой, остроумно и запальчиво развенчивает поэт в «Сельском молоте» (перевод Л. Мартынова) надутую, ложноклассическую поэзию дворян. Как вызов застоившемуся «общественному вкусу» принимает

благодарный читатель смелый поэтический ход — ввод в центр действия поэмы трех героев из народа: сельского кузнеца, певчего и шпикарку. Изобретательно, как истый пародист, высмеивает поэт трескучую, папыщенную болтовню о «подвигах» дворянских предков.

Увлекательно также написана повесть в стихах «Витязь Янош» (перевод Б. Пастернака).

Живо, в духе старинных венгерских сказов, слетаясь всеми огоньками народного юмора, переплетаясь с былью, течет рассказ о пастухе-подкидыше, преодолевающем на своем пути все невзгоды и празднующем победу над превратностями судьбы.

В этой повести — мечта венгерского народа о счастье и вера в то, что оно рано или поздно придет.

Одна за другой, как волна за волною, рождаются поэмы Петефи в кратчайший срок — с конца 1845 до середины 1846 года.

Лирические, исполненные тончайших любовных переживаний «Волшебный сон» (перевод Б. Пастернака), «Проклятие любви» (перевод Н. Чуковского), «Пшита Силай» (перевод Н. Чуковского), «Шалго» (перевод Б. Пастернака) — суровое, несколько отягощенное темными тонами повествование о злодеях и мрачных временах средневековья, о глумлении владельцев старого замка над подневольными людьми.

Затем идет сатирическая поэма «Судья» (перевод И. Мпримского). Жизненно правдивая и реалистически меткая, она обнажает дикие нравы современных поэту «блюстителей закона и порядка», по заслугам воздает неграмотным чиновникам.

За «Судьей» идет «Глупый Иштот» (перевод Л. Мартынова) — веселая история, с благополучным концом, навеянная мотивами венгерского фольклора.

И, наконец, мы знакомимся с самым крупным и самым значительным произведением Петефи — поэмой «Апостол» (перевод Л. Мартынова), которая стараниями буржуазных издателей так и не увидела света при жизни поэта.

Центральная фигура «Апостола», Сильвестр, выходец из низов трудового народа, не покладая рук и не зная страха, борется за раскрепощение простого люда.

Голодая и холодая, Сильвестр пишет книгу, в которой клеймит позором тиранов и палачей, книгу, за кото-

рую его заключают в темницу и держат в ней десять лет. Отбыв срок наказания, выйдя из тюрьмы и узнав, что народ его по-прежнему ходит в ярме, Сильвестр решает убить короля.

Попытка одним ударом покончить с тираном Сильвестру не удается, его казнят. Гибнет за народное дело пылкое сердце героя, но яркий пример беззаветной борьбы с угнетателями вдохновляет молодые сердца соотечественников на борьбу с бесправием и народ в конце концов одолевает несправедливость.

Таков сюжет этой пламенной трагедии, заключающей в себе не только героическую историю самоотверженного Сильвестра, но и всю сущность и весь гуманный смысл творческого подвига самого Шандора Петефи, отдавшего жизнь в боях за счастье своего народа.

Поэма «Апостол» — великая исповедь мятежной и честной души, исповедь гневного и сильного чувства. В этой мужественной и светлой поэме выражены главные, программные идеи, обуревавшие певца свободы.

В заключительном, четвертом, томе Петефи мы знакомимся с его произведениями в прозе — с путевыми дневниками, рассказами, статьями, письмами к друзьям и родным. Из этого тома мы узнаем много такого, что еще более проясняет прекрасный облик борца и ставит на свое законное место многие важные факты его блистательной биографии.

Прежде всего привлекают внимание читателей дневниковые записи, свидетельствующие о непосредственном участии Петефи в боевых действиях революционных масс, мысли о роли прекрасного в сознании человека, взгляды на принципы создания правдивой народной поэзии.

Особенно замечательны и красноречивы две записи: 17 марта 1848 года, то есть в разгар событий в Пеште, говорится: «Какое убожество просить, когда знамение времени — требовать: пора подходить к трону не с бумагой, а с саблей в руке».

И отрывок из письма к другу Яношу Араню, виднейшему поэту Венгрии: «То, что правда, то естественно, то и хорошо, а следовательно, и красиво: вот моя эстетика».

Демократичность взглядов Петефи, его постоянная готовность грудью стать на защиту прав трудового че-

ловека, помощь словом и делом революции, делу обновления венгерской литературы — вот основные черты содержания четвертого тома.

Прочитав все четыре книги, явственно видишь вдохновенного художника, поэта тонкого вкуса, обновителя и создателя литературного языка Венгрии, храброго солдата и патриота, не склонившего головы перед злобными, завистливыми и реакционными судьями, до последнего вздоха оставшегося верным идеалам революции.

А сколько пришлось испытать Шандору Петефи в борьбе за повои! Об этом взволнованно говорит Аптал Гидаш в содержательном и умном предисловии к собранию сочинений своего великого соотечественника:

«Борьба реакционеров против Петефи началась сразу же после выхода первой его книги стихов в 1844 году и не прекращалась целое столетие».

Справедливое, полное исторической достоверности замечание!

Действительно, господствующий класс буржуазной Венгрии в лице реакционных историков и теоретиков на протяжении десятилетий, при жизни поэта и после его смерти, как черт ладана боялся правдивого, мятежного слова Петефи, его небывалой славы и не стареющего с годами, звонкого революционного голоса.

Только освобождение Венгрии от фашистов Советской Армией весной 1945 года окончательно сбilo оковы с вечно живой и призывной музыки певца свободы и любви.

1967

НЕДАЛЕЧЕ ОТ ПОЛТАВЫ

Сто шестьдесят лет прошло с тех пор, как умер великий сын грузинского народа, поэт Давид Гурамишвили. Без преувеличения можно сказать, что только последнее тридцатилетие стало возвестником славы вдохновенного певца благодатной Грузии. Только после справедливых социальных и национальных преобразований, осуществленных Советской властью, имя многострадающего поэта, воина и ученого было выведено из забвения и творчество его стало достойным многоплеменных читателей нашего отечества.

Более чем три полувека полного безмолвия и мрака неизвестности! Только вдумавшись в этот печальный факт, можно по достоинству оценить бурный рост советской культуры, который озарил своим светом все национальные богатства народов, лежавшие под тяжким спудом великодержавного невежества.

На Украине, в Полтавской области, в городе Миргороде и его окрестностях, мне, как члену делегации писателей Москвы, довелось быть свидетелем народных торжеств, связанных со знаменательной датой — столетием со дня смерти Давида Гурамишвили.

Надо было видеть, как в селе Зубовка, где пятьдесят один год прожил поэт, в поздний, предзакатный час собрались колхозники в ярких, праздничных одеждах в ожидании русских, грузинских и украинских писателей, приехавших на вечер, посвященный памяти Давида Гурамишвили.

По старым обычаям, хозяева зажиточного села встретили гостей хлебом-солью. Три самых почтенных по возрасту старожилы-бородача на расшитых, цветных рушниках вынесли навстречу гостям три пышных караваев и вручили их вместе с солью посланцам Грузии — Отару Чхепдзе и Георгию Шатберашвили.

С низким поклоном и трепетным чувством благодарности, целуя душистый и пышный хлеб, приняли сыны

Грузии искренний дар колхозников, символизирующий давнюю и верную любовь украинского народа к прославленному классику грузинской поэзии, соотечественнику бессмертного Шота Руставели.

Сердечные слова взаимного приветствия, сказанные хозяевами и гостями, были полны глубокого чувства признательности, счастливых пожеланий удачи и расцвета, и все, кто присутствовал при этой знаменательной встрече, испытывали трогательное ощущение радости.

Солнце давно уже село за холмами, вокруг упала осенняя ночная прохлада, и степь огласили ночные птицы, а в Зубовке при свете висячей электролампы продолжался задухновенный, торжественный разговор людей.

Особенно отраднo было слышать подробности мужественной биографии певца дружбы русского, украинского и грузинского народов из уст юных зубовцев. Это уже было живым свидетельством растущей популярности Давида Гурамишвили.

С убедительной силой большой художественной правды прозвучало великолепное лирическое стихотворение «Зубовка», написанное поэтом на основе народных украинских песен, исполненное строгой драматичности и лирики.

Прочитанное сначала на грузинском языке, в подлиннике, Отаром Чхелдзе, затем в отличном переводе на русском Николаем Заболоцким, и, наконец, на украинском Олесем Новицким, стихотворение, пронизанное горячей, жертвенной любовью к украинской красавице женщине, очаровавшей когда-то пылкий ум поэта, покорило сердца слушателей своей трагической яркостью.

В этом лирическом шедевре грузинской поэзии отчетливо слышится голос реалиста, голос огромного художника-гуманиста, уже в те отдаленные времена, наперекор установившимся традициям воспеания имущих классов, полюбившего простой трудовой народ и навек отдавшего ему свои симпатии.

Поздней ночью закончилось общеколхозное собрание. Завершилось оно пением народных украинских, народных русских и грузинских песен, мастерски исполнен-

пых коллективом самодеятельности рабочих и служащих миргородского курорта.

На другой день состоялся митинг на могиле Давида Гурамишвили в Миргороде. Несмотря на то что митинг был назначен на три часа дня, уже к двенадцати часам со всего района пешие и конные, на грузовиках, на легковых машинах и велосипедах стекались жители Полтавщины. Под палящим солнцем широким полукругом расположились тысячи труженников Украины, пришедшие поклониться праху человека, который в свое время нашел братский приют на гостеприимных землях Украины, воспел ее трудовой люд и навсегда породнил три могучих народа.

Величественно звучит Гимн Советского Союза. Долгим потоком движутся люди, несущие венки от различных партийных, советских, комсомольских и пионерских организаций. Установленные вокруг мраморного черного обелиска, они образуют радужную, благоухающую пряным ароматом полей живую подкову, слепящую знойной игрой красок.

На высокую трибуну, убранную зеленью, спелыми колосьями пшеницы и ржи, поднимаются ораторы. Выступают: секретарь Миргородского райкома партии Гончаренко, председатель республиканского комитета по проведению столетия со дня смерти Давида Гурамишвили поэт Максим Рыльский, представитель делегации писателей Грузии Георгий Шатберашвили, представитель писательской организации Москвы Николай Заболоцкий, колхозники, учителя, пионеры, учащиеся школы имени Д. Гурамишвили.

Все они славят в своих кратких речах справедливое время, пришедшее на смену бывшему бесправию и угнетению, рапортуют о своих производственных успехах.

В девять часов вечера состоялось торжественное собрание интеллигенции Миргорода.

Еще раз с трибуны городского театра прозвучали голоса признательных труженников, читателей избранных произведений «Давитпаны», павших в прекрасном, звонком стихе великого сына Грузии давние мечты о счастливом будущем трудового человека.

Естественно и уместно на этом собрании были названы светлые имена Пушкина и Гоголя, Т. Шевченко и

Лесу Украинки. В этот день трудящиеся Грузии, одновременно с торжествами в Миргороде, почтили память поэта сооружением памятника в курортной местности Сурами и открытием библиотеки имени знаменитой украинской писательницы.

Память надолго сохранит эти радостные, согревающие душу события, знаменующие собою единство духа братских народов.

1954



Главный маршал артиллерии, Герой Советского Союза Николай Николаевич Воронов отдал без малого пятьдесят лет службе в рядах Советских Вооруженных Сил.

От солдата до маршала — дорога велика. Воронов прошел ее в боях и труде. Неистов и бесстрашен был он на поле боя. Мудрым организатором и прозорливым военачальником представлял он, когда, готовясь к решительной схватке с врагами нашего отечества, растил и закалял на учениях командные кадры артиллеристов, вместе с конструкторами, металлургами и технологами подготавливал новые образцы артиллерийского вооружения, совершенствовал тактику любимого и грозного рода войск.

В гражданскую войну, в жаркие дни пребывания в Испании, на Хасане, на Халхин-Голе, в финской кампании, в освободительных походах, и особенно на полях сражений Великой Отечественной войны, Воронов находился в центре военных событий, на собственном опыте познал горести поражений и радости побед.

Нелегка была роль Воронова в должности командующего артиллерией Красной Армии и командующего ПВО страны. Чрезвычайно ответственны были его полномочия и обязанности как представителя Ставки Верховного Главнокомандования, выезжавшего в действующие войска многих фронтов.

Воронов был одним из выдающихся военных деятелей, стоически и мастерски ковавших победу над врагами, и мы с благодарностью сегодня вспоминаем его имя и всматриваемся в биографию прославленного пушкаря.

В нем слитно сочетались суровость воина и глубокая человеческая доброта. Должно быть, сказывались на нем воспоминания о своем голодном детстве и беспокойной юности. Семья будущего маршала принадлежала к тем, кого в середине прошлого века называли бы разночинцами. Отец был конторским служащим, и семья кое-как сводила концы с концами. Грянул 1905 год. Николай Воронов-старший выразил свое чувство недовольства рабочим, попавшим на его сторону. За это он попал в «черные списки» и вскоре лишился работы. Так на петербургской окраине, в Лесном, появилась еще одна голодающая семья. Бывали дни, когда в ветхом деревянном домишке, который занимали Вороновы, мерзли и буквально голодали.

Домик был стар, плохо хранил тепло и пожирал множество дров, а купить их было не на что. Зимой и ранней весной Вороновы сидели дома, не снимая пальто, на кухне замерзала вода. Иногда дровами выручала бабушка Елена Ивановна. Шестилетний Коля с матерью привозили их на саночках, делали они это темными вечерами, чтобы знакомые не знали о горькой пужде, постигшей семью Вороновых.

Зачастую семья жила на одном черном хлебе и отварной картошке. А иногда и этого не было. Николай Николаевич как-то рассказал о таком случае. Зимним вечером маленькому Коле дали десять копеек и поручили купить хлеба в соседней лавочке — это были последние деньги в семье. Коля побежал, но вдруг поскользнулся и выронил монету.. Он ее долго искал, но не нашел и с повисшей головой вернулся домой. На поиски стертых гривенника вместе с Колей пошел отец, дядя и еще кто-то из родных. В крошечной тьме все они долго искали монету, голыми руками перебирали груды грязного снега и ни с чем вернулись обратно. В тот вечер Вороновы легли спать, выпив горячий кипяток без куска хлеба.

До конца своей жизни маршал Воронов помнил тот сырой, затянутый дымкой петербургский день, когда хоронили мать. Не выдержав пужды, опасаясь заключения в долговую тюрьму, она, молодая, умная, ласковая, покончила жизнь самоубийством. Пугливый, несколько пекучий мальчик шел за гробом рядом с отцом через весь город на Тимофеевское кладбище. Потом он стоял у открытой могилы, на дне которой виднелась вода, слышал шорох земли, падавшей на сосновую крышку гроба, и молча глотал слезы.

— Эх, Валя, Валя, как дорого ты заплатила, — прошептал отец. — У кого вздумала просить милости, у богачей. Знала ведь, что это не люди, а звери, хищные звери...

Было тогда будущему маршалу девять лет. Получил он в те дни жестокий и предметный урок классовой непримиримости, который пронес в своей памяти через всю жизнь. Многого он еще, тогда мальчик, не понимал, но остро почувствовал, что любимую и такую ласковую мать погубили богачи, и лютая ненависть к ним, как он потом признавался, не оставляла его с тех пор.

Получил он в те дни и урок солидарности, взаимной выручки простых трудовых людей. Подруга покойной матери, обремененная заботами о своих собственных детях, взяла к себе на воспитание Колю и его сестренку. А через несколько месяцев отцу неожиданно повезло и он получил постоянную работу. Снова Вороновы зажили большой семьей на станции Удельная, под Петербургом. Поселились вместе отец, бабушка со стороны отца, дядя, Коля и сестра. Дядя был безработным, отец был, по существу, единственным кормильцем в семье, но всем казалось, что главные трудности позади. Стали думать, что надо Колю устроить учиться в гимназию. Но к экзаменам в гимназию его не допустили — отец числился в списках «неблагонадежных».

Занимался Коля дома и на следующий год поступил во второй класс частного реального училища.

Воронов учился хорошо, много читал, — правда, без разбора. За эту неразборчивость отец его поругивал, рекомендовал ему книги, помогающие серьезно смотреть на жизнь. С большой признательностью маршал Воронов всегда говорил о своем отце, который много сделал для формирования характера сына. В годы реакции отец тщательно хранил книги и журналы времени революции 1905 года. Часто собирались у него друзья, завязывались беседы, споры по политическим вопросам. Реалист Николай Воронов внимательно вслушивался в споры старших, и ему неизменно правилась позиция отца, особенно когда он ругал царя и царскую фамилию, помещиков, капиталистов и духовенство.

...Спустя тридцать с лишним лет в осажденном Ленинграде встретились Вороновы — отец и сын. Город голодал, стариков и детей, всех, кто непосредственно не участвовал в обороне Ленинграда, старались эвакуировать в глубокий тыл. Сын был представителем ставки Верховного Главнокомандования, и ему хотелось как-то облегчить участь отца и сестры. Но те наотрез отказались эвакуироваться на Большую землю, они готовы были перенести любые трудности, по принять посильное участие в обороне родного города. Снаряды рвались вблизи учреждения, где работал отец, от взрывной волны однажды вылетели рамы, двери, обвалилась штукатурка, а старик продолжал выполнять свои обязанности. В свободные минуты сын звонил ему по телефону, иног-

да разговор прерывался и в телефонной трубке раздавался грохот разрывающихся снарядов, но через несколько минут сын вновь слышал знакомое покашливание отца...

Мечтал реалист Воронов стать агрономом. Он очень любил природу. Но все сложилось иначе, разразилась война, росла дороговизна, семья снова попала в тиски пужды, нечем было платить за обучение, и училище пришлось покинуть. Но Воронов продолжал учиться, каждый день к концу занятий он приходил к училищу, записывал, что сегодня задано, и затем дома готовил уроки. В 1915 году семья переехала в сельскую местность — там легче было прокормиться, и Николай, не желая бросать учебу, один остался в Петрограде. Вскоре удалось ему поступить на работу — писарем у частного присяжного поверенного. Заодно он начал заниматься на курсах, готовясь сдать экзамен на аттестат зрелости. Но вот отца призывали в армию, и на юношу свалилась забота о содержании всей семьи. Стало очень трудно, но учебу он не бросил. На курсах Воронов подружился с рабочим А. Архаровым, тоже стремившимся получить среднее образование. Архаров был начитан, хорошо знал марксистское учение и с увлечением излагал его Воронову и другим слушателям курсов. И Воронову открылись глаза на многие явления жизни. Не знал тогда Николай, что Архаров — большевик-подпольщик. Не знал он также, что друг отца Н. Плаксин — тоже большевик. Но общение с большевиками не прошло бесследно для подростка, он понял, что старое общество обречено, предстоит упорная борьба за власть трудового человека.

Бурные дни Февральской революции. Водоворот народных потрясений. На площадях не прекращаются митинги, горячо вслушивается в речи подросток Воронов. Ему все больше нравится позиция большевиков, их правдивость, ясность целей. Он стал копимать, что мало еще смыслит в теории, и запялся чтением политической литературы. Упорно он штудировал книгу Г. Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». И снова Архаров помогал ему разбираться в прочитанном.

И тут в жизнь, в сознание молодого Воронова вошло событие, потрясшее его до глубины души. Он увидел и услышал Ленина.

Николай Николаевич в моем присутствии неоднократно рассказывал о первой встрече с Ильичем. Не берусь дословно воспроизвести рассказ, по возвышенную суть его воспоминаний я закрепил в памяти основательно. Обычно неторопливый в беседе, интонационно ровный, не допускающий эмоциональных взрывов, при упоминании имени Ленина Воронов становился вдруг поэтически порывистым. Видно было, что давняя сцела встречи с живым Владимиром Ильичем оставила в его душе неизгладимый, радостный след.

Дело было в Петрограде в начале апреля 1917 года. Восемнадцатилетний Коля Воронов с отцом, который прибыл делегатом полкового солдатского комитета, вечером шел домой к себе. Неожиданно оба оказались в людской коловерти и попали на Петроградскую сторону. В толпе раздавались возгласы «Ленин приехал!», «Выступать будет!», «Сейчас увидим Ленина!».

Плотной стеной стоял народ у особняка балерны Кшесинской. Напряженно и жадно все глядели на балкон, где и вправду вскоре появилась фигура Ленина. Никаких радиопередатчиков, разумеется, не было в ту пору, голос оратора доносился до слуха присутствующих едва-едва, особенно до тех, кто стоял в последних рядах.

— Я до сей поры не могу себе простить, что мы с отцом не проблись поближе к балкону, — возбужденно говорил Николай Николаевич. — Разобрать можно было только отдельные слова, по заключительную фразу Владимира Ильича, которую он произнес с удивительной ясностью, мы услышали полностью. «Да здравствует социалистическая революция!» — завершил свою речь Ленин, и одобрительные рукоплескания раздались в ответ.

Тут Воронов, как всегда, с серьезного тона переходил на улыбочивый:

— Когда человек говорит правильно, он может действовать даже шепотом, все равно получается громко! Уж поверьте мне!

Как отважный пловец, бросился юноша Воронов с крутого житейского берега в кипящие волны революционного моря, и со всей страстью трудолюбца и бесстрашного солдата впрягся, как он говорил, в могучий порыв великого ленинского дела.

Свершился Великий Октябрь. На молодую республику навалилось сонмище врагов, надо было с оружием в ру-

ках отстоять завоевания революции. Пролетарии Питера стали формировать красногвардейские отряды. Туда потянулся и молодой Воропов. Отец поддержал стремление юноши и посоветовал сначала подучиться военному делу:

— Ты сдал на аттестат зрелости. Если станешь красным командиром, сумеешь больше припести пользы Советской власти.

В те бурные дни открылись командные артиллерийские курсы. Воропов направился туда. Комиссар курсов на заявление Воропова наложил резолюцию: «Принять, выдать обмундирование и зачислить на котловое довольствие». С того дня и на всю жизнь встал Николай Воропов в ряды воинов государства рабочих и крестьян.

Курсанты послали юнкерскую форму, но без погон, старая солдатская кокарда была замаскирована красной краской. Поэтому горожане звали их «ленинскими юнкерами». Правда, юнкерами они себя не признавали, но звание «ленинский» было очень по душе. Учеба у курсантов чередовалась с несением караульной службы. В июньские дни 1918 года курсант-доброволец Николай Воропов с винтовкой в руках сражался на Лиговке, подавляя левозасеровский мятеж. Это было первое его огневое крещение. 18 сентября он стоял в строю на Марсовом поле, где состоялся первый выпуск командных курсов Петрограда. С волнением он слушал приветственную телеграмму Владимира Ильича Ленина, адресованную молодым советским командирам.

А через месяц Воропов снова увидел и услышал Владимира Ильича. Было это в Москве, куда Воропова командировали на месячные «Курсы военной администрации и политического руководства». 22 октября группу курсантов пригласили в Колонный зал Дома Союзов на заседание. Выступал только что поправившийся после ранения Ленин. Он говорил о первых победах Красной Армии, о том, что она выдвигает из своей среды тысячи офицеров, которые прошли курсы в новых, пролетарских военных школах. Глубоко запали в душу Воропова эти слова. Ленин говорил о нем и его товарищах, верил им и с ними связывал большие надежды. Для Воропова это было отеческим напутствием на долгие годы, на всю жизнь.

Молодой красный командир рвался на фронт. Он был назначен командиром взвода в запасной мотирный ар-

тиллерийский дивизион, где формировались батареи для фронта.

Прошло несколько дней, и батарея была поднята по тревоге и переброшена к Пскову. Здесь ей было приказано занять позицию около деревни Красная Репка и своим огнем прикрыть железную дорогу. Однажды в предрассветном тумане вражеский бронепоезд неожиданно проник в расположение наших войск, возле батареи стали рваться снаряды. Наши быстро открыли ответный огонь. Сначала артиллеристы разрушили железнодорожное полотно и отрезали бронепоезду пути отступления. Затем прямым попаданием снаряда опч вывели из строя паровоз. Орудия бронепоезда замолчали. Раздался общий крик радости. Это был первый артиллерийский бой будущего маршала. Его поздравляли. Командование пехотной части прислало подарки для отличившихся. Но сам Воронов был недоволен исходом боя. Белогвардейцам удалось подогнать паровоз с платформой, починить участок дороги, подцепить бронепоезд и увести его в свой тыл. Батарея снова открыла огонь, снаряды рвались близко, но прямым попаданий больше уже не было. Из этого командир батареи А. Шабловский и командир взвода Н. Воронов сделали правильный вывод: надо улучшать обучение подчиненных, особенно отрабатывать прямые пристрелки и стрельбы на поражение. Девизу «учиться на собственных ошибках и недочетах» Воронов всегда следовал.

А между тем части Красной Армии продолжали наступать. Путь батареи, где служил Воронов, лежал через Печоры, Валк, Юрьев (ныне Тарту). В начале 1919 года интервенты и эстонские буржуазные националисты, получив подкрепление извне, начали теснить малочисленные части Красной Армии. Начались изнурительные бои. В этом повороте боев, в весенний день 15 апреля 1919 года, произошло знаменательное для Воронова событие: партийная ячейка батареи приняла его в ряды Коммунистической партии.

...Закончился поход Юденича. Одержаны были победы над Колчаком и Деникиным. Начались сражения с белопольками. Батарею, в которой служил Воронов, направили на польский фронт.

Уже марш на фронт доставил много хлопот и потребовал воинской смекалки. Тащить орудия приходилось

по нелегким проселочным дорогам. Армейские лошади выбивались из сил. Помощь пришла от местного населения. Белорусские крестьяне жаждали избавления от гнета польских панов и старались помочь Красной Армии одержать победу над пилсудчиками. Молодой командир взвода решил воспользоваться этой благородной помощью. Он приказал снять с лафетов стволы пушек, люльки с противооткатными устройствами и перегрузить их на крестьянские подводы. Комвзводу досталось за это от командира дивизиона: где это слышано, чтобы на марше орудия разбирались на части? Да, наконец, это не предусмотрено уставом. Потом, правда, он смятчился. Воронов для себя сделал вывод: не надо пасовать перед догмами. Пусть не так эффектно выглядят оружейные стволы на крестьянских подводах. Но марш удался, батарея в назначенный срок появилась на берегах Березины.

Предстояла тяжелая переправа. Чтобы придать плаучести орудиям, передкам и повозкам, к ним подвязывали поплавки; лошадей переправляли вброд. Переправить первый взвод поручили Воронову. Он плыл на маленькой лодчонке, сквозь туман еле различались головы плывущих лошадей и поставленные на поплавки орудия. Едва взвод достиг середины реки, раздались оглушительные выстрелы врага. Завязался бой. Под сильным огнем взвод высадился, орудия заняли огневую позицию, ударили по вражеским пулеметам, расчищая путь пехоте. Пять суток длились бои на берегах Березины, белорусы отступили.

В дни боев на Березине на Воронова возложили командование батареей. Это было первым его продвижением по службе. Он очень ценил оказанную ему честь и доверие. В новой роли ему открывались более широкие возможности проявления мастерства и инициативы. И вскоре молодой командир батареи показал, на что он способен. Дело было под Бреста-Картузской. Воронов удачно расположил свой наблюдательный пункт, нашел подходящую позицию для орудий, подготовил по карте исходные данные. Уже первый снаряд лег в цель. Батарея вела огонь три суток, подавила три батареи белополяков и нанесла значительный урон его пехоте. За этот удачный бой командир полка наградил Воронова копеем и строевым седлом. Это была первая награда Красной Армии будущему маршалу.

Много радости познавал, немало горя хлебнул молодой командир батареи на полях сражений. Фронтные дни и ночи изобиловали, естественно, и удачами и неудачами, а порой оборачивались несчастьем, полным мрачного драматизма.

Особенно печально сложилась для Воронова обстановка в начале августа 1920 года при форсировании Буга, в районе Брест-Литовска. После взятия нашими войсками селения Юзефов белополяки перешли в контратаку. Батарея Воронова очутилась в безвыходном положении. Наши войска отошли, увозить пушки уже было поздно. И молодой командир батареи принимает единственное в тех обстоятельствах правильное решение: вывести технику из строя. Проявив исключительную находчивость, Воронов отважно дополз под ливнем пулеметного огня до моста, на котором застряли пушки, и выполнил свои бойцовские обязанности до конца: снял с орудий замки, разобрал их и разбросал детали в разные стороны, побил прицелы. Промчатся те годы, пройдут целые десятилетия, и, оглядываясь на пройденный путь, Воронов скажет с чувством неодолимой горечи:

— Мне было нестерпимо больно за потерю трех орудий. Никогда, кажется, за всю жизнь я не страдал так, как в те минуты у моста.

Вскоре Воронов был тяжело контужен. Оглушенный разрывом снаряда и засыпанный землей, он не помнил, сколько времени пролежал без сознания. Самое страшное обнаружилось, когда очнулся: крови на теле не увидел, но ноги не двигались. В этом-то беспомощном состоянии, ночью, при отчаянной попытке укрыться от врагов и добраться до своих, Воронов и попал в плен.

Какие ужасы, унижения и муки вынес Воронов в плену у пилсудчиков, как холодал, голодал и томился, преодолевая одновременно губительные последствия контузии, — рассказать в точности трудно. Если добавить еще, что красный артиллерист перенес в это угрюмое время воспаление легких, гангрену, рожистое воспаление и сыпной тиф, то можно смело сказать: человек уцелел чудом.

Не пожалела, видно, сил и энергии мать-природа, когда производила на свет божий Воронова: зоркий, широкий в кости, терпеливый, волевой, способный одолевать неимоверные беды и трудности, он выжил и с честью продолжил свою храбрую службу революции.

Обменянный при посредничестве Красного Креста вместе с другими красноармейцами, товарищами по несчастью, на польских военнопленных, возвращается он к жизни.

Раны храбрецов заживают быстро. После возвращения из плена Воронов забросил костыли, а прошло две недели, и он уже снова командует батареей. Его часть перебрасывали с места на место: Минск — Калуга — Дорогобуж — Смоленск — Луга. С годами приходил опыт и мастерство, но Воронов считал, что у него большие пробелы в знаниях. Дважды пробивался он в военную академию, но дважды на его рапортах командир дивизии накладывал резолюцию «отказать» — дивизии очень нужен был этот отличный строевой командир.

Летом 1926 года происходили межкорпусные маневры, ими непосредственно руководил начальник штаба РККА М. Н. Тухачевский. Батарея Воронова действовала умело, применяя последние тактические новинки. Это не прошло незамеченным. Его вызвали к Тухачевскому. Полководец разъяснил Воронову боевую задачу, поставленную обороняющейся стороне, и ошарашил его назначением на время маневров начальником артиллерии дивизии. Воронов блестяще справился со своими обязанностями. Его всячески хвалили. Командир дивизии, герой гражданской войны Востриков был растроган и наконец согласился отпустить Воронова в Академию имени Фрунзе.

...Быстро промчались годы учебы. Воронов усердно изучал все учебные пособия. Глубоко вникал в существо каждой проблемы. Характер Воронова особенно сказался при выборе темы дипломной работы. Он выбрал себе артиллерийскую тему: «Влияние оперативного искусства и тактики на развитие артиллерии в первую мировую войну». Но по мере работы над материалами Воронов пришел к выводу, что тема перенесена с ног на голову. В самом деле, именно прогресс и развитие боевой техники оказывают прямое влияние на развитие тактики, оперативное искусство и стратегию. Конечно, имеет место и встречное влияние, но оно уже вторично — так мыслил выпускник академии Воронов. Но как быть? Название темы утверждено лардонным комиссаром, им был тогда К. Е. Ворошилов, только он мог ее изменить. Начальник академии Р. П. Эй-

демап заинтересовался замыслом Воронова, который так сформулировал свою тему: «Влияние развития артиллерии на оперативное искусство и тактику в первую мировую войну». Теперь все стало на свое место. Нарком утвердил ходатайство Воронова.

Заключив учебу в общевойсковой академии, Воронов мог перейти в любой род войск. Но остался верен артиллерии. Думал он также вернуться в свой Белорусский военный округ, а назначили в Москву командиром артиллерийского полка в прославленную Московскую пролетарскую дивизию. Настороженно встретили здесь Воронова: хорошо ли знает артиллерийское дело выпускник общевойсковой академии. Но первые же стрельбы, проведенные новым командиром полка, рассеяли все сомнения. «Этот пушкарь с головы до ног», — так говорили в дивизии о Воронове.

В те годы со всей остротой встал вопрос о борьбе с танками противника. Воронов сделал все расчеты и взялся доказать, что 122-миллиметровая гаубица успешно может прямой наводкой бить по танкам. Ему не верили. Командир дивизии установил денежные премии за попадание в макет танка с дистанции в девятьсот метров. Каково же было его удивление, что первая же пушка поразила макет с двух выстрелов. Отлично выполнили огневую задачу и расчеты всех остальных гаубиц, подготовленные Вороновым. У командира не хватило денег на премии, пришлось ему подзапять. Этим экспериментом заинтересовался начальник штаба РККА М. Н. Тухачевский — Воронов повздорски решал сложную задачу противотанковой обороны.

Новая техника проникала в армию — полк Воронова получил одиннадцать радиостанций. Никто не знал, как к ним подступиться. В полку нашелся радиолюбитель, командир отделения Юрий. За несколько дней он овладел рацией. И командир полка решил пойти на выучку к нему, прошел всю программу и попросил своего учителя принять от него положенный зачет. Примеру Воронова последовали многие командиры. На ближайших учениях они показали свое умение использовать рацию. Но для «показухи» стал Воронов учиться у рядового радиолюбителя. Он смотрел вперед и прозорливо увидел, что в будущей войне не всегда можно будет положиться

на проводочный телефон, что именно радио будет наиболее надежным средством связи в артиллерии.

Летом 1932 года Воронова включили в состав военной миссии, направлявшейся в Италию на большие маневры. Николай Николаевич ко всему присматривался, многое брал на заметку, хотя и убедился, что итальянская артиллерия во многом уступает нашей. Вскоре Воронова привлекли к работе комиссии по составлению боевого устава артиллерии. Воронов быстро проявил себя и как образцовый строевой командир, и как мыслитель, исследователь, человек одержимый поисками нового.

Весной 1934 года Воронов вернулся в свой родной Ленинград. Но в новом качестве — начальником и военкомом артиллерийской школы. Возникла она на базе тех самых курсов, где в 1918 году учился реалист Воронов. С волнением обходил он классы, — тут прошла его юность. Снова хлопотливые заботы, полевые занятия. Еще одна командировка в Италию на маневры. Но и это была не последняя его поездка за кордон.

В 1936 году в поездке, шедшем из Парижа к франко-испанской границе, можно было встретить высокого, статного человека, в черном пальто и синем берете. На пограничной станции он взял свой чемоданчик и в сопровождении чиновника, двух французских жандармов направился к пограничным столбам. Это был Николай Воронов.

Тогда весь мир был потрясен вестью: в Испании вспыхнул фашистский мятеж. События в далекой западной стране взволновали советский народ. Испанским республиканцам сочувствовали все свободолюбивые люди планеты. В Испанию, несмотря на бесчисленные преграды, со всех континентов слетались добровольцы, готовые вступить в бой с полчищами фашистов.

Ехали и советские добровольцы, среди них был начальник Ленинградского артиллерийского училища Николай Воронов. Там, превратившись в «волонтера Вольтера», он приступил к исполнению своего интернационального долга.

Воронову порекомендовали связаться с начальником артиллерии республиканской армии подполковником Фуантесом. Туго было тогда в республике с офицерскими кадрами. Большинство из них — выходцы из буржуаз-

по-помещичьих семей, и лишь немногие из них честно стали на сторону народа, многие переметнулись к Франко, а часть, хоть и служила демократическому правительству, решила особой активности не проявлять и выждать, чья возьмет... Таким, видно, был и Фуэнтес. Несколько дней Воронов искал его по всему Мадриду, но ни в одном из штабов следы его не отыскивались. Наконец Воронов узнал, что он отсиживается дома. Позвонил ему, но тот отказался встретиться. Не ожидая приглашения, Воронов поехал к нему на квартиру. Плохо встретил подполковник гостя, пренебрежительно заявив, что никакой помощи от иностранца ему не нужно. Воронов кипел от негодования, но удержался, официально раскланялся и уехал. Но он был настойчив, этот волонтер Вольтер, — не возвращаться же обратно из-за спесивого подполковника. Через день военное министерство сообщило Фуэнтесу, что Вольтер назначен в качестве его военного советника, — тому скрепя сердце пришлось подчиниться. Быстро Воронов понял, что Фуэнтес плохо знает обстановку на фронтах, а еще меньше о том, что делается в артиллерийских частях: от него не дожدهшься ни толку, ни пользы.

Воронов начал изучать положение непосредственно на переднем крае. Неутешительную картину он увидел: республиканская армия имела устаревшие орудия времен первой мировой войны, да и их было мало, боеприпасов не хватало, зенитной и противотанковой артиллерии не было вовсе. Да и вообще здесь артиллерии отводили второстепенную роль. Батареи, оборонявшие Мадрид, действовали разрозненно, примитивным методом. Но не все республиканские артиллеристы походили на спесивого и равнодушного подполковника Фуэнтеса, были и пламенные борцы, немного бесшабашные, но горевшие жаждой победы. Им нужен был вождь, руководитель, и поэтому всей душой они потянулись к волонтеру Вольтеру. Фамилия у него чисто французская, но войны-республиканцы безошибочно определяли национальность своего главного артиллериста, называя его: «камарадо руссов». Они быстро нашли общий язык (хотя Воронов не знал испанского), подружились и решили вместе бить врага.

Опытным глазом Воронов заметил серьезные недостатки в элементарном: плохую связь между отдельными подразделениями, сумбурное управление, отсутствие

четкости во взаимодействии родов оружия. Терпеливо, с выдержкой начал он «подключать» к республиканскому свой русский боевой опыт. Объезжая наблюдательные пункты и огневые позиции, знакомясь с работой батарей, оборонявших столицу, тонкий мастер артиллерийской стрельбы пришел к выводу, что испанцы слабо наблюдают за противником, разрозненно ведут огонь по врагу, не пользуются одной из главнейших заповедей пушкарей — централизованным управлением. Находчивый ум, чисто солдатская хитрость подсказали Воропову, как наиболее выгодно использовать местные условия. Много изобретательных сюрпризов приготовил советский пушкарь франкистам в короткий срок. Один из них оказался самым эффективным — пункт централизованного управления мадридской артиллерией.

Николай Николаевич облюбовал для него здание фирмы «Телефоника централь». Шестнадцатизатяжная махина царила над всей округой. С вершины небоскреба просматривались в бинокль подступы к Мадриду, виднелись даже скрытые укрепления врага. На верхотуру «Телефоники» был срочно протянут провод-невидимка, поставлен разговорный аппарат, и высоченная, внешне безобидная точка начала свою грозную работу. Сначала башня функционировала лишь как командно-наблюдательный пункт, но вскоре утвердилась и как главный пост противовоздушной обороны.

Угрюмо завывал ветер в пустышной башне, слева и справа, злобно свистя, пролетали вражеские снаряды. Редкие посетители задерживались на макушке «Телефоники», невольно спешили оставить неуютное помещение. Но Воропову зловещая башня казалась самым прекрасным местом в мире, надежной союзницей его далеко идущих замыслов. Как вдохновенный отважный дирижер, управлял он и огневой музыкой республиканских орудий.

Многое здесь было для Воропова странным и непривычным. И то, что фирма «Телефоника» выставила счет за установку телефона и потребовала срочной оплаты, что республиканская армия не имела своего кабеля и связь с батареями шла по городской телефонной сети, — дежурные телефонистки вмешивались в разговор — какая уж тут могла быть военная тайна?! Удивило его свойственное испанцам священнодействие с обедом. Однажды,

находясь на башне «Телефонки», он обнаружил новую фашистскую батарею 155-миллиметровых орудий. Он приказал перенести на нее огонь, наши снаряды попали в два орудия, у противника началась суматоха. И вдруг огонь с нашей стороны прекратился.

— В чем дело, — воскликнул Воронов, — почему батарея перестала стрелять?

— Комида, — ответил командир батареи.

— «Обед», — объяснил переводчик. К слову сказать, и у мятежников свято соблюдался обеденный перерыв, за два часа никто не подошел к орудиям.

Дел было извпроворот. Надо было выкорчевывать отсталость в технике и косность в мышлении. Воронов за это взялся всеми силами. Это не мог не заметить такой отважный воин и зоркий наблюдатель, как Михаил Кольцов. В его «Испанском дневнике», в записи от 28 октября 1936 года, мы находим такие строки:

«В отсталых армиях артиллерийская премудрость предписывает строжайшую централизацию, невероятную писанину, лишает боевых начальников фактически действующей артиллерии всяких прав. В испанской армии это особенно уродливо. Объекты обстрела устанавливаются чуть ли не за сутки раньше, на основании вчерашних или позавчерашних данных. Эти объекты — не конкретные цели, батареи противника, скопления войск, здания, железные дороги, а чаще всего квадраты на карте. Начальство указывает, в какой квадрат сделать за день сколько выстрелов, — и все. Чтобы переменить цели или хотя бы квадраты, нужно письменно споситься с начальником артиллерии всего сектора... Вольтер, француз артиллерист, в отчаянии от здешних порядков. Он рассказывает, как на днях командир батареи, видя большую массу наступающей пехоты противника, не стрелял по ней, а продолжал палить в другое место. Там, согласно приказу, данному накануне, предполагалась неприятельская батарея. Этой батарее уже не было, но, как ни уговаривал Вольтер, стрельба шла в бессмысленном направлении — артиллерийский офицер боялся пойти под суд за нарушение приказа».

Но «французу артиллеристу Вольтеру» все же удалось навести порядок в республиканской артиллерии. В один из ноябрьских дней Воронов с башни «Телефонки» обнаружил в стереотрубу большое скопление враже-

ской пехоты и тут же отдал команду нескольким батареям подготовиться к открытию огня. Вскоре снаряды накрыли место привала — противник понес большие потери, намечавшаяся атака была сорвана. Из перехваченной радиোগраммы стало известно, что Франко намерен 25 ноября взять Мадрид. Республиканская артиллерия под руководством Вольтера провела тщательную подготовку к сражению, сосредоточив огневые средства на важнейших направлениях. А когда 25 ноября на рассвете фашисты попытались прорвать фронт, то наткнулись на концентрированный, да еще перекрестный огонь мадридской артиллерии. Весь день непрерывно шел бой. К вечеру стало известно, что в оливковых рощах пригорода скапливается марокканская конница. Воронов сосредоточил по ее скоплению огонь нескольких батарей. Вскоре наблюдатели с башни «Телефоники» увидели, как из рощ помчались перепуганные кони без всадников, пленные показали, что марокканцы понесли большие потери. Мадрид выстоял, и огромную роль в этой легендарной обороне сыграли артиллеристы с их фактическим командующим «французом Вольтером».

Республиканская артиллерия оснащалась новой техникой, из Советского Союза прибыли мелкокалиберные противотанковые пушки и зенитные орудия среднего калибра. Воронов занялся подготовкой кадров и, как все, что делал в жизни, проводил эту подготовку настойчиво, методически, усложняя задачи, повышая уровень занятий. Трудно было без знания испанского языка, но выучили советские переводчицы.

Новогоднюю ночь 1937 года Воронов встретил на Каталонском фронте. Вспомнилась родина, Москва, и немного стало грустно. Вдруг Валенсия попросила к телефону «камарадо Вольтера». Ему зачитали телеграмму из Москвы, что комбриг Воронов награжден орденом Ленина. Родина помнила своих сынов, своих добровольцев.

И снова бой. Особое место заняла битва под Гвадалахарой. К этому времени гитлеровская Германия и фашистская Италия перешли к открытой интервенции, направив в Испанию свои войска. Один только итальянский корпус насчитывал под Гвадалахарой 60 тысяч человек, 250 орудий, 1800 пулеметов, 140 танков и броневигов, 120 самолетов. На опасное направление были

брошены лучшие республиканские части. Туда же, разумеется, помчался и Воронов, его место всегда было там, где жарче, он перебрался из бригады в бригаду, налаживал взаимодействие артиллерии с другими родами войск, учил людей действовать решительно, чувствовать любые изменения в обстановке. Республиканские войска выстояли и затем перешли в контрпоступление. Малыми силами была одержана большая победа.

Воронову понравился испанский народ. Братское родство влекло его к испанским коммунистам, их руководителям Хосе Диасу и Долорес Ибаррури, их героям-воинам Листеру, Модесто. Как коммунист-интернационалист, он подружился с генералом Лукачем — венгерским писателем Матэ Залка, с воинами многих интернациональных бригад. Он возвращался в Москву с глубокими впечатлениями и полный раздумья о первой открытой схватке с фашистами, всем сердцем чувствуя, что она не последняя. Особенно много думал он о месте артиллерии в грядущих сражениях. В своей книге «На службе военной» он написал:

«В Испании были верны модной в то время теории, которая считала, что артиллерия отживает свой век, а главными родами войск становятся танковые и авиационные части...» И далее замечает: «Это был наглядный урок. Многим пришлось призадуматься тогда об истинной роли артиллерии в современном бою. Нет, нельзя было противопоставлять артиллерию авиации и танкам — они должны действовать согласованно, в тесном взаимодействии».

Как только Воронов и некоторые его товарищи вернулись из Испании, их немедленно принял нарком обороны, а к вечеру того же дня они излагали свои выводы и предложения, вытекающие из боев в Испании, членам Политбюро.

«Сразу же завязался деловой разговор, — вспоминал потом Воронов. — Я. В. Смушкевич рассказал о действиях авиации в Испании, Д. Г. Павлов — о действиях танков, я — о боевом применении артиллерии. Члены Политбюро задали много вопросов. Мы получили новые воинские звания, но не очередные, а через одну ступень. Мне, в частности, было присвоено звание «комкор». Затем пошла речь о новых назначениях — я был утвержден начальником артиллерии Красной Армии.

Должно быть, у всех нас был очень удивленный, растерянный вид. Члены Политбюро подходили к нам, жали руки, отечески напутствовали, ободряли.

— А теперь в отпуск! — сказали нам. — Берите свои семьи и отправляйтесь на юг. Потом с новыми силами приступите к работе.

Я вышел с этого заседания с тревогой в душе. Хватит ли у меня данных, чтобы руководить всей советской артиллерией? Но отступать уже было нельзя... Начинался новый период в моей жизни.

В этой сцене явственно отразились и стремительность горячего времени, дышащего предгрозами не столь отдаленных суровых военных испытаний, и умелое использование советскими руководителями накопленного боевого опыта, и деловитая скромность самого автора мемуаров, получившего по заслугам высокий пост, вступившего отныне на вершинную ступень своего незаурядного пушкарского мастерства.

В прекрасном сочинском санатории в жаркие июльские дни провел тогда свой отпуск Воронов. Но ему было не до отдыха, был он весь в раздумьях о своей новой работе, объеме и характер которой он себе ясно не представлял, о судьбах артиллерии, о новом боевом уставе, который ему поручили «на досуге» отредактировать.

А вернувшись в Москву, он тут же окунулся в непрекращающийся водоворот дел — больших и малых. Мобилизуя все свои врожденные «огневые наклонности», экспериментируя в лабораториях, испытывая на полигонах, но удовлетворяясь достигнутым, действует главный артиллерийский начальник. На многие годы вперед заглядывал пылкий взор беспокойного, пятицифрового пушкаря.

По постоянно Воронова в среде артиллеристов вырабатывается единство взглядов на развитие и боевое использование артиллерии. Артиллеристы берутся за разработку новых, отвечающих современным требованиям, уставов, наставлений, инструкций — единых и твердых воинских законов.

Мысленным взором окидывал Воронов свое многосложное «хозяйство» — артиллерию армии. Батальонная, полковая и дивизионная артиллерия была на конной тяге, корпусная — в основном тоже «базировалась» на лошадях. Минометов на вооружении не было. Многие во-

просы — о повышении дальности и мощности орудий, об увеличении их маневренности, о создании новых боеприпасов — надо было решать немедленно, без всяких промедлений. Броня у танков все более утолщалась. Значит, надо было взяться за разработку таких орудий, которые бы пробивали любую танковую броню. Мало иметь хорошие орудия, к ним нужны мощные бронебойные снаряды.

Уходила в прошлое копаная тяга артиллерии. Чтобы поспевать за танками, орудиям нужны были механические гусеничные тягачи. Их тогда выпускали немного, в основном на перегруженных заданиями танковых заводах, да к тому же они имели существенные конструктивные и производственные недостатки. Воронов настойчиво добивался, чтобы для выпуска тягачей были созданы специальные заводы.

Воронову была чужда показуха. Во всем, что касалось огневых и ходовых качеств орудий, он был непримирим. В то время была испытана и принята на вооружение 76-миллиметровая пушка известного конструктора В. Грабина. Однако Воронов нашел в ней серьезные конструктивные недостатки. Он назначил новые ее испытания в зимних условиях и лично руководил ими. Акт комиссии гласил, что новое орудие нуждается в дальнейшем совершенствовании и пока не может быть принято на вооружение. Это вызвало бурную реакцию со стороны некоторых руководителей промышленности, раздражен был и нарком обороны. Но справедливые замечания Воронова нашли поддержку в ЦК партии. Были назначены новые испытания. Они доказали, что пушки нуждаются в доработке.

Беспокойство вызывало у Воронова и 76-миллиметровое зенитное орудие — в связи с повышением скорости и «потолка» авиации оно оказалось слабым. Конструкторы создали образец 100-миллиметровой пушки. Но она весила на четыреста — пятьсот килограммов больше утвержденного правительства. Надо было доложить об этом правительству, руководители наркомата побоялись доложить. Тогда Воронов предложил на лафет 76-миллиметрового орудия поставить 85-миллиметровый ствол. Конструкторы подхватили эту идею. С этим 85-миллиметровым зенитным орудием мы и вступили в войну. А вскоре появилось и 100-миллиметровое.

Так в жарких спорах, не жалея, как говорится, ни сил, ни нервов, совершенствовал Воронов нашу артиллерию. Он разработал план-систему вооружения всех родов войск, начиная от пистолета и кончая полевыми орудиями 305-миллиметрового калибра.

Но не только конструкторскими и другими техническими проблемами занимался новый начальник артиллерии. На границах было неспокойно. В июле 1938 года японцы начали провокацию у озера Хасан. Воронова направили туда. Через год — бой у Халхин-Гола. А три месяца спустя, после битвы в Монголии, Воронов был уже под Ленинградом — началась война с маньчжурской Финляндией. Две неожиданности встретили здесь наших воинов — глубокоошеломляющие полосы противотанковых препятствий, рвов, громадных надолб, лесных завалов и линии огня автоматчиков. Нашим войскам предстояло штурмом взять линию Маннергейма. Укрепленный район на Кольском перешейке был уникальным. Его основой были железобетонные сооружения, тщательно приспособленные к местности, впереди и по сторонам каждого дота полукапониры, в свою очередь, каждый полукапонир прикрывался рядом огневых точек — все это искусно вписывалось в местность, так что рассмотреть укрепления можно было лишь вблизи. К тому же белофинны создавали ложные доты и огневые точки.

Опятьгодились глубокие знания, последовательский ум главного советского пушкаря. Под его руководством были использованы все новейшие приемы разведки, разработанные при непосредственном участии Воронова — звукометрия, фотографирование, в том числе и с самолетов, аэростатов, проверка огнем.

Началась подготовка к штурму. Воронов поспелал всюду. Особенно его заботило взаимодействие артиллерии с пехотой и танками во время прорыва. Тяжелые орудия отрабатывали стрельбу прямой наводкой по дотам. Воронов добивался, чтобы батареи научились попадать в амбразуры. Артиллерия большой мощности впервые должна была доказать свою силу разрушения. Тщательно велась топографическая и даже геодезическая подготовка, умело выбирались места наблюдательных пунктов — в общем все было продумано.

Воронов участвовал в разработке и некоторых важных тактических приемов. За время частых операций

финны привыкли улавливать момент, когда артподготовка заканчивается и огонь переносится в глубь обороны противника. В эту паузу они выбегали из укрытий и занимали места для отражения нашей атаки. Решено было устраивать ложные переносы огня. После искусственной паузы наши орудия снова покрывали огнем по переднему краю врага и ударили по накопившейся похоте. После двух-трех ложных перепосов огня финны терялись в ориентировке, не зная, когда же начнется наша атака. Это лишь одна деталь, один тактический прием. Воронов вместе со своим помощником тщательно разработал план артиллерийского наступления на линию Маннергейма, которая и была принята. 11 февраля 1940 года начался штурм. Через несколько дней первая полоса обороны была прорвана. Последовали десять дней передышки и подготовки — новый штурм. Назревал полный разгром белофиннов — они запросили мир. За успешное руководство операциями Воронову тогда было присвоено звание командарма второго ранга.

И снова напряженный труд. Надо было осмыслить опыт, накопленный на Хасане, Халхин-Голе, Карельском перешейке. Воронов окунулся в разработку уставов, постановлений, в испытания новых орудий, боеприпасов.

Случилось так, что за три дня до начала Отечественной войны Воронов был назначен на пост начальника противовоздушной обороны страны. Предстояло изучить новое дело, во все вникнуть. Тревожно было на душе командарма Воронова: многое в подготовке войск ПВО не шло, а тут еще донесения постов ВНОС (службы воздушного наблюдения, оповещения и связи) с границы о многократных перелетах немецких самолетов. Воронов чувствовал: вот-вот разразится война.

Вечером 21 июня Воронов, как и другие ответственные работники наркомата, получил указание оставаться в своем служебном кабинете. С каждым часом вести с границы были все тревожнее. К рассвету пришло сообщение о бомбежке Севастополя. Вскоре служба ВНОС донесла о бомбежке других городов. Посты ВНОС, не получив приказа на отход, сообщали Москве не только о воздушной, но и о наземной обстановке — о проходящих мимо немецких танках, — они выполняли свой долг до конца. Эти сведения были в те дни самыми достоверными...

Девятнадцатого июля Воронов вернулся в артиллерию, на пост начальника артиллерии Красной Армии. Здесь он был всего пужнее. Снова хлопоты по формированию новых и пополнению поредевших артиллерийских частей, по подготовке командных кадров. Впервые в истории у нас заработал штаб артиллерии Красной Армии с отделами и управлениями, устанавливался постоянный контакт с артиллерийскими штабами фронтов, армий.

А где бывало особенно трудно, туда неизменно направляли Воронова. Когда гитлеровцы рвались к Москве, Воронов по заданию Ставки Верховного Главнокомандования поехал на Вяземское направление. Он разработал здесь четкую систему борьбы с вражескими танками, наметил рубежи заградительного огня, паладил взаимодействие с пехотой — враг у Вязьмы на время был остановлен.

Но все грознее становилась обстановка под Ленинградом, и Воронова несколько раз направляли туда. В конце августа он побывал в Ленинграде в составе комиссии Государственного Комитета Обороны. Не успел он вернуться и отчяться, как командование Ленинградского фронта попросило Ставку снова прислать Воронова — его помощь была очень нужна, готовилось несколько важных операций на различных направлениях.

Воронов начал с того, что создал централизованное управление артиллерийским огнем обороняющегося города. Он вспомнил башню «Телефонки» в Мадриде, Хамар-Дабу на Халхип-Голе и решил, что лучше всего центр управления расположить на куполе Исаакиевского собора. Правда, потом начальник артиллерии фронта перебрался на элеватор, уступив купол Исаакия противовоздушникам. Но централизованное управление действовало, связь работала безотказно. Под руководством Воронова ленинградские артиллеристы умело использовали все новые виды и средства разведки, звукометрические станции засекли стреляющие батареи врага и давали их точные координаты.

Гитлеровцы рвались к Ленинграду. Наиболее ожесточенные бои развернулись у Пулковских высот. Редели ряды защитников Ленинграда, но гитлеровцы не могли продвинуться. Главной силой, преграждавшей им путь, был мощный, тонко рассчитанный, умело управляемый артиллерийский заслон, душой которого был Николай

Воронов. Двадцать суток пробыл на этот раз Воронов в осажденном Ленинграде, за эти три недели он наладил артиллерийскую оборону города.

И снова Москва, и снова Воронов окупился в гущу неотложных дел. Ухудшилось положение под Москвой, гитлеровцы бросили в бой большие силы, наши войска вынуждены отступить на линию Волоколамск — Можайск, Малоярославец. Воронов дни и ночи отдавал обороне Москвы, формировал артиллерийские полки, добивался увеличения выпуска минометов. Однажды во время оперативного доклада Воронову сказали: лететь ему в Ленинград в качестве полномочного представителя Ставки, — намечался прорыв блокады.

А Ленинград переживал тяжелые дни. Не сумев взять город штурмом, фашисты решили задушить его голодом, бомбежками и артиллерийской канонадой. В городе истощались запасы — и продовольствия и боеприпасов. Некоторые ленинградские руководители добивались, чтобы была усилена доставка боеприпасов. Воронов, ленинградец по рождению и воспитанию, знал цену своим землякам. Он предложил наладить производство снарядов и мин на предприятиях города. Воронову верили, его инициативу поддерживали, и начиная с ноября ленинградцы стали снабжать боеприпасами не только свой фронт, но и делиться кое-чем с другими фронтами.

Начались трудные бои. Надежда на успех была велика, но операция готовилась тщательно. Воронов упорно налаживал взаимодействие артиллерии с пехотой, многого добился. Но прорвать блокаду в тот раз не удалось. Гитлеровцы усилили артиллерийский обстрел осажденного, израненного, голодающего Ленинграда. Поэтому особое значение приобрела борьба с батареями, обстреливавшими город. На этом и сосредоточился Воронов. С вершин Исаакиевского собора и элеватора он руководил огнем всего фронта. Фашисты подбросили под Ленинград знаменитую с времен первой мировой войны «толстую БERTУ», стрелявшую почти тонными снарядами. Наши звукометристы засекли место ее стоянки. Воронов сосредоточил на ней огонь, и «толстая БЕРТА» замолчала.

Тяжело было Н. Н. Воронову расставаться с ленинградцами, оставлять их в трудную пору, но приказом из Ставки он был срочно вызван в Москву. Вечером 5 де-

кабря он приземлился на заснеженном подмосковном аэродроме. Через несколько часов он уже в Кремле докладывал о положении в Ленинграде. И как большая награда встретило его здесь сообщение о подготовленном на утро крупном контрнаступлении под Москвой.

Великой новостью для всего мира явилась богатырская, как внезапно взбурлившийся океан, битва на подступах к столице. Бросая технику, устлая заснеженные равнины Подмосковья тысячами трупов, понялись фашистские полки на запад. Бешено сопротивлялись, огрызались, но все же палились.

В первый раз за все время существования гитлеровской армии обнаглевшие убийцы и мародеры получили за злодеяния внушительной мерой.

С великой ненавистью наши войска били немцев под Москвой. Мне довелось видеть эти злые лавины советских бойцов, широкие потоки машин, устремленных к победе.

...Неистовствовала воздуха громада,
распарываясь,
рушась

и звеня,
как будто началась не канонада,
а поединок ветра и огня.

Именно тогда, под Москвой, я был на всю жизнь захвачен величественной победной музыкой нашей артиллерии, очарован согласной, на редкость слаженной боевой работой батарейцев, и отдал впоследствии артиллерийской теме не один год творческих усилий.

Однажды глубокой осенью 1941 года Николай Николаевич пригласил к себе в рабочий кабинет на чашку чая небольшую группу писателей-фронтовиков и с присущим ему улыбчивым спокойствием сказал:

— О ком писать, говорите? — И, не дожидаясь ответа, продолжил: — Писать надо о хороших людях с чистой совестью. Их много в Действующей армии — в пехоте, в авиации, в танковых соединениях. Дерутся они с беззаветной отвагой... Но я, извините, товарищи, неисправимый артиллерист! И первый мой совет, первая просьба к литераторам: напишите, пожалуйста, о пушкарях. Пушечка в руках меткого человека — бо-оль-шое дело! Хороший наводчик, да если он к тому же не трус, — это ж красота! Героических примеров я вам дам хоть на десять

романов. Возьмите хотя бы недавнее сражение на Бородинском поле. Как там изумительно показали себя наши мастера оружейного боя! А место-то какое, одно название чего стоит: Бородино! Ах, если бы я был поэтом!..

При этих словах Воронов озорно присвистнул и, все более воодушевляясь, рассказал в подробностях о бородинской битве. Писатели услышали о том, как фашисты, при помощи танков и мотопехоты, в первых числах октября прорвались к знаменитому Бородинскому полю.

Присутствующие узнали о том, как в бой с гитлеровцами, прямо с марша, вступила прибывшая из Сибиря 32-я стрелковая Краснознаменная дивизия под командованием полковника В. И. Полосухина и несколько суток подряд дралась с отборными частями немцев.

Все вокруг дыбилося, грохотало, рвалось и горело. Доблестные бойцы-сибиряки, еще в боях у озера Хасан стяжавшие славу храбрых, сражались ожесточенно и умело. Особенно мужественно дрались артиллеристы дивизии, обороняя Бородино. Буквально груды вражеских солдат завалили травянистые увалы переднего края, десятки искореженных танков с крестами загромождали обочины Минского шоссе.

Хоть и было фашистов больше, чем наших, но не смогли они одолеть в этой беспримерной схватке ярости сибиряков, не смогли взять в лоб Бородино, обошли его дальним окольным путем. Не посрамили советские воины и командиры величавую память предков.

Когда Николай Николаевич закончил рассказ, он, улыбаясь, спросил:

— Ну, кто берется за Бородино?!

Скажу откровенно, испугавшись, что соблазнительный материал сразу мигнуто ускользнет из рук, я крикнул:

— Чур, моя тема!

Все, кто был в просторной комнате командующего артиллерией Красной Армии, громко захохотали.

Смех-то смехом, а командировку от Воронова на Западный фронт в 5-ю армию я получил в тот же день, и вместе с корреспондентом «Красной звезды» писателем Петром Андреевичем Павленко на попутной полуторке уехал в район Бородино. С чувством душевного трепета разглядывал я равнинные места ожесточенной битвы, из уст ее участников фиксировал отдельные детали сражения, изучал по полевым картам основные ситуации боя,

и только после тщательного углубления в предварительные проанкетские записи, приступил к работе над документальной поэмой «Москва за нами».

По мере успешно развивающегося контрнаступления наших войск под Москвой, возрастали и заботы командования. Включившись в ударную операцию, Воронов делал все от него зависящее, чтобы устранить или уменьшить трудности, возникавшие на растянувшихся путях подвоза боеприпасов и снаряжения, контролировал и направлял общевойсковых и артиллерийских начальников, в среде которых, чего греха таить, находились и такие, которые zelo в этом нуждались. В пылу наступления, например, отдельные горячие головы начинали палить из орудий самого огромного калибра по мелким подвижным целям — по неприятельским танкам, тратя впустую дорогостоящие снаряды.

Интересно, что уже после войны Н. Н. Воронов получил письмо, начинающееся так: «Это письмо пишет Вам гвардии капитан, на батарее которого в декабре 1941 года под Москвой Вы сказали, что надо беречь наши тяжелые орудия — из них мы будем бить по Берлину. И эти Ваши слова, сказанные в трудные декабрьские дни 1941 года, блестяще подтвердились».

Воронов стоял у рождения реактивных минометов, — наших знаменитых «катюш», и сразу оценил не только их огневую мощь, но и психологическое воздействие.

Нелегко ему было, Воронову, проталкивать многие важнейшие вопросы, касавшиеся нужд артиллерии. Воронов умел заглядывать вперед, а кое-кто не видел дальше сегодняшних хлопот. И беспокойному новатору доставалось... Но Николай Николаевич был непримирим, он смело и упорно отстаивал свои взгляды.

Так было с усилением противотанковых средств. Уже к марту 1942 года Воронову стало ясно, что у немцев появились новые танки с более толстой броней. Нужны были более мощные противотанковые орудия и снаряды с повышенной бронепробиваемостью. Об этом Воронов вновь, в который раз, говорил на заседании Государственного Комитета Обороны. Но все его доводы были взяты под сомнение. Больше того, Воронова стали обвинять в папизме и запретили ему впредь ставить вопросы об усиливающейся танковой опасности. Но Воронов не успокоился, он отстаивал истину. И истина в

конце концов восторжествовала. Однажды, когда Воронова вызвали на заседание ГКО, Сталин встретил его словами:

— А ведь вы оказались правы, когда докладывали о появлении у противника новых танков с более толстой броней.

Заседание было прервано, Воронову стали задавать вопросы, и слова возобновился разговор о 100-миллиметровой пушке. Через несколько дней эскизный проект новой пушки уже обсуждался на специальном заседании ГКО. Потом это орудие сыграло большую роль в борьбе с гитлеровскими танками.

Не только военными делами приходилось заниматься главному артиллеристу. Давались ему поручения, причем очень неприятные, порою даже дипломатические. Нелегкими были переговоры с видными деятелями Англии, прибывшими в Москву во главе с Черчиллем, об открытии так называемого второго фронта. По назначению Советского правительства в комиссию вошли К. Е. Ворошилов, Б. М. Шапошиников и Н. Н. Воронов. Разговаривать с чопорными представителями буржуазного Запада было крайне сложно, но Воронов, как и другие советские представители, проявил самообладание и дипломатический такт.

Талант, как правило, — многогранен. Таким был и Воронов. Его хватало на все. Это был ученый — теоретик артиллерийских наук и одновременно непревзойденный практик — мастер всепоглощающего огня, собиратель артиллерийских полков, бригад, дивизий и вдохновитель конструкторских бюро, строгий, взыскательный приемщик вооружения. Именно ему, человеку с необычайно широким кругозором и неиссякаемым чувством нового, были поручены в годы войны все дела, связанные с изобретательством и рационализацией в вооруженных силах. Хлопотливое это было поручение. И где-то он находил урывки времени и резервы сил, чтобы талантливые творцы новой боевой техники могли внести свой вклад в общее дело.

И сверх всего этого Ставка все чаще и чаще посылала Воронова в качестве своего полномочного представителя на различные фронты, туда, где было всего сложнее и опаснее.

...Первый раз Воронов прилетел в Сталинград в жар-

кий летний день 1942 года. Положение было очень тяжелым. Гитлеровцы, прорвав наш фронт у Воронежа, ринулись па юг и восток, наши войска с боями отходили. Воронов изучал обстановку у города не только в штабах, он объезжал, обходил боевые порядки обороняющихся войск, доходил до самого «низа» — до огневых позиций пехотинцев и наблюдательных пунктов батарей.

Воронов объехал несколько дивизий, занявших оборону на дальних подступах к Сталинграду. Особенно тщательно проверял он готовность артиллерии к борьбе с танками. Николай Николаевич словно предчувствовал, где будут прорываться гитлеровские тапки, поэтому па самых опасных направлениях он и сопровождавшие его офицеры занимались даже отдельными орудиями. Многие он одобрил — чувствовалось, что вороновская выучка пустила глубокие корни в артиллерии. Но замечал и следы благодушия, упования на «авось» — тут он становился требовательным и непримиримым к каждому недостатку. Подходя к одному орудью, Воронов еще издали услышал звук костяшек — бойцы играли в домино... При появлении генерал-полковника все растерялись от неожиданности. Но командир орудия быстро пашелся и доложил, что «орудие занимается по расписанию».

— Готовы ли к немедленному открытию огня? — спросил Воронов.

— Так точно!

Но Воронова не просто было провести, он приказал показать карточку противотанкового огня. Ее не оказалось. Выяснилось, что орудие совершенно не готово к эффективной стрельбе по танкам. Воронов сделал строгое внушение орудийному расчету и оставил па огневой позиции офицера из штаба дивизии, чтобы тот проследил за устранением недочетов и не уезжал отсюда, пока все не будет отработано... Так орудие за орудием, дивизион за дивизионом готовил он со своими помощниками войска к предстоящему сражению. Он предчувствовал, что оно будет очень тяжелым.

Через несколько дней его вызвали в Ставку для доклада. И снова пошла лпхорадочная работа у Воронова — формировались новые артиллерийские части, соединения. В эти осенние дни по поручению Ставки Воронов вместе с начальником Генерального штаба А. Василевским вновь побывал в Сталинграде. Роль артиллерии в

обороне города была очень велика, в особенности роль орудий большой и особой мощности, заблаговременно вывезенных за Волгу. Его тревожили недочеты в управлении этим мощным огнем. По настоянию Воронова в войсках Сталинградского фронта появилась первая тяжелая артиллерийская дивизия.

Много разговоров вел в эти дни Воронов с генералами и офицерами об обороне, а мысли его были поглощены завтрашним днем — наступлением. Собственно, подготовка к наступлению была главной целью поездки Василевского и Воронова. Все начальные прикидки и примеры приходилось делать в обстановке чрезвычайной тайны. Три фронта должны были участвовать в будущей операции.

Сталинградский, Донской и Юго-Западный, — посланцы Ставки вместе с командующими фронтами А. Е. Еременко, К. К. Рокоссовским и Н. Ф. Ватутиным уточняли силы и средства противника, выясняли возможности наших войск, намечали направления прорывов.

Вывод, сделанный в Ставке и на фронтах, был ясен — гитлеровское наступление на Волге начинает захлебываться, пора начинать контр наступление. Четок был и замысел операции: 4-я и 6-я немецкие армии оказались на острие клипа, а фланги были у них ослаблены. Вот на этих флангах надо было прорывать фронт. На участках прорыва артиллеристам предстояло сломать всю систему обороны врага, а затем сопровождать своим огнем танки и пехоту. Нужно было иметь для этого мощные артиллерийские группировки. Воронов начал создавать новую форму организации артиллерии — артиллерийские дивизии, которые, обладая большой силой и маневренностью, могли бы стать хорошо управляемыми ударными кулаками.

Подготовка такой сложной по замыслу и широкой по размаху операции требовала, чтобы начальник артиллерии страны чаще бывал в Москве, решал в Ставке, в Генеральном штабе многие вопросы. Но обстановка на фронте диктовала необходимость выезда главного пушкаря на Волгу. С командующими фронтами он облежал передовые наблюдательные пункты, чтобы своими глазами видеть полосы будущего прорыва, проверял, насколько обеспечена возможность прорыва.

Девятнадцатого ноября началась наступательная

Сталинградская операция по окружение и уничтожение гитлеровских войск на Волге. Во весь голос заявили о себе в тот день питомцы Воронова. Наша артиллерия показала свое полное превосходство над гитлеровской и взломала вражескую оборону на всю тактическую глубину, войска устремились в образовавшиеся бреши. Недаром 19 ноября вошло в наш советский календарь, как День артиллерии.

Через несколько дней «клещи» сомкнулись, враг был окружен. Но гитлеровцы не спешили сдаваться, они верили, что их выручат, что кольцо окружения будет прорвано — к ним на выручку со стороны Котельникова шла мощная группа Манштейна. Ставка требовала срочно расширить кольцо, для чего начать наступление на среднем Дону силами Юго-Западного и Воронежского фронтов. Координация их действий была возложена на Воронова.

Рассвет 16 декабря наступал медленно, артиллерийская подготовка началась при густом тумане, с наблюдательных пунктов ничего не было видно. Воронов нервничал, как он потом признавался друзьям, он опасался ответного огня. Но противник молчал, пехота и танки устремились в атаку. Через несколько часов оборонительная полоса была прорвана, на следующий день наши танковые корпуса вышли на оперативный простор. Воронов смог на завтра записать: «8-я Итальянская армия прекратила свое существование». Линия фронта была прорвана на двести километров.

Но тут последовало новое распоряжение Москвы:

«1. Ставка Верховного Главнокомандующего считает, что тов. Воронов вполне удовлетворительно выполнял свою задачу по координации действий Юго-Западного и Воронежского фронтов, причем после того, как 6-я армия Воронежского фронта передана в подчинение Юго-Восточного фронта, миссия тов. Воронова можно считать исчерпанной.

2. Тов. Воронов командирится в район Сталинградского и Донского фронтов... по делу ликвидации окруженных войск противника под Сталинградом».

Новая операция получила кодовое название «Кольцо». Идея операции была такова: таранным ударом с запада на восток рассечь надвое окруженную группировку, попутно уничтожая ее отдельные части. Началась

подготовка к операции. Воронов понимал, что сражение предстоит ожесточенное, поэтому было решено вручить гитлеровцам ультиматум, подписанный Вороновым и Рокоссовским, и попытаться склонить их к сдаче. Но враги отказались принять ультиматум. Раз слова не помогли, надо было действовать огнем.

...Опять ночь перед боем. Как всегда, для Воронова она прошла в тревоге. В раннее туманное утро 10 января Воронов прибыл на командный пункт 65-й армии. Он обменялся с командующим армией крепким рукопожатием и многозначительным взглядом. В эту минуту им обоим вспомнилась одна давняя встреча вблизи Мадрида. Воронов—он же «француз Вольтер»—приехал на командный пункт командира Интернациональной бригады генерала Лукача (так тогда звали венгерского писателя коммуниста Матэ Залка). Советником комбрига и начальником его штаба был «немец Фриц», удивительный немец, который на всех языках мира говорил только на русском. Мало кто тогда знал, что «Фрица» зовут П. Батовым. Под Сталинградом он командовал армией, и вот слова встретились мадридцы «Вольтер» и «Фриц» на командном пункте 65-й армии у Волги, чтобы завершить разгром огромной фашистской группировки.

Теперь, когда Н. Н. Воронова нет в живых, не только с увлечением, но и с горьким чувством шемящей грусти раскрывается и читается его мемуарная книга «На службе военной». Особенно трудно оторваться, когда автор посвящает нас в тонкости подготовки разгрома немцев под Сталинградом. Читая книгу, трудно сосредоточить внимание на чем-то одном, наиболее важном, трудно ухватить «главный корень» рассказа, но есть в повествовании такие места, с которых, как с высоченного наблюдательного холма, видно далеко вглубь и вширь. Таков, например, подглавок «Удар»:

«Ночь перед боем... Она, как всегда, проходила в первом возбуждении. Я непрерывно проверял готовность войск, принимал донесения, советовал, поправлял.

Незадолго до начала действий мы с К. К. Рокоссовским прибыли на командный пункт 65-й армии, где нас встретил командующий этой армией генерал П. И. Батов. Нам доложили, что все готово и все ждут условного сигнала. Я пересмотрел командующего артиллерией фронта генерала В. И. Казакова, все ли готово, и, получив от не-

го утвердительный ответ, дал согласие начать артиллерийскую подготовку. Командующий артиллерией 65-й армии генерал И. С. Бескин быстро сверил свои часы с нашими и отправился на пункт управления, чтобы отдать необходимые команды.

Стрелки на циферблате часов двигались в эти минуты словно замедленно.

Видимость была плохая. Даль окутана густым туманом. Оптические приборы бесполезны.

Несмотря на явно плохую погоду, около 450 зенитных орудий и более 250 зенитных пулеметов находятся в боевой готовности, чтобы прикрыть наши войска от вражеской авиации.

Наступил такой момент, когда все орудия и минометы заряжены, спусковые шнуры натянуты, а старший командир на любой батарее стоит около телефона или радиостанции с высоко поднятой вверх рукой, смотрит на часы и ждет команды «огонь».

В 8 часов 05 минут утра в воздухе в определенном направлении появилась серия мощных сигнальных ракет условленного цвета, а радиостанция приняла команду «огонь».

Старший командир на батарее резко опускает руку вниз — и на батарее одновременно гремит залп из всех орудий.

Оглушительный грохот более 7000 орудий и минометов мгновенно перерастает в сплошной, непрерывный гул. Справа, и слева, и над нами слышатся свист, завывание и шуршание летящих снарядов и мин, а в расположении врага сотрясается земля.

Так продолжалось 55 минут. Со стороны противника не было ни одного ответного выстрела».

Последняя фраза в этом отрывке весьма знаменательна: «Не было ни одного ответного выстрела». Да, не от хорошей жизни, стало быть, молчали по ту сторону ничейной полосы! Согласованно действовали наши артиллеристы, обученные главным пушкарем Н. Вороновым, точно в установленное время они уплотнили огонь и по новому сигналу ракет перенесли его на первый рубеж огневого вала, чтобы сопровождать вглубь наступление танков и пехоты. Через некоторое время батареи стали передвигаться на новые огневые позиции — для Воронова это означало: прорыв обороны противника осуществляется успешно.

Пять суток длилось наше наступление. Сколько же гитлеровцев попало в окружение, каково у них положение с продовольствием? До этого наша разведка предполагала, что их восемьдесят — девяносто тысяч. Воронов решил это лично перепроверить: каждый день он тратил на допрос пленных, на изучение захваченных документов. Он установил, что окружено в два с половиной раза больше, чем предполагалось — около двухсот пятидесяти тысяч. Это не усиливало, а, наоборот, ослабляло гитлеровскую группировку, она начала голодать. Воронов сделал из этого свой вывод: никаких пауз, наступать.

Поздно вечером 18 января по радио сообщили о присвоении Воронову звания маршала артиллерии. В это время маршал, только что вернувшись с передовой, крайне усталый, спал, завернувшись в бурку. О своем новом звании он узнал под утро, когда проснулся...

26 января наступавшие армии Донского фронта на Мамаевом кургане встретились с частями дивизии Родимцева. Таким образом окруженная группировка была окончательно разрезана на две части. Началось уничтожение обеих «половинок», а еще через пять дней 64-я армия доложила, что Паулюс вместе с его штабом взят в плен. На следующий день в избу, где жил и работал Воронов, привели на допрос гитлеровского генерал-фельдмаршала Паулюса. Еще два дня пришлось повозиться с остатками фашистского «котла», и 2 февраля в 4 часа дня разгром и уничтожение окруженной группировки был закончен. В плен было взято свыше девяноста тысяч гитлеровцев. Над Сталинградом после шестимесячного адского грохота наступила тишина. Фронт оказался за сотни километров отсюда.

Сталинградская эпопея была завершена и навечно вошла в историю как памятная веха Великой Отечественной войны. Поэты и художники, композиторы и скульпторы, кинематографисты и ученые-исследователи еще долго будут обращаться к событиям тех дней и месяцев, вдохновляясь изумительной отвагой и беспримерным героизмом тех, кто отстоял волжскую твердыню и совершил тот знаменательный перелом в ходе войны. И долго будут вместе с другими помнить представителя Ставки, главного наставника волжских артиллеристов, автора изумительной сталинградской симфонии, потрясшей мир и вселившей в сердца всех честных людей свет-

лые надежды — главного советского пушкаря — Николая Воронова.

Воины-сталинградцы получили заслуженное право на небольшую передышку, па то, чтобы привести в порядок себя, свое оружие. Но Воронову не дали отдохнуть ни дня — его вызвали в Москву и снова направили на фронт, на сей раз на Северо-Западный. Там намечалось разгромить окруженную и упорно оборонявшуюся 16-ю армию гитлеровцев. Собрано было для этого немало наших войск. Воронов начал знакомиться с обстановкой, и ему ясно стало, что операция плохо подготовлена, части и соединения не закончили формирования, направление ударов было выбрано неправильно — наша могучая техника увязла в болотах и трясинах. Операция не удалась. Воронову, мастеру окружения и ликвидации вражеских войск, пелегко было признаться в пеудаче, по в своих письмах Ставке он подробно разобрался в причинах неудачи операции. Он писал, что не следует замышлять крупные операции там, где поглощается много сил и средств без должного результата, решение больших задач надо искать па тех фронтах, где сможем наиболее продуктивно использовать свою громадную и богатейшую технику. С неприятным чувством возвращался Воронов с Северо-Запада, хотя «демянский котел» был ликвидирован. Но такой волевой и целеустремленный человек, как Воронов, умел учиться не только па победах, но и па пеудачах.

Не успел Воронов вернуться в Москву, как ему неожиданно подчинили ПВО страны. А в эту веспу 1943 года гитлеровцы усилили бомбардировку важных оборонных заводов, находившихся в нашем глубоком тылу. Зенитники и истребительная авиация ПВО действовали с огромным напряжением, многие воздушные нашествия были отражены, но отдельным фашистским самолетам удавалось прорваться к берегам Волги. К тому же Воронову подчинили гвардейские минометные части («катюши»). И, удивительное дело, его на все хватало.

Назревала битва па Курской дуге, и Воронов снова на фронте, на этот раз па Брянском, — представителем Ставки. Фронт первые дни оборонялся, но тщательно готовился к наступлению. Воронова беспокоили впервые сформированные артиллерийские корпуса — им предстояло держать экзамен, отстоять свое право на существо-

вапше. В сражении под Орлом один такой корпус отличился при прорыве обороны, показал не только мощный огонь, но и высокую маневренность.

За два дня до взятия Орла Воронов опять срочно вызвали в Ставку — он опять был крайне нужен. Его послали под Смоленск, направлять действия Западного фронта. А затем Воронову позволили и приказали немедленно перебраться на Калининский фронт и проверить его готовность к предстоящему наступлению. Здесь Н. Н. Воронову доложили, что все подготовлено к началу операции. Но он стал разбираться в деталях этой подготовки и пришел к выводу: фронт не готов к наступлению, горючего в истребительной авиации хватает на день боя, не хватает артиллерии различных калибров. Столь неподготовленное наступление могло сорваться. Воронов посоветовал командующему фронтом позвонить в Ставку и попросить отсрочить начало наступления. Тот отказался. Член Военного совета фронта последовал его примеру. Они оба знали, что Верховный не любит переносить сроки начала операций. Не хуже их знал это и Воронов. Но еще больше он понимал, что дело грозило напрасными жертвами, и он позвонил в Москву. К телефону подошел Сталин. Воронов кратко доложил, что Калининский фронт не готов начать операцию в установленный срок, и просил изменить его на плюс шесть суток.

— Что значит «плюс шесть суток»?

Пришлось в нарушение правил назвать по телефону предполагаемую дату. Сталин знал Воронова, знал, что тот без всяких оснований не станет хлопотать по такому щекотливому вопросу.

— Перенос срока утверждается, — слышался ответ. — Но помните — ни минутой позже.

Генералы и офицеры повеселели, когда узнали, что получили несколько дополнительных дней на подготовку к операции, на подвоз горючего и боеприпасов. Быстро были устранены замеченные упущения. Наступление началось успешно, за четыре дня войска продвинулись на двадцать пять — двадцать семь километров и овладели Духовщиной. Снова отличились артиллеристы, они применили несколько интересных новинки. Западный фронт продвинулся на двести двадцать пять километров. Вместе с Калининским он стал угрожать немцам в Прибалтике.

Перебрасывала Ставка Воронова и на Украинские фронты для организации освобождения Крыма, потом снова на Прибалтийские — первый и второй. Всюду, где было трудно и сложно, где требовался зоркий глаз, острый ум и мудрый боевой опыт, Ставка посылала своего испытанного представителя, главного артиллериста армии Николая Воронова.

В 1944 году состояние здоровья Воронова заметно ухудшилось — сказались старые раны. Его перестали посылать на фронты, по душей он был с войсками, отдавая все силы своим прямым обязанностям — командующего артиллерией Красной Армии и командующего ПВО страны. Как всегда и везде, он был на своем месте, талантливо и энергично выполняя воинский долг.

* * *

Мне выпало счастье знать Николая Николаевича Воронова и, позволю сказать, дружить с ним на протяжении четверти века с гаком. Я видел его за рабочим столом и на огневой позиции, на охоте и на трибуне, на концерте и на рыбалке, в дружеском кругу и в семье. Я имел удовольствие пользоваться его хлебосольством и не упускал счастливой возможности ответить ему тем же. Везде и всегда Воронов был по-вороповски красив и обаятелен, скромен и уважителен к окружающим.

Равно — был ли это писатель или егерь, генерал или солдат, профессор или студент — прославленный, всенародно почитаемый воепачальник не терял ни на минуту учтивости к собеседнику, покорял интеллигентностью, располагал естественностью.

Меня, как поэта, подкупала и очаровывала в облике Воронова еще одна удивительная черта: отличное знание русской природы.

Николай Николаевич тонко, я бы сказал, проникновенно, словно художник, ощущал земные прелести и тайны лесов, полей, рек и озер нашей бескрайней родины. Он различал и находил в природе такое, что было скрыто от много равнодушного взора.

Изъездив и исходив пешком родную землю вдоль и поперек, запомнив, искусно запечатлев на фото- и кинопленку несметное количество великолепных пейзажей, он

умел имп любоваться и дорожить, как это свойственно лишь живописцу.

Николай Николаевич так крепко любил охотничьи просторы России, что тосковал по ним, как по людям, а те места, которые не удалось увидеть, относил к числу личных своих больших задолженностей. Так, например, он несколько раз (и осенью, и весной, и зимой) собирался «расквитаться» с моим родным Зауральем, но все мешали какие-то непредвиденные дела.

Однажды я уже сговорился по телефону со своими земляками-курганцами: встречайте, летим на осеннюю тягу в полном вооружении и при надлежащей амуниции! Но... опять что-то помешало.

Тогда Воронов, зная, что у меня имеется географическая карта Курганской области, взял ее на сутки к себе домой и изучил до малейших подробностей. При повой встрече мы разговаривали о зауральских заливных лугах, березовых колках и сосновых массивах так, как будто оба родились па Тоболе. Наблюдательность ботаника, азарт рыбакова и охотника, характер лесника и агронома — все эти хозяйские качества обнаруживались в Воронове разом, и нельзя было не удивляться богатству его окрыленной натуры.

В особенности нельзя было не любоваться Вороновым, когда он обращался к многолюдной, порой совершенно незнакомой ему аудитории, которую надо было увлечь и повести за собой.

Умно, опираясь на факты серьезных наблюдений и профессиональных откровений, просто и веско умел разговаривать па пароде выдающийся российский пушкарь. Разумеется, о чем бы он ни говорил — о международном положении, о делах нашей внутренней жизни, — тема артиллерии вплеталась исподволь в его исторопливую речь.

При всей своей многогранности Воронов был односторонним, артиллерии был он предан всей душой, неоглядно и прочно. Но раз я бывал свидетелем того, как Николай Николаевич вел разговор исключительно только лишь об артиллерии в продолжении двух-трех часов без перерыва, а внимание слушателей (далеко не специалистов в этой области!) не ослабевало. Почему? Потому, что люди слушали захватывающий рассказ.

Воронов являл собою ярчайший пример верности раз и навсегда избранной профессии, патристические идеалы

его были высоки, степень правдивенного служения родному народу безграницна. За это его и возвеличила родина со щедростью необыкновенной.

С пронизательным умом ученого и с гордостью истинного патриота наблюдал Воронов рождение и развитие нового вида оружия — советских ракетных войск. Он писал с вдохновением:

«Наша страна обладает лучшими в мире ракетами, которые безошибочно попадают в заданную точку, в самолет, летящий на любой высоте, имеют практически неограниченную дальность полета и могут нести атомно-водородный заряд любой мощности.

Артиллерия тоже приобрела новые качества. И если империалисты снова развяжут войну против нас или наших друзей, это испытанное оружие безусловно найдет себе применение. Уже потому стоит изучать опыт советской артиллерии в минувших сражениях».

В ракетном оружии, в других родах войск наглядно живет вся огневая суть и стать артиллеристов, их знаменитая железная дисциплина, традиционная скрупулезная точность, инженерная хватка.

Наша отечественная пушка — честь и слава отечества. Говоря о ней и о таких ее рыцарях, как Николай Николаевич Воронов, невольно испытываешь чувство безграничной гордости: да, он жил среди нас.

1970



БАКИНЦЕВ ЗНОЙНЫЕ ГЛАЗА

ЛИРИКА УЧИТ САТИРУ

Время и народ, как известно, самые объективные и надежные судьи любого таланта. С безжалостной прямо-той и спокойной трезвостью отвергают они дутую величину искусственной славы, предадут забвению любую, даже самую раскрашенную, подсвеченную посредственность, и, наоборот, оберегают, возвеличивают подлинный художественный дар.

Два века — достаточный срок для забвения. Но для Вагифа эти два века стали восхождением на вершину славы, его страстное слово победоносно выдержало испытание на прочность, соревнование с великими предшественниками — Низами и Физули.

Гордые и задумчивые газели, мухаммасы и гошмы Вагифа ласкают слух современников, будят мысль, тревожат сердце. Обаяние поэзии Вагифа пленило не только родной народ Азербайджана, оно распространилось на многие народы Ближнего Востока. Молла Панах Вагиф — глубокий лирик, поэт любви, но степень влияния его правдивой реалистической поэзии столь велика, что она властно и благотворно входит в другие жанры. Так, например, выдающийся азербайджанский поэт-сатирик Сабир, несмотря на всю свою саркастическую силу, многому научился у нежнейшего лирика Вагифа. Земная разговорная речь, изящное народное остроумие — это плоды учебы у Вагифа.

Впрочем, удивляться тут нечему. Истинная тонкая сатира всегда дружит с лирикой и находит в ней крепкую опору — человечность, прямоту, веру. Вагиф — возвышенный лирик, но ему совершенно чужды абстрактное

суесловие, бесплотное риторство. Образ его прекрасной возлюбленной почти всегда сливается с образом любимой родины.

Посмотрите, какой водопад звуков и красок обрушивает поэт на читателя, выражая свою влюбленность:

Ты суть моя, ты мой покой, закон,
Мой властелин, мой цезарь, шах и трон.
Хосров мой,— не найдешь тебе имен!
Мой падишах, владыка мой, султан мой!

Ты смех и радость, ты родимый край,
Ты мой жасмин, мой свет, мой сад, мой рай.
Ты мой Восток, Йемен, мой Кятай,
Ты Индия моя, мой Рим, Иран мой!

1968

РАЗЯЩЕЕ ПЕРО

Сабир (Мирза Алекбер Таир-заде) — явление ярчайшее, поэт редкого остроумия, изобретательности и мудрой простоты.

Когда я говорю «мудрой простоты», я имею в виду ту степень совершенства стихотворной художественной речи, которая трогает душу любого читателя, независимо от образованности или даже самой обыкновенной грамотности. Достигает он этого совершенства, по-моему, в первую очередь потому, что затрагивает в своем творчестве животрепещущие темы современной ему действительности — мечту трудовых людей о свободе, о национальной самостоятельности, о взаимоуважении разных народов.

Высмеивая хищническую сущность эксплуататоров, бичуя жадность, высказывая презрение к богу наживы и пропозова, срамя ханжей и фанатиков, возмечивая честность, бескорыстие и моральную чистоту рядовых тружеников, Сабир создал произведения немеркнувшей революционной ценности.

Дух демократической страсти, вера в лучшие времена, в справедливость, горячий призыв к борьбе за счастье людей живут в смелых и гордых сатирах великого азербайджанского поэта, сумевшего в свое время, в пору жестокую и гнетущую, так громко возвысить голос, что его слышали не только на родной ему земле, но явственно восприняли в Турции, Иране, Южном Азербайджане.

Сотрудничество Сабира в боевом сатирическом журнале «Молла Насреддин», где безраздельно царила атмосфера передового свободомыслия, — высокий образец служения родному народу.

Пролетело более ста лет со дня рождения блистательного сатирика Азербайджана, но творения его прощеского ума несут в себе негасимую силу, многие из них, если хотите, просто злободневны.

Сабир очень популярен и любим в Азербайджане и, к сожалению, почти безвестен в России.

Он и сегодня будоражит сердца. На меня, например, Сабир повлиял в жизни весьма благотворно: в его

глубоком и остром творчестве я увидел новое могучее подтверждение необходимости для поэта жить болями и радостями рядовых труженников.

И мудрость, и афористичность, и трезвость — все в Сабире от народа.

Сабир для меня — азербайджанский Некрасов и азербайджанский Крылов одновременно. Я уверен, что он учился человековедению у русской классики с прилежностью чрезвычайной. Лично мне Сабир оказался близок и дорог, словно я его знал с малых лет. Я, прежде чем засесть за переводы стихотворений Сабира на русский язык, искренне попытался выразить свою симпатию такому поэту собственными стихами. Вот они:

Зоркий поэт Сабир!
Прпстальное перо!
Жало твоих сатир
впрок до сих пор остро.
Как ты любил воздать
труженнику хвалу
и обесславить звать —
бека,

купца,

моллу!

Как ты умел поддеть
шкуришка за поздю,
всыпать

(чтоб знали впрядь!)

хану и визирю!

Как из сырца-словца
гнева свивал вожжу,
чтобы огреть лежеца
и отхлестать хапжу!

Как ты умел сполна
хама умерить прыть,
высмеять болтуна,
лодыря посрамить!

Но, факты в ладонь сложив,
диву дасешься аж:

он еще частью жив,
битый тобой типаж.
Много минуло лет,
рабья жизнь позади.

Хапов-то,
 правда,
 пет,
а хамов хоть пруд пруди.
Строй, что всем был постыл,
сброшен с твоей земли.
Беков-то след простыл,
а лодырей

 хоть соли.
Да и тупых мещан,
впившихся в барахло,
жадным под стать клещам,
число еще не мало.
Их пельзя упрекнуть,
у них современный стиль,
не приписной отнюдь
к лепости простофль.
Дом их не описать,
диво — куда ни глянь:
радпоблагодать
и телеобаянь.
Быт, так сказать, в седле,
с техникою в ладу:
магнитофон в чехле,
«Волга» на поводу.
В лунной пижаме сам,
в звездном шелку сама.
Николь,

 нейлон,
 лавсан —
можно сойти с ума!
Видимость хороша,
спесь на деньги верхом.
Видимости!

 А душа
вся затыпулась мхом.
Вытравив стыд и честь,
врезались в естество
взяточничество и лесть,
паглость и кумовство.
Ах, дорогой брат,
встал бы ты, поглядел,
сколько б тебе подряд

нашлось неотложных дел!
Сабир!
Пусть промчатся дни,
года пролетят, века,
гнев твой — любви сродни,
грусть — доброте близка.
Хочется мне, чтоб ты
по-русски заговорил
голосом прямоты
в полную меру сил.
Ведь целить с твоих высот
написано мне на роду
в тысяча девятьсот
одиннадцатом году.
В тот год омрачился мир,
земля содрогнулась вся:
умер Мирза Сабир,
а я как раз родился.
Нить продлевает пить,
вдох порождает вдох.
Сабира переводить
мне, значит, велел сам бог.

Баку — Москва
1966—1967

ПОЭТ ДРАМАТУРГИИ

Я должен поделиться одним чудесным открытием, раскрыть свой маленький, но чрезвычайно важный для меня секрет: к полному пониманию драматургии Джафара Джабарлы я пришел через поэзию Сабира.

Да, да, чем глубже и пристальнее я вникал в пламенные сатиры Сабира, тем яснее и богаче раскрывались передо мною страстные пьесы Джабарлы.

В чем дело? Один — поэт в самом строгом профессиональном смысле, автор поэтических миниатюр, его стихия — стихотворная речь.

Другой — драматург по всей своей художнической сути, мастер сцепоческого диалога, так сказать, дока острых конфликтов, созданных средствами разговорного, но отнюдь не рифмованного языка. Да и жили-то они оба в разное время, и писали о разном. Правда, Джабарлы в молодости грешил стихами, сочинял даже поэмы. Одну из них — «Девчью башню» — в отрывках я читал на русском языке, и получил удовольствие. И все же Джафар Джабарлы — прежде всего драматург, запевала советской азербайджанской драматургии. На первом плане у него — человеческие характеры, столкновение страстей, действие. Что же так сильно роднит драматургию Джабарлы и поэзию Сабира?

По-моему, в первую очередь — жгучая, беспредельная любовь к своему народу, впаивать к его угнетателям, мечта о светлом будущем Азербайджана и страстная, упрямая борьба за это.

Острота, бескомпромиссность, лукавая веселость, презрение к стяжательству, решительное, громкое требование раскрепощения жещины, постоянный бой невежеству — вот далеко не полный перечень идейно-художественного родства двух народных печальников. И на сцене, и в чтении пьесы Джабарлы отличает глубокое знание жизни, зорко схваченные мотивы современности, по-сабировски правдивое изображение увиденного и услышанного.

Я не буду перечислять все пьесы Джабарлы, но две главные из ряда написанных им — «Севиля» и «Алмас» — одинаково хороши для меня и при свете лампы, и при

свете компактной настольной лампы,— историям, правда, мастерство озаряют их.

Работая над переводами стихов Сабира на русский язык, полюбив Сабира, я получил счастливую возможность погрузиться в глубины азербайджанского бытового говора, в историю народа и, как мне кажется, смог если не постичь до конца, то, во всяком случае, близко ощутить особенности многострадальной, трудолюбивой, революционной нации, различить в ней громкое и приглушенное, отсталое и передовое.

Повторяю: полюбив Сабира, я не мог не полюбить Джабарлы.

Влияние Сабира велико, обаяние чрезвычайно устойчиво. У меня сложилось впечатление, что Сабир словно бы взял меня за руку и повел по широкому полю азербайджанской литературы, показывая ее несметные богатства. Так, например, в поиске слияния двух начал азербайджанской поэзии, лирики и сатиры, я недавно отправился в далекое прошлое, вдумчиво перечитал великого Вагифа, затем проштудировал нашего выдающегося современника Миканла Мушфика, а теперь вот заполо открыл Джабарлы.

Горько, ах, как горько, что Джабарлы так рано ушел из жизни!

Ведь он был не просто драматург, а настоящий поэт драматургии.

В осеннем небе трубы журавлей.
Летят в обратный путь.

Курлы...

Курлы...

А я в печальной комнате своей
спужу вдвоем с Джафаром Джабарлы.

Сажу,

над книгой голову склопя,
то улыбнусь,

то хмурюсь в свой черед.

Что ни страница —

мысль пленит меня,

что ни строка —

живое чувство жжет.

Не знаю, ветер, что лп, вивоват

иль поздних листьев желтая печать...

Но грустно мне, что рано умер брат,
и не хочу об этом я молчать.
Как мало прожил славный Джабарлы
и как,

однако,

много сделать смог!
Слова, как зерна, четки и круглы,
язык упруг,

прекрасен строгий слог.
Как мало прожил!

Только тридцать пять!
В шагу времен, наверно, миг один...
Вот взять бы

да вернуть его опять
в обратный путь, как журавлиный клин.

1969

ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ

Микаил Мушфик не успел состариться физически, уйдя из жизни очень рано. А молодость духа, присущая его поэзии, столь велика, что ныне, прикасаясь к его стихам, произнося их, ощущаешь его живым.

Такое впечатление, что страстный, красивый поэт не умирает, что он движется, дышит, находится рядом с нами.

Так бывает редко. А если бывает, то обязательно в связи с памятью о человеке незаурядном, выдающемся, запавшем в сердца людей надолго и всерьез.

Судьба обошлась с Мушфиком безжалостно и несправедливо — имя его выпало из хрестоматийных изданий на долгий срок, не упоминалось в ряду заслуженных имен много лет, и читатели (в равной степени как азербайджанские, так и русские!) лишены были возможности слышать правду о большом художнике.

Даже в 1960 году, когда уже была восстановлена прежняя незапятнанная репутация Мушфика, в Антологии азербайджанской поэзии на русском языке, вышедшей в Гослитиздате в Москве, словно по инерции, чрезвычайно робкие и сдержанные эпитеты были отпущены в адрес поэта, как в предисловии к Антологии, так и в «сведениях» об ее авторах.

Между тем я еще мальчишкой, в начале тридцатых годов, слышал это звонкое имя — Мушфик! — его называли у нас, в молодой поэтической среде Москвы, рядом с именами Самеда Вургупа, Мамеда Рагима и Сулеймана Рустама. Позднее я из уст самого Самеда услышал восторженную оценку произведений Мушфика, а еще позже сам почитательски, по-писательски проник в благоухающий, ароматный, шелестящий, наполненный редкими ритмами и покоряющими звуками, просторный сад его умной поэзии. Хотя бы потому, что Микаил Мушфик в свое время так свежо, взволнованно и умело перевел на азербайджанский язык произведения Пушкина и Лермонтова, мы, русские поэты, говорим ему: спасибо!

Но мы говорим ему «спасибо!» прежде всего за то, что он, только лишь взявшись за перо, сразу же стал

пеустанным, пеукротимым тружепником поэтического цеха, одержимым изобретателем нового в поэзии.

Он, как наследник великих поэтов прошлого — Низами, Хагани, Физули, Вагифа и Сабира, как поклонник устного творчества, не оторвался от родимой почвы, но как никто другой в юном возрасте ринулся в творческий поиск.

Умелое, смелое сочетание аруза и силлабики, яркая метафоричность, обновление эпитета, принципиальный отказ от выспренности, стремление пайти земное, естественное слово, — все это составные части высокой технологии темпераментного письма Мушфика, сделали его поэтом очень индивидуальным и современным. Я не забуду, как покойный Илья Сельвинский, сам всю жизнь занимавшийся реформой стиха, сказал мне мечтательно и грустно: «Ах, какой поэт был в Азербайджане! Мог бы стать великим. Мпкакпом Мушфиком звали. Почитайте его, не пожалеете!»

Услышать от Сельвинского такую похвалу можно было печасто. Я помню, впервые прочитал стихотворение Мушфика «Мост» в превосходном переводе Павла Антокольского и действительно восхитился его художественной и пдейной сплой:

Я мощный мост. Я смелый переход
Из прошлых тяжких лет в грядущий год.
Из тьмы развалин — к цветникам весны,
Из унылания в молодые сны,
Из смерти в жизнь, от рабства к мятежу.
Вы знаете, как честно я служу.
Что мне угрозы гор и ярость рек!
Мне Ленин стал учителем навек.

Здесь каждое слово правдиво и весомо, убежденность и вера согревают каждую строку.

А сколько обаяния, естественности и новизны в стихотворении Мушфика «Мой стих», также отлично переведенном на русский язык Павлом Папченко:

Ты весь — подобье бытия, — не так ли, стих?
Его душа — душа твоя, — не так ли, стих?
И солнца свет, и блеск луны — в руке твоей.
В руках моих
Все хорошеет с каждым днем, — так хорошей
И ты, мой стих!

Тут ясная, открытая позиция мастера, не декларация, а живая, задушевная беседа один на один со своей художнической совестью, своеобразная исповедь мастера. Такое можно встретить и услышать только под кровлей умельца-трудюба.

За короткий рабочий десятилетний срок, отпущенный ему судьбой, Мушфик успел сделать многое — в его активе яркие, эпические вещи, полные глубокого социального смысла, новаторски решенные, такие, как «Мечта о Мингечауре», «Песнь о Тертергесе», «Дядя Джаби», «Дастан о свободе». Нежные стихи о природе, о любви, о будущем успел написать беспокойный поэт.

То, что не вошло в сборники Мушфика при его жизни и оказалось, к счастью, сохраненным для читателей, красноречиво свидетельствует о незаурядном трудолюбии поэта.

Как благодарны мы все — и русские поэты, и русские читатели — вдове поэта Дильбер-хапум за то, что она в трудные времена сберегла неопубликованные произведения Мушфика. Благородное дело совершила Дильбер-хапум!

Мушфик не знал усталости в труде. Известны его замечательные слова: «Самые несчастливые минуты моей жизни — это минуты, проходящие без стихов». По ассоциации вспоминается случай с Сергеем Есениным. Однажды один литератор встретил его в Столешниковом переулке: «Вечно ты шатаешься, Сергей! Когда же работаешь?» — «Всегда», — ответил Есенин. Если волей-неволей напрашивается сравнение Мушфика с великим лириком России, значит, действительно прекрасен был Мушфик! Поэт вечной молодости!

1969

Имя Самеда Вургуня — светлое, всенародно любимое имя. Когда я говорю: всенародно любимое, я имею в виду не только народ Азербайджана, а весь народ Советского Союза, все национальности нашего бескрайнего социалистического отечества.

Начиная с юношеских стихотворений, таких, как «Гёк гёль», наполненного страстным протестом против попыток отдельных националистических элементов возродить время буржуазно-помещичьих порядков на азербайджанской земле, таких, как великолепный искрометный «Азербайджан», и далее — в горячих, патристических стихах, написанных в дни Отечественной войны и после нее — в защиту мира, стихах, срывающих маски с реакционных, фашиствующих правителей капиталистического Запада, в первоклассной публицистической лирике (и сороковых, и пятидесятих годов) Самеду удалось ярко, я бы сказал, бессмертно выразить мысли и чувства советского народа.

Убежденный интернационалист, национальное достоинство сопоставлял огромному таланту этого темпераментного человека, ежеминутно, ежечасно не переставая жить и мыслить образами.

С юных лет и до смертного часа влюбленный в великого лирика XVIII века Вагифа, преданный ему разумом человека и художника, Самед Вургун сумел с блеском проявить себя мастером разных жанров: он и тончайший лирик, и глубокий драматург, и страстный публицист, и взыскательный переводчик. Я, как и все поклонники Самеда Вургуня, высоко ставлю его вдохновенную драматургию, его народную пьесу «Вагиф», драму «Фархад и Ширин», словно бы продолжившую широкое течение пламенного искусства великого Низами.

Я с особой благодарностью произношу имя Самеда, бережно переведшего пушкинского «Евгения Онегина» и горьковскую «Девушку и Смерть» на азербайджанский язык. Как поэт России, я рукоплещу ему и скорблю о нем.

Единственным утешением в этой моей скорби служит сознание того, что произведения Самеда Вургуня прочны и долговечны, что его пленительный образ поэта и человека не подвластен тлену.

1968

И устно и письменно я уже не один раз заявлял, что, всерьез приобщившись к творчеству великого азербайджанского поэта Сабира, я, словно подчиняясь силе волшебства, стал поочередно узнавать заново многих поэтов Апшерона, и классических и современных.

Среди последних одним из самых существенных открытий для себя считаю превосходное, на редкость индивидуальное творчество Расула Рза. В нем тонко и взаимообогащающе соединились традиционное классическое наследие азербайджанской поэзии и смелый, упрямый поиск свежих форм, новой лексики, способной выразить бурное время.

Расул Рза, несомненно, принадлежит к числу «трудных» поэтов, образная речь его насыщена ассоциациями, ритмически неожиданна, часто до такой степени освождена от привычных стихотворных норм, что кажется на первый взгляд хаотичной. Расул Рза задиристо, порой даже воспаленно вводит в стих элемент резкого спора с неакомыслящими, поднимает полемику до уровня поэтической страсти. Вот, пожалуй:

Строки мои не сладкие.
Не с медом, не гладкие.
Ни к пиру хмельному,
ни в альбом девицы
мой стих не годится...

И далее особенно убежденно, с изобретательной броскостью, с политической ясностью и поэтому очень доказательно поэт говорит:

Есть река —
с лягушками, с тиной,
а есть река —
с турбинной, с плотинной,
работающая, как богатырь.
Есть люди,
которые в корень глядят,
и есть такие,
что просто галдят.

(Перевод В. Виноградова)

Как видите, Расул Рза не останавливается перед ораторской запальчивостью, приближает звучание строки к

прямой разговорности, но делает это не по бедности выразительных средств, а во имя высшего принципа — обобщения стиля и утверждения высокого социального разума.

Но чтобы понять сущность исповедуемых поэтом художественных и гражданских «установлений», почувствовать глубину его самобытной работы, надо прежде всего вчитаться, сосредоточенно выплывать в его напряженную, тревожную поэзию.

Я так и поступил. Пересчитал не торопясь несколько книжек Расула и увидел картину яркую, изобилующую мыслями, светотенями, разнообразием приемов.

Да, Расул Рза боготворит своих могучих предков — Низами, Физули, Хагани, Сабира, в крови своей несет певучую форму газелей и мухамматов, но он решительно революционизирует поэтическую фразу, не боится отступить, оторваться от канона, не теряя при этом национального звучания. В прекрасном стихотворении «Море и поэзия», отлично переведенном на русский язык Ярославом Смеляковым, эта светлая восточная живопись обозначается наглядно:

Мне случалось видеть,
как, пространство тревогой наполни,
поверху, а внизу
трепетало
 сверкающе молний.

И о том еще речь, —
это тоже со мною бывало! —
что и радуга с плеч
широко, как халат, висела.

Расул Рза — поэт беспокойного сердца, круг его волнений, радостей и печалей широк и многолик, жизненные заботы многочисленны.

Поэта тревожит разное — процесс международной реакции и трепетная верность двух влюбленных сердец, успех нефтяников Каспия и полет божьей коровки, вспорхнувшей с ладони.

Так и должен жить в искусстве человек, обладающий чутьем художника, отличающийся настоящим общественным темпераментом. Иначе сузится его талант, пообращеннее приобретет ограниченность, характер постепенно привыкнет к излещенности спокойствия, а затем и к боковой застою.

Расул Рза чрезвычайно прям в своем понимании роли человека на земле. Не один раз я встречал в критических заметках о нем эту кренкую цитату из стихотворения «Пока есть время», но хочется сегодня повторить ее еще раз. Суровые и верные слова обращает поэт к труженику:

С врагом будь беспощаден,
с другом — нежен.
Пока есть время —
живи,
трудись,
но так, чтобы, когда уйдешь,
увидели бы все, что там,
где ты стоял,
зияет пустота...

(Перевод М. Павловой)

При всей моей сдержанности к усложненной технологии стиха и давней приверженности к строгой классической форме русского стихосложения я не могу не признать за Расулом его завидных достижений в области обновления азербайджанской поэзии. Мне импонирует органический сплав мудрой красоты прошлого с великолепной дерзостью настоящего, сплав, позволивший Расулу произвести на свет божий такие первоклассные вещи, как «Свеча», «Моя любимая», «Разные глаза», более поздние — «Дождь», обаятельный, хитрый цикл «Краски», упомянутое выше «Море и поэзия». Это все — плоды постоянного раздумья, изобретательности, известного «производственного риска».

Даже в такой ответственной работе, как создание образа Ленина, в соприкосновении с матерпалом, требующим предельной духовной отдачи и исторической точности, Расул Рза идет на смелую пробу, отваживаясь на разумный домысел, более того — вымысел.

И делает он это не потому, что хочет поразить «оригинальностью», а потому, что стремится запечатлеть, добавить новую черту к облику революционного гения, не оскорбить заветную тему равнодушием и штампом. Именно потому поэма «Ленин» во многих местах поднимается до подлинно художественного откровения.

Расул Рза отметил свое шестидесятилетие. Возраст серьезный. Говоря языком ассоциаций, прожито две лермонтовские жизни «с гаком». Многие сделали, многие

предстоит сделать; мечта, зрелое умение ведут вдохновенного мастера по дороге предстоящих удач, чреватых, конечно, и неудовлетворенностью, без нее истинного мастера не бывает.

Паренек из захолустного Геокчая, рано познавший споро, нелегкий труд, жадную, по бессистемную учебу, очарованный с малых лет музыкой стиха, состязанием ашугов, комсомолец, юный журналист Расул Рза, как и многие его сверстники, пришел в поэзию через газету, через литературный клуб, полный табачного дыма и шумного поэтического спора, в котором, как известно, каждый прав.

Ныне Расул Рза — народный поэт Азербайджана, признанный и обласканный не только земляками, но и всесоюзным и зарубежным прогрессивным читателем. Коммунист, депутат Верховного Совета республики, возглавляющий сложное, фундаментальное дело по созданию Энциклопедии Азербайджана, талантливый поэт, боец идеологического фронта Расул Рза находится на передовой линии жизни. Любители поэзии рукоплещут ему и хотят видеть его неустанно деятельным много-много лет.

1970



ПРАВДА ЧУВСТВА

ЛЕНИН В СЕРДЦЕ

Каждый советский человек, разумеется, думает о великом Ильиче по-своему, чаще всего с позиции своей профессии, сверяет собственную скромную жизнь с подвигнической жизнью вождя.

Какой сторопой Ильичево учение вошло в заповедную суть твоей специальности? Как помогло тебе лично обращение к лепинским трудам на нелегком пути к заветной творческой цели?

Сколько людей — столько и дум людских. В моем, например, представлении дума о Ленине связана всегда с одним и тем же: с длинной очередью к Мавзолею. Это, может быть, излишне грустная ассоциация, но именно так: с Мавзолея для меня начинается Ленин. Сердце мое летит на Красную площадь, к тихим кремлевским елям. Вот она, отполированная миллионами подошв брусчатка. В жару и в холод, в дождь и в пургу течет неслышный людской ручей, вереница сосредоточенных сердец. День за днем, месяц за месяцем, год за годом, десятилетие за десятилетием. Идут люди разных национальностей, несхожих возрастов, местные и приезжие, рабочие и интеллигенты, горожане и сельские жители, гражданские и военные. Я и сам не один раз каплей сливался с потоком, «чтобы взглянуть на профиль желтый и красный орден на груди».

Что это: присяга? Поклонение? Причастье? Любопытство? Нет, это — могучая тяга к редчайшему, удивительному человеку, к его последнему привалу.

Один раз, снова и снова посетив Красную площадь, я записал в своем лирическом дневнике:

В который раз я на месте этом,
а сердцу кажется, что впервые!
Стоят здесь молча зимой и летом
в камень вросшие часовые.
Благоговейно, в раздумье строгом,
медленно я прохожу пред ними
и так же медленно, слог за слогом
произношу дорогое имя.
— Ленин! — шепчу я, а за спиною,
за окрыленной спиной моею,
кто-то такой же, как я, за мною
также движется к Мавзолею...
Солнце катится в небе чистом.
Пахнет день тополиным клеем.
И ласточки с легким внезапным свистом
пизко проносятся над Мавзолеем.
Проходит камень под их крылами
такой прекрасный и благородный,
как будто вымыт он не дождями,
а горькой, светлой слезой народной.

Но эти строки родились в 1947 году, в работе над книгой «Москва советская». А ведь Ленин-то в моем сердце жил уже давным-давно. Когда же это произошло — как, при каких обстоятельствах прикипело к сердцу необъятное, доброе, надежное, окрыляющее имя — Ленин?

И вот я мысленно переполнусь в далекое Зауралье, в мой родной, в ту пору уездный городок Курган, на реку Тобол в продрогший день 21 января 1924 года. Как злоеущее эхо непоправимой беды, как удар грома оглушила страшная весть: умер Ильич. Вижу себя долговым паренком, тревожно разглядывающим суровые завьюженные лица взрослых, на многих из них стынут на ветру слезы, чую общую всенародную скорбь, понимаю детским умом, что стряслась катастрофа, ушел из жизни огромный человек, заступник бедных и враг богатых, не жалевший себя ради счастья народа.

Говорят, что детские впечатления — самые сильные впечатления. Правильно говорят. Но потому ли, несмотря на все злоключения моего сиротского детства с его вы-

пужденно затянувшейся малограмотностью, я продрался-таки сквозь дебри неведения, и хоть смутно, но зато всем своим существом ощутил правду Ленина, полюбил пародного печальника, раз и навсегда отдал ему прочное место в сердце.

Это ведь Ленин «виноват» в том, что Советская власть с отцовской энергией вырвала меня из темноты, с материнским терпением окружила заботой, обогрела, вскормила, образовала и сделала в конце концов человеком.

Не потому ли самой первой моей скромной удачей на избранном пути оказалась маленькая поэма «Анна Денисовна», в основе которой стоят два образа: многострадальная русская мать-крестьянка, раскрепощенная Октябрем, и ее сын, смысленный батрацкий сын Павел Дыбенко, вознесенный на гребне революции до высот знаменитого красного полководца? Оба они — и сын и мать — суть грозных справедливых социальных преобразований, плод ленинского гения. Не потому ли в молодом возрасте, следом за «Анной Денисовной», я взялся за написание трехчастной поэмы «Портрет партизана», поставив в центре повествования фигуру выходца из самых глубоких низов трудового народа — Александра Черепка?

Мой герой, сначала батрачок, потом копюх у московского купца, затем мастеровой на одном из заводов Москвы, переносит всю тяжесть бесправия старой царской России и становится в результате активным сознательным воином.

Александр Черепок бьется за счастье своего класса, за свое собственное счастье, подобно тысячам и тысячам на него похожих.

Выбор темы, погружение в толщу революционного материала, стремление раскрыть, показать, воспеть душу рядового бойца, его всечасную битву за правое дело пролетариата, по-ленински возвеличить солдата революции, — вот что владело мною в упрямой, многолетней работе над «Портретом партизана».

Надо прямо сказать, я в ту пору раннего стихотворчества не был знаком всерьез с основой ленинского учения о государстве и революции, не говоря уже о таких пасущих для каждого литератора работах, как статья «Партийная организация и партийная литература» или, скажем, теория отражения.

Не читал я тогда еще с должным прилежанием и высказываний Ленина о Герцене, Белинском, Добролюбове, Салтыкове-Щедрине, Тургеневе, Г. Успенском, Л. Толстом, М. Горьком.

Стыдно признаться, но уровень «проклятого воспитания», помноженный на легкомыслие и неопытность, был именно таким.

Но всепроникающий резкий свет ленинского влияния, к счастью, не миновал и меня. Ленин направлял мою вихрастую музу, Ленин держал меня в непрестанном плену идей, Ленин водил моим пером.

Как же так, спрашивается?! Ваялся, можно сказать, за создание эпосов, а Ленина не проштудировал! А так же: Ленин был для меня буквально во всем — в пятипалых рубиновых звездах Кремля, в отважном Чапаеве, увиденном на экране, в миллионпоустой народной молве о том, что жить стало лучше, богаче, ярче, в электроогнях новостроек, в гуле метро, в рокоте несчетных тракторов на колхозных полях, в ученой тишине вузовских аудиторий, куда хлынули за знаниями сыновья рабочих и крестьян.

На каждом шагу, всюду присутствовал Ленин — философ, политик, учитель, советчик, открыватель.

Сама личность Ильича, весь комплекс присущих ему черт, известных каждому пионеру, — похвала трудолюбию, осуждение праздности, дисциплина, аккуратность, вежливость, жажда быть полезным родине, способность преодолевать трудности в борьбе с врагами, стопеческая привычка не терять самообладания в трудную минуту, умение класть противника на обе лопатки силой логики, — все это палучает облик Ленина и властно ведет за собой, очаровывает, подтягивает, бодрит.

Честным трудолюбам всего мира, независимо от того, землекопы ли они или художники, страстно хочется, пусть чуточку, пусть самую малость, быть похожим на Ленина.

Я понимаю «ленинскую тему» не узко, не только как изображение физического образа Ленина — коренастого, подвижного человека, порывистого, горячего оратора или задумчивого собеседника, в уста которого автор произведения вкладывает свои приблизительные слова, заставляет его по своему разумению двигаться и совершать какие-то поступки.

Нет, я не против известной доли домысла и даже вымысла и допустимой условности,— без этого нет настоящего искусства. Но для меня понятие «Лепни» имеет более расширительное значение — сущность Лепнина распространяется на мысли и поступки многих людей, на гигантские пространства и расстояния, на многочисленные судьбы, роднится с ними.

Когда я писал поэму «Красный галстук» о пионере-герое Коле Мяготипе, повторившем подвиг Павлика Морозова,— для меня это была «ленинская тема».

Когда я очутился в Америке и встретился в порту Сан-Франциско с чернокожими докерами, отказавшимися грузить оружие, предназначенное для грязной войны против Вьетнама, не глядя на грозящую им беду, открыто выразившим и единство взглядов с СССР,—это для меня была «ленинская тема». Я явственно услышал в этом факте животрепещущий громкий голос Ленина, его призывные мысли о международной рабочей солидарности.

Когда я с воодушевлением взялся переводить на русский язык стихи азербайджанского революционного поэта-сатирика Сабира, мужественно возвысившего голос в защиту бедняков, достигшего под влиянием событий 1905 года подлинных вершин обличительной поэзии,— для меня это тоже была и есть «ленинская тема». Я увидел в лукавом мятежном творчестве Сабира, в самом процессе художественно-идейного единения с ним неумолкающие, нарастающие отзвуки мудрой национальной политики Ленина.

Теперь, когда я собираю материалы для работы над поэмой о настоящем богатыре духа, Герое Отечественной войны, генерале Дмитрие Михайловиче Карбышеве, попавшем в состоянии тяжелой контузии в плен к фашистам,— я глубоко убежден, что опять нахожусь на подступах к «ленинской теме».

Д. М. Карбышев твердо отверг предложения захватчиков сотрудничать с ними, в течение трех лет выполнял каторжные работы в концентрационных лагерях, одновременно проводя подпольную деятельность в пользу советских военнопленных, и принял мученическую смерть от палачей.

Ученый генерал-патриот, по имеющимся неопровержимым сведениям, погиб гордо, не теряя достоинства, с дорогим негасимым пламенем Ленина в сердце.

Самодовлеющая мощь факта в данном случае так значительна, что есть опасность оказаться на поводу у факта, но я надеюсь избежать «лобовое» решение темы, дать волю воображению, не нарушая, конечно, художественной правды.

Трудно? Безусловно, трудно. Но в запасе уже есть и профессиональная зрелость, и достаточный опыт, и самое главное — настойчивое желание и возможность посоветоваться с Лениным, пикинуть в исчерпывающе точные его рекомендации при оценке исторического события.

Позволю себе закончить прозаические заметки в стихотворной форме:

Перед тобой лежит раскрытый том
бессмертных, вдохновенных сочинений.
В нем все живет и все светло, как днем,
все озарил нетленной правды гений.
Все окрыляет, будит и зовет,
на новый бой за истину склпкает
и все неудержимее вперед
торопит в путь, па подлинг увлекает.
На все вопросы здесь найдешь ответ,
увидишь ясной мысли постоянство.
И молодой, лучистый, щедрый свет
пронизывает время и пространство.
Какое счастье жить и созавать,
что весь парод наш — Ленина наследник,
что каждый шаг твой в жизни направлять
не устает великий собеседник!

Иногда задают вопрос: что требуется для того, чтобы человек стал поэтом? Как же облегчить ему восхождение на ту соблазнительную и труднодостижимую вершину художественной деятельности, которая именуется поэтическим мастерством?

Я думаю, что научить человека писать хорошие, тем более отличные стихи нельзя. Его только можно подтолкнуть в этом направлении. Можно возбудить в нем жажду рабочей гордости или пополнить его знания и таким образом вооружить необходимым инструментарием, но дать ему ключ к тому, чтобы «стать поэтом», невозможно. Это «стать» или «не стать» живет в нем самом, как березовый сок в стволе, как эхо в горах, как чудо зрения в глубине зрачка.

Поэт образовывается и вырастает сам по себе, если неотступно преследует мечту, если в любую минуту готов встретить грудью любую из неприятностей, которые сулит ему избранный путь, если не ищет обходной тропки и жесточайшим образом сопротивляется чужой походке, постороннему влиянию.

Скажу даже более: можно быть автором нескольких стихотворных сборников и одновременно не быть поэтом.

Кажется, Карамзин остроумно заметил про одного известного поэта XVIII века: он написал много книг токмо лишь для того, чтобы доказать, что писать не умеет...

Специально учить, как учат «па инжепера» или «химика», намеренно «выводить в поэты» немислямо уже хотя бы потому, что ни один человек па свете не сможет предугадать и определить «профиль» будущего поэтического производства.

Кроме того, существует такой неписанный закон: если молодой человек даже имеет талант (а талант—это уже очень много; вспомните, что говорил В. И. Ленин: «Талант — редкость...»), но не тренирует перо, «творит» спокойно, спустя рукава, он в конце концов может творчески отстать от самого себя, от собственного дарования.

И наоборот — человек менее одаренный, по привыкший трудиться засучив рукава, может в результате выправиться вперед.

Недавно редакция одного журнала (не литературно-художественного) обратилась ко мне с просьбой высказаться, по возможности популярно, на тему о труде поэта. Сотрудники журнала сетовали, что их редакцию осаждает такое количество конвертов со стихами, что они буквально утопают в этом потоке. Одним словом, понадобилась серьезная и неотложная «профилактическая» помощь.

Представляете, если журнал не литературного профиля пнзнегоает под грузом продукции начинающих поэтов, то что же происходит с «Комсомольской правдой», «Огоньком», «Знаменем», «Октябрем» и «Новым миром»!

Вообще-то говоря, удивляться нечему. Дело объясняется просто: растет общая культура народа, люди обзаводятся личными библиотеками, стали общедоступными радио и телевидение. Люди материально, а следовательно, и духовно живут богаче, и многие пробуют свои силы в литературе, и прежде всего пытаются писать стихи.

Но многие из начинающих не понимают, что главное в поэзии — это естественность музыкальной речи, полет верного, красивого слова, обязательно простого и понятного каждому.

Главное в поэтическом произведении — это образный рассказ о правде жизни. Короче говоря, настоящая поэзия должна быть доходчива, увлекательна и, конечно, поучительна.

Читатель, уважая литературу вообще и, в частности, уважая поэзию, прочтает, пожалуй, любые напечатанные стихи, но увлечется он теми стихами, поймет, полюбит и запомнит те стихи, в которых будет преобладать главное, необходимое — строгая простота, ясность, мысль.

На первый взгляд все обстоит легко. Надо стихотворцу избегать витиеватых фраз, следить за благозвучным сочетанием гласных и согласных, употреблять в качестве «строительного материала» свежие обороты речи, заботиться о сюжете — и все будет в порядке.

Но в том-то и дело, что умение соблюдать эти «несложные» правила при писании стихов удастся не каждому, даже способному, стихотворцу.

Один, стараясь быть простым, понятным и доходчивым, впадает в назойливую простоватость, другой, стараясь во что бы то ни стало быть музыкальным, злоупотребляет аллитерациями, третий в погоне за яркостью становится крикливо-пестрым.

Хорошо еще, если один только из перечисленных недостатков сопутствует поэту, но худо и поистине горько видеть человека, «вооруженного» всеми тремя. Вот такой-то человек, не признающий за собой своих грехов, упрямо, много, самообманно преуспевающе строчащий в рифму, по заслугам и называется графоманом.

Мне могут сказать: дело в даровании, в таланте. Да, в таланте, но надо уметь им пользоваться.

И вот тут-то на первый план в труде стихотворца выступают терпение, вкус, чувство отбора, темперамент, ум.

Один поэт пишет, преодолевая трудности, ищет, изобретает, совершенствуется, не удовлетворяется достигнутым, тренирует себя; другой идет легкой дорогой повторения чужих достижений, копируя приемы, заимствуя образную систему, бесплодно подражая.

В первом случае вырастает поэт самобытный, не похожий на сотни других, во втором — поэт-эпигон, поэт-рифмач, вернее — не поэт. Все это известные истины, но, к сожалению, о них мы простодушно и часто забываем и утрачиваем подлинное представление о поэзии.

Были раньше и есть, к сожалению, теперь в нашей литературной среде довольно грамотные и даже начитанные, но ремесленно-технически настроенные «рифмующие люди». К ним не придержишься, они состоят в творческом союзе и числятся поэтами. Но при ближайшем строгом взгляде на их продукцию не трудно обнаружить, что она произведена на свет «без божества, без вдохновения», по шаблону, хотя внешне имеет вид вполне стихообразного чтива.

Что это еще такое — стихообразное чтиво? Это откровенно полые стихи, вприки без мысли, плод унылого равнодушия, результат промыслового сочинительства.

В чем дело, в чем секрет этого довольно устойчивого неприглядного явления? А в том, что в стихе, оказывается, можно при отсутствии мысли довольно успешно спрятаться за звонкую рифму, за броский эпитет, можно схорониться за относительно оригинальную формулировку, вызвать так называемый «эффект», произвести «должное впечатление».

Конечно, на опытного, взыскательного читателя подобный «эффект» не подействует, но на молодого, неопытного поэта он зачастую оказывает свое безусловное губительное влияние.

Что же требуется от молодого поэта для того, чтобы он не оказался похожим на таких холодных стиходелов?

Как мне думается, нужно придерживаться, по крайней мере, двух правил: первое — смотреть на поэзию как на искусство слова, а не как на средство к существованию. И второе — необходимо заставить свою поэзию учпться разуму у прозы. Да, да! Прошу понять меня не односторонне — необходимо много, вдумчиво, последовательно, терпеливо читать романы, повести, рассказы.

Углубленное чтение прозы приучает поэта дорожить смыслом написанного, вырабатывает чувство пристрастия к конкретному.

Я утверждаю, что стихи под благотворным влиянием прозы решительно улучшаются, поэзия становится умнее, она приобретает свойства поэзии мысли, а не внешнего «выигрышного» звука.

Могут сказать: ну, раз Васильев заговорил о внешних выигрышах стиха, это уж не что иное, как разповидность вульгарных нападок на форму, очередной призыв к сестри, к инвектированию.

Нет, дорогие товарищи, не о том речь. Форма должна быть яркой и четкой, но не в ущерб содержанию!

И тут уместно вспомнить великого Н. А. Некрасова, который в своем первом романе «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» отчетливо сформулировал мысли о назначении поэта. Вот некоторые из них:

«Писать звучные стишки без идей и содержания не значит еще быть поэтом».

«Поэт настоящей эпохи должен быть человеком, глубоко сочувствующим современности».

«Действительность должна быть почвою его поэзии».

Посмотрите, как эти положения кровно перекликаются с теми задачами, которые стоят сегодня перед нашей, советской литературой, как далеко видел Некрасов!

Хочется еще предостеречь поэтическую молодежь от излишней погони за литературной «модой дня», от своеобразной неосмотрительной игры в «непохожесть», граничащей иногда с бесплодным оригинальничанием.

Я имею в виду довольно четко обозначившуюся тенденцию некоторых московских поэтов (да и не только московских!) подражать чуждым для нас «откровениям» современного поэтического модернизма и даже абстракционизма и всячески изощряться в области стихо-

творной формы. Часто эта погоня за модой приводит к распадам строфы и к вышелушиванию смысла.

У некоторых поэтов оригинальничание, ставка на «непохожесть» иной раз достигают почти пародийных размеров.

Так, например, один поэт в стихотворении «Расклейщица газет» пишет:

Скворцы кричат наперебой
Под нишей магазинною,
И точно розы —
на мостовой
Цветут круги бензиновые.

Во-первых, на гулкой городской улице, как об этом сказано в начале стихотворения, никаких скворцов, да еще под нишей, быть не может, во-вторых, сравнивать «круги бензиновые» с розами — это не только безвкусица, это вычурность, стоящая за пределами образа.

Другой молодой поэт в стихотворении «Парк Победы», описывая молодежный воскресник, не задумываясь сообщает:

Фырча,
разворачивались плиточники,
ссылая железо, кирпич, стекло
п булыжники.

Только в угоду наивно понятому новаторству можно ссыпать стекло, не боясь превратить его в осколки, только в погоне за «эффектностью» можно пренебрегать законами природы, игнорировать смысл. Графически такого рода стихи обязательно изображаются взъерошенно, клочковато, расхристанно, лишь бы только, боже упаси, не было «похоже» и «традиционно».

Наша жизнь, богатая фактами почти сказочного звучания, такими, как проникновение в тайны атома, покорение бескрайних просторов целины и разведка космоса, — разве она, эта действительность, позволяет нам, поэтам, заниматься поверхностным бездумьем, пасаждать поэзию без мысли!

Нам, художникам слова, не след отставать от всего советского народа. Мы так же, как сталевары, хлеборобы, действуем на своем участке строительства новой жизни. Мы так же, как они, должны, естественно, заботиться о кадрах. И кадры идут!

Нет, не оскудела земля советская талантами! Сегодняшнее состояние поэзии чрезвычайно обещающее.

Токарь, комбайнер, солдат, слушатель высшего учебного заведения — люди разных возрастов и профессий идут в литературу, жадно и страстно стремясь служить своему отечеству. Направить по верному пути, серьезно, терпеливо, без скидок на молодость и порой географическую отдаленность от Москвы, оценить достоинства и недостатки — вот долг писателей среднего и старшего поколения.

Правда, призывая «старичков» заботиться о молодых, необходимо высказать, в свою очередь, и упрек некоторым начинающим литераторам. Я не буду называть фамилию одного молодого поэта, скажу только, что он действительно молод и, по-моему, обладает неплохими поэтическими способностями.

Но этому молодому свойственна довольно-таки неприятная черта — пждивенчество.

После того как я выслушал его стихи, одни похвалил, другие основательно «прошерстил» за их, главным образом, режущую слух надуманность и искусственность, вероятнее всего идущую от незнания жизни и от нежелания ее знать и видеть, молодой поэт стал слезно жаловаться на свою неустроенную судьбу. Он стал по-старчески ныть и обвинять всех в невнимании к нему: отказали, видите ли, в творческой командировке, и, дескать, если дело пойдет так, то он намерен бросить учиться.

Закончил он свою длинную жалобу угрожающе: «Чего от меня хота, чтобы я плюнул на поэзию и ушел из литературы?!»

Я ответил жалобщику прямо: «Знаешь что, дорогой! Ты одет, обут, и даже по моде, ты учишься в вузе, получаешь стипендию, живешь в благоустроенном общежитии, тебе предоставлены все возможности развивать свое дарование. И если ты считаешь, что этого мало, тогда действительно плюнь на свои поэтические опыты и отправляйся околачивать груши. А из литературы тебе уходить нет нужды по той простой причине, что ты в нее не входил!»

Я привел этот пример для того, не скрою, чтобы решительно осудить преждевременные претензии некоторых развязных крикунов. Всем нам — и молодым и ста-

рым — надо равняться на великие примеры в труде и в жизни.

Тот же самый Некрасов, начиная свою творческую жизнь на одном из чердаков Петербурга, не получал высокооплачиваемых командировок, а все-таки стал великим поэтом. Гениальный Пушкин венчался в чужом фраке и умер, оставив долги. Но, кроме долгов, он оставил творения мирового значения.

Я говорю о гениях, но и мы, скромные труженики литературы, обязаны жить напряженной жизнью: трудолюбие, одолевая житейские трудности, всегда готовых на свой пусть маленький, но подлинный человеческий подвиг.

Я не против творческих командировок, но узнавать жизнь, идти на тесное сближение с нею, изучать ее надо стараться всеми душевными средствами, а не только при помощи средств материальных.

Мы, поэты, в том числе и молодые, знаем папу, советскую жизнь, нашу современность все же недостаточно полно. Нам мешает еще п неповоротливость, и ненужная привороженность к одному месту, и просто-напросто робость в тот момент, когда нужно вмешаться в жизнь, вплотную приблизиться к ее героям.

Надо полагать, именно от недостаточного знания жизни происходят творческие просчеты, а иногда и срывы даже у одаренных поэтов.

Только пустотою, бездумием и ложной «значительностью» можно объяснить вот такое, смешное до слез, четверостишие одного начинающего поэта:

Вдали играли па балне,
его я слышал из окна.
Солдаты мылись в мыльной бапе,
туда послала их страна.

Выше я говорил о необходимости для молодого поэта сопротивляться постороннему влиянию, не надевать на себя цепи известных образцов.

Я хочу уточнить это соображение: сопротивляться — это сопротивляться, но и не забывать, тщательно изучать образцы, учиться у них, учиться, смело раздвигая круг чтения. Надо черпать для себя из разных источников мудрости и мастерства, надо учиться у Пушкина и у Руставели, у Шевченко и у Тукая, у Гафури и у Маяков-

ского. Талант плюс упорство и труд обязательно выведут молодого человека в поэзии на самостоятельную дорогу индивидуальности, влияния отстоятся, подражательство опадет, как яблоневый цвет, а поэтическая культура выльется в свой собственный голос.

В озеро Байкал, как известно, впадает свыше трехсот рек и речушек, а вытекает только одна Ангара, но зато глубокая и прозрачная до дна.

Надо стремиться быть похожими на это прекрасное озеро!

Думается, что молодым поэтам также следует смелее пробовать свои силы в разных направлениях: в поэме, в лирическом стихотворении, в публицистике, в памфлете, в песне, в пародии, в фельетоне, наконец.

Ведь поэзия — «езда в неизвестное». А такая езда сопряжена обязательно с риском, с экспериментом, на этом пути подстерегают, конечно, и неудача, и промахи, но в результате активных поисков ждет и счастье находки.

Обратимся для примера к другой области, а именно — к авиации.

Молодой Валерий Чкалов искал самого себя. Он перепробовал все, что связано с высшим пилотажем, и никак не мог удовлетвориться.

Чувствуя потребность, так сказать, высказаться по-своему, полнее отдать свои силы любимому делу, он отважился пролететь под аркой моста, в узкий промежуток между двумя быками. Получил за этот эксперимент строжайшее наказание. А в результате?

А в результате «нашел себя» и овладел сложнейшей и ответственной профессией — стал первоклассным летчиком-испытателем, выработал, по свидетельству эпитетов, «свой почерк», свою воздушную «чкаловскую походку».

Я оптимист и верю, что из недр талантливого советского народа придут в поэзию десятки поэтических Чкаловых.

Молодому поэту, как, впрочем, и молодому живописцу, и молодому артисту, и вообще художнику, если он хочет влиять на души читателей, слушателей, зрителей, надо непрестанно, а бы даже сказал — бдительно, наблюдать жизнь и следить за ее изменениями. Только пристальное, ревнивое изучение окружающего, показ

действительного, а не придуманного придаст художественному образу достоверность.

И в этом смысле мне кажутся очень убедительными слова гениального Ф. И. Шляпина, сказанные им в одном из писем: «Никая работа не может быть плодотворной, если в ее основе не лежит какой-нибудь идеальный принцип...» И далее: «Можно по-разному понимать, что такое красота. Каждый может иметь на этот счет свое особое мнение. Но о том, что такое правда чувства, спорить нельзя. Она очевидна и осязаема. Двух правд чувства не бывает. Единственно правильным путем к красоте я поэтому признаю для себя — правду».

Подлинные стихи — это лирико-публицистическая исповедь и одновременно проповедь, а не сладкое бормотание вне времени и пространства. Даже в личной, интимной лирике настоящий советский поэт выражает мировоззрение, взгляды, мораль, эстетические нормы нового, социалистического общества, к которому он имеет честь принадлежать.

Это хорошо: «Литературная газета» открыла полезный отдел под названием «Служба литературного языка».

В редакцию газеты заметно увеличился поток писем читателей, сигнализирующих о фактах неправильного произношения слов по радио, по телевидению, неверного употребления их в печати, в обиходе, наконец.

Можно только приветствовать энтузиастов грамотеев, добровольцев, вышедших на прополку речной пивы, безжалостно корчующих словесные сорняки разного рода.

Что хорошо — то хорошо. Но одно дело — сосредоточенно, с холодной рассудительностью выдергивать с корнем сурепку или овсюг, осторожно обходя хлебные злаки, и совершенно другое дело — широкозахватным способом (выражаясь по-современному!) истреблять осот или пырей вместе с ботвой культурного корнцполада. Это уже плохо, очень плохо. Усердие корчевателя в данном случае превращается в ущербное запятие, а хваленая холодная рассудительность — в изничтожение положительного.

Когда скоро в своем рассуждении я прибегнул к сельскохозяйственной терминологии, то позволю себе сказать так: меня решительно озадачили, более того — огорчили два читательских письма, авторы которых, хотя они того или не хотят, объективно действуют во вред поэтическому урожаю.

С одной стороны, это письма вполне грамотные, по крайней мере с точки зрения умения их авторов выражать свои мысли, пользоваться синтаксисом, с другой стороны, авторы писем демонстрируют полное непонимание предмета или нежелание понимать предмет, о котором берутся судить.

Поэтому обвинения, предъявляемые в таких письмах некоторым нашим поэтам, являют собою образцы безапелляционного тона.

Москвич Д. Внутский пишет:

«В стихотворении А. Прокофьева «У Советской власти» («Литературная газета», № 133 от 7/XI 1960, стр. 3) писются строки:

Новую навеки доблестью горл,
Укрощаем реки, создаем моря.

Эти строки буквально ошеломили меня. Может ли человек «гореть доблестью»? Существуют выражения типа «сердца их горели отвагой», но к слову «доблесть» и этот оборот не подходит. Дальше, если бывает «новая доблесть», то должна быть и «старая». Существует выражение «старые заслуги», но может ли быть «старая» или хотя бы «прежняя» доблесть? И можно ли «навек гореть»? Если же это «навек» связано со словом «новое», а не словом «горя» (это трудно понять), то может ли вообще быть на свете что-либо «новое павски»? Существует выражение «вечно новое», то есть постоянно обновляющееся, не стареющее, но слово «навек» имеет совершенно определенное значение «навсегда»...

Д. Влутский приводит еще один пример:

«В стихотворении А. Прокофьева «Сердце, отданное людям», посвященном памяти Тараса Шевченко, написано так:

Он ходил безмежным горем,
В лютом горе рос...

Даже выражение «расти в горе» выглядит сомнительным. Говорят, например, «расти в нищете», а можно ли «в горе»? Но, главное, может ли человек «ходить горем», да к тому же «безмежным»? Что это вообще значит? Мне это кажется недопустимым...

Вот как пространно (ведь я предельно сократил цитату из письма), нахмутив брови, «с ученым видом знака» Д. Влутский препарирует, как двух лягушек, два стихотворения А. Прокофьева.

Позвольте, уважаемый товарищ Влутский, убежденно не согласиться с вами и заявить следующее: зря вы ошеломились, причины к тому не было! Приведенные вами строки из обоих прокофьевских стихотворений ничуть не нарушают ни грамматики, ни логики, выражения поэта вполне уместны. Они, правда (выражения), не закованы в мертвящие установления — нормы средних словесных величин, а сформулированы образно, поэтически, по на то они и стихи, а не выписки из протокола!

Да, человек может «гореть доблестью», так же как может «гореть отвагой человеческое сердце». Отвага и доблесть — слова синонимического ряда. Да, есть «новая доблесть» — доблесть человека, преобразующего старый мир, покоряющего природу, доблесть коллектив-

ного разума, навсегда («навек») утвердился в советском обществе. И да, если хотите, есть «старая доблесть» — доблесть алчной личной наживы, эгоистическая, хищническая доблесть в кавычках.

Все ясно, все понятно, все, как говорится, проще пареной репы, и незачем, дорогой читатель, нагромождать искусственные сомнения.

Напрасно также вы, товарищ Внутский, муссируете свои придуманные недоумения по адресу стихотворения «Сердце, отданное людям», посвященного памяти Тараса Шевченко.

«Может ли человек «ходить горем», да к тому же «безмежным»? Что это вообще значит? Мне это кажется недонустимым...» — категорически пишете вы. А мне, товарищ Внутский, ваши вопросы, извините, кажутся нпкчемными, ибо сама постановка их равна беспричинности. Да, человек может «ходить безмежным горем». Особенно это выражение подходит к биографии и образу многострадального кобзаря Тараса Шевченко, ко времени бескрайнего («безмежного») бесправья и произвола, которыми отличался царизм.

Зачем же тут холодно мудрствовать и вымораживать образную стихотворную речь?!

И говорю я это, товарищ Внутский, совсем не потому, что вышеназванные строки принадлежат перу большого поэта Александра Прокофьева, а потому, что такой вывод мне диктует самая обыкновенная спокойная истина. Нельзя «потреблять» стихи, всенепременно выписывая в них нарушения канонов, и путать отсутствие штампа с наличием несуразностей!

Без свежего зпята, без неожиданного мазка, без словесного изобретения, без топко пайденного сравнения в поэзии делать нечего.

Недаром В. Маяковский утверждал: «Новизна в поэтическом пропзведении обязательна. Материал слов, словесных сочетаний, попадающийся поэту, должен быть переработан».

Передо мною второе письмо. Оно пришло из Марийской АССР, из города Йошкар-Олы. Техник, комсомолец А. Медведев па четырех с половиной страничках убористого текста разбирает лирическое стихотворение Вероники Тушновой «Голос стиха и раздумие...», опубликованное в «Литературной газете».

Поначалу думается: вот молодой человек, настоящий любитель поэзии, читатель, способный не только пробежать глазами стихотворные строки, но и запомнить их.

Правда, кажется, А. Медведеву не поправились стихи В. Тушновой, он их сурово критикует. Ну что ж, бывает и так. Может быть, у читателя есть на это право. Посмотрим, как он это делает, каковы его аргументы.

Вчитываюсь, углубляюсь в письмо и, должен признаться, теряюсь в догадках. Нет, не суровую критику, не взыскательный анализ вижу я, не мотивированный показ от раздражения. Если бы так, куда ни шло.

Я воочию вижу унылый «метод» выискивания несуществующего, вышелушивания смысла, вытравливания чувства, вымораживания поэзии. В. Тушнова достаточно прозрачно пишет:

Биенье сердца моего,
Тепло дыхания, взгляд несмелый,
Как мало взял ты из того,
Что я отдать тебе хотела.

Читатель А. Медведев, вооружившись лупой, «анализирует» четверостишие и всерьез умозаключает: «На каком основании она вывела, что ничего не надо? Потому что он не взял у нее биенье сердца, тепло дыхания и несмелый взгляд?..»

Ну, знаете ли! Вероника Тушнова закапчивает стихотворенье:

Есть медный медленный закат
И светлый ливень листопада,
Как ты, наверно, богат,
Что ничего тебе не надо.

Читатель А. Медведев снова, на этот раз уже с тревожной подозрительностью, доискивается: «Она ведь сказала, что этот мир только где-то есть, по она его ему не отдавала, а может, он взял бы что-либо из него, а может, он кретин...»

Честное слово, это было бы смешно, если бы не было грустно! Не стану вдаваться в дальнейшую «суть» аналитических усилий А. Медведева. Замечу лишь, что А. Медведев, увлекшись разбором, ухитряется отказать В. Тушновой и в недомолвке, столь свойственной лирической мимикрии, и в ассоциативности, и в известной

условности, часто необходимой в лирической теме, то есть во всем том, без чего лирики не бывает.

Вот почему в заключение хочется откровенно сказать: никто не требует от почтателей поэзии, чтобы каждый из них был Белинским или Стасовым. Великое спасибо уже за то, что в огромном своем большинстве читательские письма по-человечески разумны и жизненно обогащающие, хотя подчас и колючи. Но письма, начиненные чрезмерной субъективностью, напичканные тягостным брюзжанием и наукообразным придумыванием, не нужны ни читателям, ни писателям.

Ложная многозначительность чужда здравому смыслу.

1965

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «КОСТЕР»

Дорогие хозяева журнала «Костер», с удовольствием откликаюсь на ваше приглашение и спешу к вам в гости.

Вы пишете, что для публикации в разделе «Страна поэзия» выбрали стихотворение «Голубь моего детства». Ну что же, так тому и быть. Не могу только удержаться, не вспомнить в связи с вашим выбором имени двух моих старших товарищей по профессии, вернее — двух моих учителей: Николая Николаевича Асеева и Михаила Аркадьевича Светлова. От Асеева я не один раз слышал: «Опять прочитал о себе критическую заметку. О чем в пей речь идет? Ну, конечно, пишут о «Марше Буденного» и «Синих гусарах», как будто я больше ничего не написал!»

А Светлов перед выступлением с эстрады (я этому тоже неоднократно был свидетелем) говаривал, обращаясь к присутствующим: «Хотите услышать мои стихи? Пожалуйста! Только «Гренаду» не просите... Кроме нее, у меня, скажу по секрету, кое-что имеется, и тоже, представьте, в рифму!»

Нельзя было сдержатъ улыбку, слушая из уст маститых поэтов горькие «обиды» на популярность собственных произведений, как бы заслонивших в их творчестве другие, не менее, а может быть, более совершенные создания.

Я не собираюсь сравнивать своего скромного «Голубя» с художественными достоинствами «Синих гусар» и «Гренады», но должен признаться: всякий раз, когда заходит речь о моем «Голубе», я тоже по-своему сладко «обижаюсь».

Какова история написания стихотворения «Голубь моего детства»? Два толчка породили «Голубя»: мое сибирское происхождение, ранние детские впечатления о красной партизанщине в Зауралье и моя страстная любовь к голубям, с которыми я не могу расстаться до сей поры. Идейная основа «Голубя» — революционно-романтическая, а форма — стихотворный поэтический рассказ.

Я вообще перавподушен к сюжетному стихотворчеству, я люблю, чтобы в стихотворении было действие и чтобы оно по возможности было естественным. Боевой поступок героя «Голубя», мальчишки-голубятника, выбрасывающего, подающего сигнал партизанам при помощи разорванного пополам красного теткиного полусапка, привязанного к хвосту летящего голубя, — поступок органически правдивый.

Паренек десяти — двенадцати лет от роду, без нажима, псподволь, словно играя, становится участником ожесточенной классовой борьбы, приносит пользу отважным борцам революции. И если стихотворение «Голубь моего детства» в известной мере приглянулось читателям разных возрастов, то это, очевидно, произошло потому, что мне, позволю заметить, удалось при обрисовке образа юного героя избежать искусственного, неестественного изображения. В таких случаях ученые литературные критики говорят примерно так: автору удалось решить тему без вульгарного социологизирования.

Задача настоящей поэзии, по-моему, состоит в том, чтобы не ослеплять читателя внешним эффектом — хитрыми рифмами, модной красотостью фразы, парочитой угловатостью стиля и т. д. — не оглушать шумом и треском общих рассуждений, а псподволь, без навязывания, при помощи естественного живого языка, правдивого поступка лирического героя приносить пользу великому делу построения нового, коммунистического общества.

1970

В ЗАЩИТУ ЗЕЛЕННОГО ШАРА ЗЕМНОГО

В гостеприимной Софии сегодня открывается IX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Берет разбег звонкий праздник юности — половодье белозубых улыбок, неукротимый прибой рукоплесканий, жаркий ураган плясок и песен, солнечное шествие цветов.

Память меня уносит на одиннадцать лет назад, в ту теплую летнюю пору, когда бушевал VI Московский. Я вновь отчетливо вижу нашу хлебосольную столицу, залитую, захлестнутую, полоненную разноязыкой молодостью планеты.

Ликовали души, разбегались глаза москвичей при виде яркого скопления многоликих посланцев земного шара.

Поред моим мысленным взором встают также незабываемые картины девятилетней давности на австрийских улицах, на VII Вельском фестивале, участником которого мне довелось быть.

Что и говорить, красиво было, людно, масштабно, весело! Так было, так будет и сегодня. Опять слетелись, съехались, сошлись тысячи и тысячи юных сердец. Снова завяжутся новые знакомства, вспыхнут взволнованные речи, высекут снопы слепящих искр пристальные взгляды.

Одних ораторов объединит единомыслие, других насторожит полярность мнений, третьих приведет к состоянию некоторой растерянности внезапно разбуженная совесть.

Неотвратимо возникнет великий, открытый спор Правды и Кривды, объективности и предвзятости, осведомленности и неведения.

Под шумок встанут, конечно, свое отравное слово и те молодые говоруны, что привыкли петь с чужого голоса. Откроют рты и наглые перестарки, вооруженные патентованной злобой, отработывая тайную щедрую мзду.

Все, все может стать на грандиозном многолюдном слете. И в этом, кстати, нет ничего удивительного: в тре-

пожное и суровое время слетелась молодость земного шара для разговора по душам.

Розовой тишины, мгновенного взаимопонимания от фестиваля ждать не следует, но и недооценивать покрывающую силу здравого смысла тоже не надо. Ведь как-никак в соприкосновение друг с другом в основном придут дети труда и учебы, а это всегда и везде являлось первым признаком физического и морального здоровья.

Да, старый мир, как никогда, яростно и ожесточенно пошел ныне в атаку на новый мир. Но циничной злобе и подозрению старого мира противостоит светлая любовь и вера нового мира — молодежь всех пяти континентов.

И вот тут-то, прямо скажем, подвергнется серьезно испытанию на прочность идейная закалка наших советских парней и девчат — рабочих и колхозников, спортсменов и студентов, молодых артистов и молодых писателей.

Нет сомнения, что наших делегатов спланирует глубокая верность коммунистическим идеалам, ленинскому интернационализму, стремление к миру во всем мире. Так вот эти-то прекрасные принципы и должны восторжествовать на болгарской земле, на многочисленных встречах и напряженные дни так называемого общения по профессиям, на тесных беседах по интересам, на громких диспутах. Весь богатый запас дружелюбных мыслей и откровенных чувств, всю силу убежденности и политической твердости полной мерой должны продемонстрировать делегаты Советского отечества.

Много, ох, как много беззащитной лжи, судорожного злопыхательства, умышленной дезинформации, желчной болтовни выплескивает ежедневно пропаганда буржуазного Запада на Страну Советов, на весь социалистический лагерь. Чего стоит только лишь одна — «Немецкая волна», особенно активизировавшаяся в связи с событиями в Чехословакии. О «Голосе Америки» и Би-Би-Си и говорить нечего.

Наши юноши и девушки должны правдиво, страстно, доказательно, с фактами в руках и с трепетом в сердцах рассказать своим сверстникам из-за рубежа о неистребимой любви советской молодежи к родине, о всенародном порыве строителей коммунистического общества, о бескорыстии, энтузиазме молодого рабочего класса, о стремлении к солидарности молодых людей СССР

с народами, сражающимися с угнетателями. Пусть мир услышит честный, грозный голос разноплеменной молодости, выражающей свое сочувствие Вьетнаму, стойчески обороняющему родную землю от агрессоров США.

Пусть в каждом выступлении посланцев Страны Советов звучит трезвое, ясное слово непримиримости и бдительности так же бескомпромиссно и отчетливо, как оно прозвучало на встрече братских партий в Варшаве.

Надо суметь горячо порадоваться в дружеской беседе с единомышленниками, но надо и убедить заблуждающихся, и, если понадобится, дать решительный отпор клеветникам.

Фестиваль молодости — это, безусловно, пленительный праздник грации и силы, волнующий смотр талантов, но это одновременно и мужественный показ воли, смелости, собранности, патриотизма, чести.

Я ни одной минуты не сомневаюсь, что молодые советские сталевары, комбайнеры, архитекторы, агрономы, рыбаки, ткачи, шахтеры, ученые, артисты, литераторы выполняют паказ родины и окажутся на высоте положения. Но как поэт, как человек, имеющий отношение к искусству, я лишний раз хочу обратиться к молодым коллегам — писателям, живописцам, актерам, композиторам.

Имейте в виду, дорогие товарищи, на фестивале, как показывает опыт, вы столкнетесь не только с душевными друзьями, но встретитесь и с замаскированными заклктыми врагами Советского государства и, надо полагать, не один раз скрестите словесные шпаги с открыто и пагло действующими провокаторами.

Да, борьба двух противоположных лагерей — социалистического и капиталистического — борьба не на жизнь, а на смерть, и роль работника искусства в этой борьбе вонистину ныне велика.

Упрямая схватка пролетариата с империалистическими хищниками в разных частях света, высвобождение миллионов тружеников из ярма капиталистического рабства — все это, вместе взятое, диктует современному прогрессивному художнику твердую необходимость быть во всеоружии идейной позиции.

И тут надо еще и еще раз подчеркнуть, что ни о каком мирном сосуществовании буржуазной и социалистической идеологии не может быть и речи. Чужеродная

идейка о возможности ласкового соседства двух противоположных точек зрения под одной крышей искусства просочилась к нам наверняка не без стараний наших политических врагов.

Трудно представить идиллию содружества абстракционизма и социалистического реализма. Трудно потому, что в основе социалистического реализма лежит молодость чувства, правда жизни, естественность, стройность, гуманизм, а абстракционизм является продуктом загнивания капиталистического общества, старости чувствования, насаждает насилие над формой, игнорирование смысла, надругательство над стройностью, визг и скрежет субъективизма.

И сколько бы ни усердствовали западно-буржуазные эстеты в своем упорном стремлении оправдать неправомерное существование в искусстве и литературе грязных пятен, диссонансов и словесной зауми, нормальный трудовой здравомыслящий человек никогда не примет формалистствующую дребедень в заветный багаж своей духовной жизни. И так всюду.

Современный мир расколот на два лагеря. По одну сторону — ревнители наживы и захвата чужого добра, носители человеконенавистнической морали, способные на любую пакость ради достижения своей подлой цели, по другую сторону — борцы за счастливое жизнеустройство трудовых людей, за общее благо народов.

Нет, мы не закрываем глаза, враги сплывы, у них есть чудовищное истребительное оружие. Враги сильны, но мы еще сильнее. У врагов есть грозное оружие, а у нас оно еще грознее. А самое главное, у нас есть на вооружении могучая коммунистическая идейность, железная убежденность, гуманизм, за которым идут все честные люди земного шара.

Обо всем этом нужно помнить, помнить и помнить участникам фестиваля в Софии — мастерам сцены, кисти, резца и слова.

ВРЕМЯ С ПРАВДОЙ ЗАОДНО

I

Я хочу рассказать сегодня о том, как время, несмотря на свой стремительный бег, не затемняет, не искажает правду жизни, а напротив — стоит на страже достоверности и ревниво оберегает честь и достоинство настоящего человека.

Начало этой суровой и трогательной истории связано с грозными днями осени 1941 года, точнее, с одной из боевых операций в ночь с 3 на 4 октября.

Мне довелось в качестве корреспондента фронтовой газеты «Боевой товарищ» лететь на нашем тяжелом бомбардировщике в далекий тыл врага, а именно — из-под Юхнова в район Гомеля.

Задача, хотя и сопрягалась с серьезными трудностями, выполнено было в целом удачно. Машина, правда, вернулась на аэродром с пробоинами, но экипаж решил поставленную задачу.

Об этом полете я безотлагательно написал заметку, отослал ее в газету «Правда», где она и была вскоре напечатана под названием «Друзья капитана Гастелло».

II

Казалось бы, нет смысла возвращаться к минувшему. Но время диктует иначе: есть смысл, даже есть нужда. Более того, — если бы я, как участник и очевидец полета, не возвратился к давнему почному рейсу, я посчитал бы себя сегодня похитителем истины.

Дело в том, что тогда, по условиям строжайшего соблюдения военной тайны, я не мог, не имел права ни единым словом обмолвиться в заметке о грузе, который везла наша крылатая машина в далекий неприятельский тыл. А груз содержал в себе не только тонны тяжелых и мелких осколочных бомб, но включал в себя, так сказать, и живой вес — группу десантников-парашютистов в составе четырех человек.

Помню, что это были крепкие, пызенькие и корепастые ребята, комсомольцы-добровольцы из города Горького, безусые орлята, «готовые и к смерти, и к бессмертной славе». Нельзя было не удивляться и не восхищаться, глядя на этих стриженных мальчиков, сосредоточенно в сотый раз проверявших па себе громоздкую амуницию, изредка перебрасывавшихся сторожкими шутками.

Командиром группы летел более старший по возрасту Рябинин Владимир Николаевич, с которым я познакомился еще до полета, под сенью багряной осенней листвы.

Мы с ним обменялись адресами и условились, что, если останемся живы, обязательно постараемся встретиться после войны, отыскать друг друга.

Перелетев линию фронта, благополучно миновав огневой заслон вражеской зенитной артиллерии, от плотного огня которой в небе сделалось светло, как днем, отбомбившись, самолет вошел в полосу кремешной тьмы и примерно через час-полтора полета стал снижаться. Сидя в штурманской рубке, я заметил, как с земли колом встала пыловая сигнальная ракета, обозначившая участок выброса десанта. На глубоком впаже десантники спокойно, словно они с берега прыгали в мирную волжскую воду, а не в аспидную бездну, поочередно покинули машину, и она легла па обратный курс.

Я вышел из штурманской рубки и увидел странное зрелище: один из десантников, оставшийся почему-то в самолете, плакал горькими слезами. Крупные, как бобы, слезы часто катились из его красивых голубых глаз, и он старательно подбирал их пухлой, по-детски розовой нижней губой, глотая соленую влагу, не давая ей скатываться на повенскую гимнастерку. На мой участливый вопрос о том, что же случилось, на строгий вопрос стрелка-радиста юный боец сначала не отвечал, радация не давала ему говорить.

И удивительно, конечно, было видеть эту немислимую картину — павзрыд плачущего парня, вооруженного пистолетом, финским ножом, рацией и взрывчаткой.

Что же произошло? Через минуту все выяснилось. Оказывается, перед самым прыжком у молодого десантника за плечами неожиданно распустился парашют, под-

вела недостаточно тщательная укладка. Грудой одичавшего тряпья, бессмысленной перазберихой матерчатых складок и путаницей строп лежал парашют у ног, возле люка.

Нет, солдат не боялся ни обратного пути через линию фронта под обстрелом, ни заслуженного наказания за перьяшливое отношение к снаряжению. Не это страшило его и мучило. Его угнетала неотвязная мысль: вдруг ребята из десантной группы подумают, что он сдрейфил в решающий миг, увильнул от боевой комсомольской клятвы! Весь экипаж близко к сердцу принял горькую тревогу честного, гордого воина, все, в том числе я, подтвердили готовность удостоверить причину печального недоразумения. Как могли и сколько могли, мы развешивали мрачные думы юноши. Мы сделали все, что было в наших возможностях, мы только не в состоянии были сделать одного: не могли гарантировать, что комсомольцы не подумают о возможной трусости своего недавнего товарища.

И самое страшное состояло в неизбежности почти никогда не узнать правду, ибо, прыгая в логово врага, парни шли на смертельную схватку, на подвиг самопожертвования.

Когда самолет вернулся на базу, с чувством какого-то томительного беспокойства, грустно и неловко распрощался я с симпатичным неудачником, которого, кажется, звали Геннадием.

На фоне бесчисленных фронтовых событий, среди сотен и сотен случаев, потрясающих своей самоотверженностью, воинской доблестью, среди массового героизма военной поры постепенно забылось нелепое и обидное происшествие с юным бойцом.

Кончилась война, затянулось дымкой, отдалилось минувшее. И вот как-то летом 1956 года в Москве на моем рабочем столе раздался телефонный звонок.

- Я слушаю.
- Простите, это Сергей Александрович Васильев?
- Да, я у телефона.
- Вы поэт Сергей Васильев?
- Так точно!
- А вы помните, как летали на «ТВ-3» из-под Южно-ва на Гомель?
- Еще бы! Я этот полет никогда не забуду... Я же

летел, трепетал, как кролик, хотя пытался выглядеть бравым парнем.

— Ну, так я — Рябинин, с которым вы сговорились увидеться, если оба будем живы!

— Ясно!

До рассвета рассказывал мне Владимир Николаевич, как ему пришлось действовать в тылу фашистских войск, какие испытания выпали ему на долю, сколько пришлось переплыть в борьбе с захватчиками. Руководить партизанскими вылазками: жечь мосты на пути у врагов, карать предателей и поддерживать дух честных советских граждан, оказавшихся в ярмо паслыльников, голодать и холодать, вязнуть в болотах и все же не отступать от намеченной цели. Так жил Рябинин с первого часа своего пребывания на временно плененной белорусской земле. И лесная жизнь, и конспиративное, подпольное существование в населенных пунктах — все изведал от важный патриот, мстя врагам за свою поруганную родину.

Теперешнее его положение механика в одном из белорусских совхозов, весь его сугубо штатский облик никак, разумеется, не выдавали в нем вчерашнего грозного вожака вооруженных народных мстителей. Непосвященному человеку Рябинин вообще мог показаться скорее флегматичным тихоней, чем смельчаком.

И только орден Боевого Красного Знамени, горевший на лацкане его пестрого пиджака, свидетельствовал о героической биографии бывшего партизана.

Не один раз мы возвращались в разговор к дню нашего знакомства. Между прочим Рябинин бросил:

— Все мои подчиненные, прыгнувшие тогда, темной ночью, с «ТБ-3», показали себя молодцами... А один все-таки оказался гадом...

— Неужели? Что же он сделал?

— Да пу его к дьяволу... Даже вспоминать противно...

— Нет уж, расскажите!

— Струсил, мерзавец, прыгать на парашюте. Опоганил всю группу. Если бы я его сейчас увидел, я бы не знаю что с ним сделал... А ведь был комсомольцем!

Я замер. У меня вдруг перехватило дыхание. Последние слова Рябинина произвели на меня ошеломляющее впечатление, я вскочил из-за стола, словно меня ударили по лицу.

— Позвольте, позвольте, Владимир Николаевич! — закричал я, не в силах сдержать волнения. — Этот парень не выповат перед товарищами! Это не парашютист-комсомолец предал группу своих боевых друзей, а парашют оказался заменником!..

И я с горячностью, задыхаясь от нахлынувших воспоминаний, подробно изложил все, что видел в самолете в ночь с 3 на 4 октября 1941 года.

Суровое лицо Рябинина подобрело. В его улыбчивых глазах я увидел счастье. Это было счастье и его, и мое, и того чистого, ясного парепька, которому время вернуло его боевую человеческую честь.

НОЧЬ, КОТОРУЮ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Это была тревожная, полубессонная, голодная и холодная, но незабываемо прекрасная московская ночь.

Столица, притихшая и напряженная, полыхала суровой стужей.

Медленно, как бы ощупью, двигались по затемненным улицам припозднившиеся завьюженные автомашины, продрогшие троллейбусы и трамваи. Скорым шагом, а то и рысдой спешили по домам редкие прохожие.

Надвигалось новоегодье 1942 года.

В неотапленной квартире одного своего московского друга, не снимая шубы и шапки-ушанки, то и дело грея ладони, зажимая их между колен, при скупом свете единственной маломощной электролампы писал я новогодние стихи. Повторяю: за окном стоял мрак, в животе урчало, в горле першило от табачного дыма, слух напрягался, готовясь уловить истошные ноты воздушной тревоги. Что и говорить, обстановка малоуютная. И все же я вспоминаю ту ночь, тот последний час, те последние минуты истекающего старого, 1941 года, как прекрасное время вдруг нахлынувшего счастья. Почему? Потому, что мной владел душевный порыв, воображение горячилось, перо летело по бумаге.

Иначе и быть не могло: в стане врагов царила паника, захватчиков громили под Москвой! Бросая технику, усыпая снежками равнины тысячами и тысячами трупов, фашистские полчища откатывались на запад.

По широкому фронту шагала ярость русского советского огня, испепеляя зловещий миф о непобедимости гитлеровской армии.

Несмотря на разные беды и нехватки, Москва, страна, все честные люди всего мира ликovali. Чувство гордой радости перехватывало дыхание и мне. Я писал легко и без остановки:

Бьет двенадцать на старых кремлевских часах,
осыпается снег на священный гранит Мавзолея.
И, как эхо, в густых подмосковных лесах
в напряженной ночи отвечает часам батарея.

Бьет двенадцать. У Спасских сменился патруль.
Пританлся зенитчик. Спокойно, товарищ!

Мужайся!

Крепчает мороз. Но легко повипуется руль.

Громобойные танки идут в направлении

Можайска!

Раннее туманное утро грозного 1 января 1942 года
наградило меня щедро: мои стихи были напечатаны в
«Правде».

Мысленно я оглядывался назад и понимал, что ни
единым хлебом жив человек, что минувшую, самую
счастливую из встреченных мною предновогодних ночей
я не забуду никогда.

1964

ВЛАСТЬ ПЕСНИ

То, что я расскажу ниже, не лишено юмора, но в основе своей всерьез свидетельствует о великой силе песни, о ее беспредельной власти над людьми.

Стояла осень 1947 года. Я тогда только-только овладел азами вождения автомобиля и гордо ехал на трофейной «оппель-олимпиа» по Хорошевскому шоссе в Серебряный бор. Со мною рядом сидел друг детства, земляк-сибиряк Мпша Пшеничников, которому мне очень хотелось показать, как я лихо справляюсь с задачами водителя. Подъезжая на приличной скорости к перекрестку, я прозевал сигнальный жест постового и проскочил далее, чем следовало. Заметив свою оплошность, я попытался было исправить ее, но уже было поздно: моя машина загородила проезжую часть, образовав мгновенную пробку. Положение создалось крайне пелешое и глупое, вызвавшее соответствующие фольклорные реплики многочисленных шоферов с грузовиков.

Внешне, спокойный, подчеркнуто вежливый, по kloчущий лзкутри, резкими шагами подошел молодой старшина-регулировщик.

— Просту в сторонку, к тротуару. Ваши права!

Я поставил машину к панели, извлек из кармана права, отдал их хмурому блюстителю порядка и замер в ожидании приговора. Задержки не было: я выслушал по заслугам короткую лекцию на тему о пользе внимательности и о вреде ротозейства, о преимуществе благоразумия над легкомыслием и, выслушав, попросил вернуть права обратно. Аи не тут-то было! Старшина сказал:

— А за правами ваяйте завтра в Главное управление ОРУДа от десяти до двенадцати дня.

Положение из глупого перерастало в угрожающее.

— Позвольте... А как же теперь мне быть...— жалобным голосом начал я, но старшина холодно разъяснил:

— А так же! Я там завтра в это время буду сам.— И неожиданно весело добавил: — Так что приходите

свататься, я не стану прятаться! — и стал удаляться, пассивывая знакомый озорной мотив.

У меня сладко зацемило на сердце: милиционер процитировал слова моей песни, пассивывал мелодию моей песни... Как утопающий за соломинку я ухватился за обнадеживающий факт.

— Послушайте, товарищ старшина! Ведь это же я написал. Музыка Анатолия Новикова, а слова-то мои!

Милиционер остановился. Наступила тревожная пауза.

— Ну, знаете ли... Я тоже могу сказать, что каждый день с Буденным чай пью!

— Честное слово, моя песня! — С этими словами я взял с сиденья сборник собственных стихов, стремительно нашел песню и ткнул пальцем в текст: — Пожалуйста!

Наступило преображение. Суровость сошла с лица постового, он улыбнулся, подобрел, как ясное солнышко.

— Подумайте! Надо же... Как приятно, сам автор! Да я же эту песню знаю наизусть... И все ее поют у нас в отделении. Да как же это вы! Такую известную песню написали, а нарушаете. Песня песней, а наказывать я вас все же обязан. Ладно уж, забирайте ваши права, обойдемся штрафом! — Все это высказал мне постовой с какой-то необыкновенной радостью и, вручив квитанцию о штрафе, вежливо раскланялся.

Мы расстались друзьями. Права были возвращены владельцу. Власть песни сработала безотказно.

1961

ЗАВЕТНЫЕ МЫСЛИ ПОЭТА

Не знаю, кто как, а я придаю большое значение заглавию книги. В названии произведения, на мой взгляд, выражается первооснова мысли художника, суть и символ, зерно и плоть заветных намерений автора.

Есть заглавия вялые, равнодушно-обозначительные, случайные, ничего не говорящие ни уму, ни сердцу читателя, а есть заглавия проблемные, огромные по своей сущности, такие, как «Война и мир» или «Как закалялась сталь». Есть лукавые и острые, достигающие силы афоризма, такие, к примеру, как «Собака на сене» или «Не в свои сани не садись».

«Отчье слово» — так названа книга Сергея Есенина, впервые объединившая высказывания великого русского лирика о языке, о технологии поэтического письма, о современниках поэта. Прекрасное, точное заглавие!

Отчий край... Родимая сторона... Отчизна встает перед глазами с ее могучим языком.

Сразу же надо отдать должное составителю книги — Сергею Кошечкину, который проявил в работе над обширным есенинским материалом хороший литературный вкус, не поддавшись соблазну «волочь в кучу числом побольше».

Нет, составитель оказался вдумчивым и строгим — он отсортировал самое существенное, размежевал его на четыре звена, и каждому звену придал свое определенное значение.

Со страниц «Отчего слова» смотрит на нас своим умным глубоким взглядом первоклассный мастер поэтического письма, до самозабвения влюбленный в свою великую родину.

И следует признать, что Есенин выглядит в высказываниях о ремесле далеко не таким, каким привыкли представлять его некоторые читатели, поверхностно знающие поэта.

Преклоняясь перед величием «Слова о полку Игореве», перед Пушкиным, Лермонтовым, Кольцовым, Фетом, Достоевским, Л. Толстым, Лесковым и другими русскими

классиками, Есенин одновременно обнаруживает отличное знание творчества писателей Запада — Байрона, Гёте, Лонгфелло, Уитмена, Франса.

Дорогие имена М. Горького, А. Блока, В. Маяковского, Д. Бедного, В. Брюсова, Вс. Иванова, М. Зощенко не только названы в книге, а служат для автора предметом серьезных размышлений о назначении искусства, о роли художника в обществе, о гражданском долге перед народом, перед родной землей в пору ее революционного обновления.

В разделе «Чувство родины — основное в моем творчестве», открывающем книгу, приведены слова Есенина, подкупающие своей искренностью и своей программной определенностью: «В стихах моих читатель должен главным образом обращать внимание на лирическое чувствование и ту образность, которая указала пути многим и многим поэтам и беллетристам. Не я выдумал этот образ, он был и есть основа русского духа и глаза, но я первый развил его и положил основным камнем в своих стихах».

И далее: «Он живет во мне органически так же, как мои страсти и чувства. Это моя особенность, и этому у меня можно учиться так же, как я могу учиться чему-нибудь другому у других».

Мне думается, эти исповедальные слова являются главными, так сказать, задающими тон содержанию всей книги, не случайно вышедшей в серии «Писатели о творчестве» в издательстве «Советская Россия». Во всех четырех разделах книги, на каждой ее странице, в суждениях поэта и в свидетельских замечаниях современников разворачивается, множится, поворачивается разными ракурсами и гранями волнующая картина неустанной страды Есенина, мучительно-сладкой работы над стихотворной строкой, над звукописью и образностью, над смысловой нагрузкой поэтической речи.

Конечно, Есенин, наряду с совершенно очевидными утверждениями, высказывает порой весьма субъективные суждения, дает крайне спорные и даже ошибочные оценки литературным явлениям, но за любым словом поэта стоит беспокойство мастера, бьется учащенный пульс ищущего художника.

Нет нужды в короткой рецензии цитировать во множестве есенинские мысли из «Отчего слова». Я отсылаю

читателя к самой книге, из которой он почерпнёт немало замечательного и полезного.

Я только хочу в заключение привести одно чрезвычайно существенное творческое признание Сергея Есенина, убедительно подтверждающее его верность реализму: «Прежде всего я люблю выявление органического. Искусство для меня не затейливость узоров, а самое необходимое слово того языка, которым я хочу себя выразить».

1970

ЛЮДИ И ПТИЦЫ

С детства люблю птиц — от певчей крохотной пеночки или самой что ни на есть неприятной и вертялой синицы до роскошного белокипенного лебедя, труднодоступного для наблюдений даже в озерных местах моего родного Зауралья, в камышитых теремах летних гнездовий.

Любовь к птицам у меня отнюдь не бессознательная слабость, а скорее эстетический принцип: мне нравится свобода птичьего полета, вольный выбор поселения, близость к растительному миру, единение с ним. При этом я ревниво отличаю в птичьем царстве полезных от бесполезных, беззащитных от умеющих постоять за себя, миролюбивых от опасных хищников.

Что же касается вредных хищников — таких, например, бесцеремонных, как ворона и сорока, уничтожающих птенцов в чужих гнездах, — этих я нещадно истребляю при каждом удобном и неудобном случае.

Особую нелюбовь я питаю к ястребу тетеревику, который по своим кровожадным замашкам папопкает мне обыкновенного фашиста: он когтит и пожирает дятла, клеста, щегла, скворца, белку и прочую лесную певчую живность.

Я горячо благодарю природу за то, что она сделала меня с возрастом значительно более зорким, чем в юности. Границы неба расширились, горизонт раздвинулся, хищника я могу определить далеко-далеко — по первому взмаху крыла.

Зачем же, однако, так пространно говорить о птицах, когда надо отвечать на вопрос о том, каким я себе представляю мир через двадцать лет? Что это — разговор о птицах — случайность? Нет, я просто пользуюсь правом поэта и иду в рассуждении путем аналогии.

По моим понятиям люди, так же как и птицы, резко делятся на полезных и вредных.

Среди нас, людей, есть трудолюбивые дятлы, оберегающие сосняки и березняки, неустоимые хлопотуны синицы, уничтожающие мириады вредителей, есть голуби-связисты, есть певцы соловьи — и так далее...

Но среди нас, людей, есть, к сожалению, и свои всеядные вороны и сороки, свои наглые ястребы тетереви-

ники, свои крикливые демагоги сойки и безответственные, эгоистичные кукушки.

Сегодня между полезными и вредными пролегла широкая полоса демократии, межа законности, на которой еще выпужденно произрастают милицейский жезл, мандат следователя, высокие кресла прокурора и судьи и даже холодный ключ от камеры заключения.

Иное будет через два десятилетия!

Под благотворным влиянием коммунистических идей и экономических преобразований, намеченных Программой КПСС, жизнь в нашей стране и в странах, идущих с нами в ногу, обернется лучшим своим сторонами. Произойдет всеполюющее самоочищение от скверны, совершится бескомпромиссное отбраковывание нарушителей кодекса строителей новой жизни.

Я верю, что война будет устранима с пути человечества. Хочется думать, что мир через двадцать лет будет свободен от омерзительного груза термоядерного оружия.

Ну, а искусство, литература, какими будут они в нашей стране и в странах социалистического лагеря?

Воображение рисует картину полного, бурного, как половодье, расцвета многочисленных талантов из народа. Установится, по-моему, своеобразный закон — конкурс непрерывного строгого творческого соревнования, пробы на качество — как в среде профессионалов, так и в кругу мастеров самодеятельности. И будет это соревнование происходить на виду у всего народа, и первенство будет присуждаться на миру, а не за закрытыми дверями весовщиков-вкусовщиков!

Но вот вопрос: будет ли почва для создания художественных произведений на основе жизненных конфликтов, бытовых противоречий, любовных и прочих пелурядиц? Останутся ли причины для изображения остаточных явлений, эгоизма, собственности, лести и т. д.? Иссякнет ли драматизм в стихах, поэмах, пьесах?

Я думаю, что при всей своей завидной приглядности и высоте, при всем своем справедливом устройстве жизнь всегда будет давать темы для сложных психологических коллизий. Да, и при коммунизме пригодятся мастера глубокой лирики и описательного смеха.

Впрочем, эту мысль, думается, я выскажу более внятно и точно в свойственной мне веселой стихотворной форме. Вот моя «Декларация поэта-сатирика»:

Лет через двадцать всей Земле в пример
(кому на радость, а кому —

на зависть)

Взметнется к солнцу флаг СССР,
эмблемой Коммунизма назывался.
Все будет в радость. День высок и чист —
без мелких ссор, без дрызг, без обличенья.
Все это так. Но я, как реалист,
представьте, допускаю исключения.
Мне кажется, что в светлый Коммунизм,
как вкрадчивая плесень, как полипы,
как позапрошлогодний архаизм,
проникнут нежелательные типы.
Примажутся. Вотрутся. Проползут.
Конечно, это будут единички,
но временами неприятный зуд
на общество от них распространится.
В надежде обрести свой скрытый дот,
пли, вернее, захватить болотце,
и бюрократ какой-нибудь пройдет,
и подхалим, пожалуй, проберется.
И мецания, расчетливо, как встарь,
ступая осторожными стопами,
приволокет фамильный инвентарь
с потомственными рыжими клопами.
Да, да! Не смейтесь, ибо надо знать,
что, даже в бездну сброшенные с кручи,
поганки могут чудом воскресать,
отдельные из них зело живучи.
Почувяв эту дрянь издалека,
я пеленою глаз не застилаю
и в два категорических витка
торжественно сегодня заявляю:
в восьмидесятом, если буду жив, —
прошу считать меня бойцом-солдатом.
Безжалостное жало обнажив,
я буду жалить, как в шестидесятом!

1965



ОДИНОЧЕСТВО НА МИРУ

(АМЕРИКАНСКИЕ ЗАПИСИ)

1

В ноябре — декабре 1966 года мне довелось в составе группы деятелей советской культуры побывать в Соединенных Штатах Америки.

Поездка была организована Институтом советско-американских отношений, и маршрут ее пролегал по обширной территории, от Атлантического до Тихого океана: Нью-Йорк, Бостон, Вашингтон, Атланта, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анжелос, Голливуд и обратно.

По охвату огромных пространств, по многообразию и «разношерстности» пейзажей, климата, этнографических особенностей и прочих характерных примет большого путешествия, картина перед глазами развернулась широкая и незабываемая.

Естественно, что многое запомнилось и угодило на карандаш, дорожные блокноты наполнились ежечасными и ежедневными записями, перерастая порой в стихотворение, порой складываясь в очерк.

Отдавая должную дань уважения людям труда, американской нации, высокой технике и культуре быта, я тем не менее не мог не заметить в Америке вопиющих фактов социальной несправедливости, буржуазного производства, крайних противоречий и несовместимостей хваленого «американского образа жизни».

Наблюдая нравы самой мощной и самой агрессивной капиталистической страны, я испытал чувство неприимности к ее хищной и циничной идеологии, распростра-

плящейся на политику, искусство, литературу, ставящей честного труженика в замкнутый круг торгашеского самовластия, обрекая его на одиночество на миру.

2

Не берусь привнести что-нибудь новое в описание пестрого города Нью-Йорка, скажу только, что он поначалу ошеломляет, если не обескураживает, вынуждает озадаченно задирать голову вверх в поиске конца-края громадющегося многоэтажья.

Английская, испанская, французская, немецкая речь. Итальянцы, китайцы, евреи, пуэрториканцы, арабы, негры, японцы. Строгие европейские костюмы перемежаются с пестрыми африканскими и восточными одеяниями.

Несметные потоки автомашин. Скрежещущих, шуршащих, громыхающих, оглушающих сиренами. Особенно ошарашивают пожарные автомобили, не уступают им полицейские и кареты скорой медицинской помощи.

В разных направлениях, часто и немонотонно быстро они несутся куда-то днем и ночью. Не знаешь, куда смотреть, — вверх или вниз.

Впрочем, на вторые-третьи сутки временное состояние «верхоглядства» исчезает, приезжий человек начинает жить сравнительно нормальной жизнью, как бы заново приземляясь.

С чего начать описание Нью-Йорка? Конечно же, я побывал на верхотуре скалообразного здания Эмпайр стейт билдинг, не один раз ахнул при виде развернувшейся каменной бездны с кишачными внизу машинами и людьми, постоял в задумчивости на Бруклинском мосту, повисшем над Ист-Ривер, прошелся, пригибаясь от встречного ледяного ветра, по мосту Джорджа Вашингтона через Гудзон.

Осмотрел я и величественное здание Организации Объединенных Наций, построенное в современном стиле, модернизированное, но вымахнувшее к небу без излишнего форса, строгое и разумное в своих обновленных архитектурных формах.

Порадовался тому, что ООН украшена снаружи в сквер скульптурой Евгения Вучетича «Перекуем мечи на орала», а внутри — металлической моделью в натуральную величину первого советского спутника.

Обшарил я пристальным взглядом и все три главных помещения огромного дома мира — зал Совета Безопасности, зал Совета Опеки и большой зал заседаний ООН.

Скажу честно: впечатляет, вызывает чувство уважения и веры.

В самый бойкий вечерний час увидел я слепящий, кричащий, свующий, бесчинствующий огнями реклам Бродвей, вкусил его сумятицы, разглядел пенные волны спешащих по делу и флапирующих без цели пешеходов, ощутил голодных и сытых, нмущих и бедных.

Как темное ущелье, полное мортвящей тишины и холодного безлюдья, проплыл перед глазами Уолл-стрит.

Поразил Гриввич-вилледж, квартал нью-йоркской богемы, толпящейся у дымящих и душащих входов в кабачки.

Странные, в основном молодые люди, парни и девушки, а порой совсем зеленые юнцы, разгаряженные в немислимые по неряшеству одежды. С папиросами и сигарами в зубах, с гитарами на топких ремнях через плечо, размалеванные, вызывающе-кричащие, нелюбые, неумные и непричесанные, они теснятся здесь густыми толпами, и кажется, что им нет числа.

За витриной иного полуподвального увеселительного заведения, рядом со стойкой буфетчика на стене висят картины — пейзажи, портреты, натюрморты. За мольбертом можно увидеть прилежного живописца, выполняющего срочный заказ. И надо признать, среди откровенной халтуры, в вялой череде аляповатых поделок нет-нет да и мелькнет плод талантливой кисти, сверкнет мастерство, обнаружится след умного, изящного карандаша.

Во многих помещениях нью-йоркского Монматра ставятся короткие спектакли, обретают сценическую жизнь пьесы, написанные на скорую руку самостоятельными драматургами.

Вокруг сутолока, пьяный смех, завывание дешевого джаза, громкая купля-продажа короткой общедоступной любви, и тут же вам сосредоточенность художника. Чудеса!

Всего проще было бы отмахнуться от этого сумасброд-

ного места, пройти мимо и забыть о неразберихе увиденного и услышанного. Но в том-то и дело, что в сумеречном квартале воинствующей богемы далеко не все подчинено безрассудству, случайности и прихоти. Тут проявили свое место свои принципы, нашли свои надежды сотни одаренных молодых людей, особенно актеры, отчаявшиеся в бесплодных поисках более подходящего пристанища.

Только за последние пять лет в Гринвич-вилледж осуществлено четыреста постановок. Цифра немислимая для профессиональных театров Бродвея!

Правда, спектакли богемы отличаются своей «спецификой», они не рассчитаны на «большого зрителя Америки», они развлекательно-балаганщи, но зато они оперативны, многолики, премьеры их обязательны по обещанным срокам и многочисленны.

Вот как откровенно говорит о них в американском еженедельнике «Нью-Йорк таймс мэгэзин» театральный критик Э. Лестер:

«На последнем впо-впребродвейском шоу, куда я случайно попал, во время представления актриса вдруг прыгнула ко мне на колени. А после спектакля мы всю ночь напролет разговаривали с драматургом.

— Пьесы? Их полно. Даже если они дурно пахнут, они есть! И все это за один доллар. Ты встречал где-нибудь что-либо подобное?

Этот разговор происходил в кафе «Чино» на Корпелля-стрит, в районе Гринвич-вилледж. Здесь за монету, брошенную в ящик для сбора денег, можно посмотреть новую пьесу, написанную никому не известным драматургом. Спектакль может идти перед аудиторией, состоящей из одного зрителя. Сцены в буквальном смысле слова тоже нет. Есть подмостки, и зрители, сидящие близко к ним, должны вести себя спокойно, иначе они рискуют расплескать кофе и тем нарушить «единство действия». Пьесы, как правило, коротки, они идут примерно полчаса, и персонажей в них немного. Вот, к примеру, пьеса Сама Шепперда, которого считают гением «подпольного театра». Она называется «Чикаго». Посреди сцены разбитая ванна, в ней молодой человек. На нем только голубые джинсы. В непонятных, но смешных монологах он рассуждает о жизни, а в это время мимо проходят его друзья, одетые в элегантные костюмы. Тут же — его подруга

в соблазнительном красном одеянии. Она прыгает в ванну, радостно целует его и так же радостно убегает, направляясь в Чикаго в поисках работы. В конце пьесы все персонажи собираются вместе и поют веселую песенку о пустоте. Молодой человек уже успел выйти из ванны — голый, похожий на беззащитного ребенка. Он как бы лококает общество. Его друзья залезают в ванну. Они не пытаются остановить его, вернуть назад. Они знают, что каждый находится наедине со своей собственной пустотой, и каждый пытается бороться с окружающим его кошмаром по-своему».

Не трудно уловить общий «пафос содержания» большинства постановок нью-йоркской богемы. Это — ставка на мгновенный, мимолетный эффект зрелища, добываемый при помощи открытого бесстыдства: мотивы упадочничества, обреченности, темы кровосмешения и эротомании составляют основу «сценических воплощений».

К слову сказать, драматурги, режиссеры и актеры Гринвич-вилледж решают свои творческие задачи неприменно с обнаженным чувством сарказма, с издевкой спокойных аналитиков, без того судорожного смакования, которое характеризует кассовые спектакли Бродвея.

И в этом — их «идейное» превосходство.

Экономическая база театральной братии Гринвич-вилледж держится, конечно, не на кассовых сборах, а на добровольных отчаянных самопожертвованиях, на сочувственных скромных денежных взносах зрителей-бедняков, помогающих, однако, вносить плату за помещение и обслуживающий персонал.

Наряду с унылым духом кабацкого прозябания, царящим в этом районе Манхэттана, есть в нем все же что-то такое, что невольно вызывает симпатию, заставляет задуматься. Вероятно, это «что-то» есть ощущение сознательного сопротивления молодых художников театральной рутине, пусть безалаберное, грубоватое, но гордое противостояние коммерческому предпринимательству «главных рамп Бродвея».

Театральные кабачки Гринвич-вилледж именуются тремя буквами ВВВ, то есть вне-внебродвейские, как бы независимые от зловещего бога наживы.

Артисты и зрители Гринвич-вилледж внешне похожи на битников, но они отличаются от них резко и убежденно: те агрессивно-нигилистичны, а эти рассудительно-

пропичпы, авангардизм последних родствеи умиротворенности изгнанпиков.

Поражает в Нью-Йорке многое. Вот, например, факт, который никак не укладывается в голове. Вдоль самой фешенебельной Пятой авеню тянется Сэнтрал-парк города — благоустроенный, просторный, с чудесными аллеями, клумбами, гротами, фонтанами, с белками на деревьях и лебедями в водоемах — любо-дорого посмотреть. Но в парк после шести часов вечера ходить не рекомендуется. Почему? Потому, что в парке запросто могут ограбить, изнасиловать, зарезать, задушить, застрелить, смотря по вкусу грабителей. Угробят — и концы в воду.

Радио, телевидение по всем своим тринадцати каналам, газеты предупреждают об этом, и надо сказать, предупреждения производят должное впечатление — парк пустеет задолго до наступления темноты! Вот тебе и цивилизация! У нас для паглядности есть красноречивый цифровой колорит. Число ограблений и изнасилований я не запомнил в суточном измерении, но вот эти кругленькие цифры застряли в памяти основательно: по утверждению полиции, в городе наличествует свыше пятидесяти тысяч проституток и около ста тысяч профессиональных гомосексуалистов.

Мягко говоря, печальное впечатление остается и от посещения негритянского Гарлема.

Хоть и подчеркивается в Америке на каждом шагу то, что в стране ликвидирована сегрегация, негры по-прежнему остаются «гражданами второго сорта». Негритянские кварталы в Нью-Йорке мрачны — бедность, непросветлая неуютность тенью лежат на жилищах, на одеждах, на лицах прохожих Гарлема.

Правда, некоторые чернокожие в Нью-Йорке внешне выглядят не так обреченно, как на юге страны, скажем в штате Джорджия, в районе Атланты, где мне пришлось быть позднее, но об этом — речь впереди.

Если негритянское гетто печалит душу, то что можно сказать утешительного про улицу Бауэри!

Бауэри — это страшная цепь ночлежных домов, часовен и кухонь, принадлежащих благотворительному учреждению — «Армии спасения».

Жуть берет, когда глядишь на обитателей ночлежной улицы. Оборванные, согбенные, безмолвные и поэтому еще более жалкие, с тусклыми глазами, с коростой на

щеках и шеех, с грязными, очевидно, годами не мытыми руками, они папомнили мне ужасающие сцены из какой-то воемой кинокартины о прокаженных, виденной мною в детстве.

Бывшие фермеры, бывшие монтеры и слесари, бывшие учителя и недавние студенты, боже мой, как они опустились, в какую крошечную клоаку физического срама зашвырнула их судьба!

Нет, никакая «Армия спасения» не спасет их от мучительного, унизительного угасания и гниения, от злого одиночества на миру!

У них бесплатная крыша над головой, и бесплатная балкада в подвальных столовых, и бесплатный проповедник, призывающий их благодарить господа бога за щедрость и любовь к ближним.

Правители Америки любят разглагольствовать о государственной помощи нищим, они только умалчивают о причинах, породивших сотни тысяч бездомных бродяг. Благостное ханжество, густой туман лицемерия покрывают этот «гуманный вопрос»...

Справедливости ради следует сказать о светлых часах и минутах, выпавших на мою долю в Нью-Йорке.

Запомнилась дружеская, сердечная встреча нашей московской группы с гостеприимными, мужественными людьми — членами Общества американско-советской дружбы.

Общество это, как известно, существует в Америке под председательством художника Рокуэлла Кента.

Несмотря на свое легальное положение, оно, разумеется, накрепко и наглухо вписано в железный список нежелательных учреждений.

Здравомыслящие и прогрессивные члены Общества живут на американской земле трудной жизнью пасынков, как говорится, торчат бельмом в полпудейском глазу недружелюбного госдепартамента.

«Провиантность» членов Общества перед правителями Америки состоит главным образом в том, что они стараются говорить правду о Советском Союзе, отмечают ложь и клевету о великой социалистической державе, называют факты своими именами.

Материальные средства Общества крайне малы, но его правление находит, однако, возможным выписывать мос-

ковские газеты и журналы и держать свой актив в курсе главных, свежих новостей из-за океана.

В небольшом зале, заставленном книжными шкафами, загроможденном продолговатыми столиками, в тесноте, да не в обиду, за чаркой легкого вина принимали нас, москвичей, нью-йоркские друзья.

Искренностью, радостью светились глаза гостеприимных хозяев, вопросам, взаимным дружеским восклицаниям не было конца.

Приятным в общем оказалось посещение Колумбийского университета. Само по себе здание этого старейшего высшего учебного заведения Нью-Йорка располагает к себе всякого, входящего под его массивные своды.

Встреча москвичей со славистами — преподавателями русского языка и студентами филологического факультета, изучающими русский язык, состоялась под командой самого декана.

Конечно же, она носила характер официальной беседы и отличалась больше холодной вежливостью и плохо замаскированной чопорностью, чем душевностью. И все же, судя по некоторым вопросам хозяев, не трудно было увидеть живой (и все повышающийся последнее время!) интерес американской интеллигенции к Стране Советов.

Желание узнать правду о Москве, о благоустройстве советских городов, о целине, о жизни советской молодежи сквозило в каждой фразе славистов.

Пожилые преподаватели — те еще сдерживались, а студенты (к сожалению, их было мало!) просто рвались в бой: им не терпелось разузнать все и обо всем, запомнить и рассказать другим.

Никогда не забуду долгих и взволнованных разговоров с молодой слависткой Анастасией Лопухиной (она уже была ученым человеком, без пяти минут бакалавром), с нескрываемой жадой расспрашивавшей меня о всех особенностях новой России, поражавшейся и восхищавшейся достижениями советской науки, литературы, искусства.

Русская по происхождению, Анастасия осыпала меня вопросами, на иные из них я отвечал дважды, просил не заставлять отвечать в третий раз. Анастасия в таких случаях искренне огорчалась, словно боясь запечатлеть услышанное.

Обходительная, доброжелательная, она произвела на меня впечатление обаятельного, по-настоящему прогрессивно и честно думающего человека.

Возвращаясь из Колумбийского университета в отель «Гравенер Клинтон», я ехал на такси в обществе Анастасии по дневному Бродвею.

Воздух лиловали холодные струи дождя вперемешку с мокрым снегом. В толпе идущих по тротуару горожан я увидел очередную юную пару битников — стройную красотку девушку и высокого бородатого парня. Оба они были одеты, как и положено битникам, с вызывающей неряшливостью.

Но меня поразило не это, а то, что парень в леденящую шальную погоду шел босым. Да, да, босым, и совсем не потому, что обувь нечего, а потому, что надо высоко держать мочальное знамя битничества!

Я не мог удержаться — и засмеялся, и довольно громко. Шофер такси спросил сидящую рядом с ним Анастасию:

— Над чем смеется мистер русский?

— Над битниками... Вон они, двое пошли...

Тогда нью-йоркский шофер-таксист с невозмутимым видом попросил Анастасию сказать мне по-русски:

— А почему, собственно, мистер русский смеется над битниками, что у них в Москве, своих идиотов нет, что ли!

И тут мы безудержно захохотали уже все троим.

Нью-Йорк в эти поздние осенние дни готовился к наступающим рождественским праздникам. Всюду красовались куклы-снегурочки, зелели разукрашенные разноцветными огнями синтетические елки, в витринах громоздилась различная стеклянная мишура, у входов в магазины и кафе стояли живые деды-морозы с колокольчиками в руках и звонили, звонили, звонили, призывая жертвовать для бедных, которых в богатой Америке, оказывается, больше чем предостаточно.

3

Из Нью-Йорка крылатый махина «Боинг» перенес нас в Бостон. Самое главное там — это, разумеется, знаменитый Гарвардский университет, который хотелось увидеть прежде всего.

Распластанный на обширной территории за рекой Чорлз, он издали своим очертаниями чем-то напоминает старинную крепость.

Спору нет, в Гарвардском университете процветают во множестве разные важные науки — технические, исторические, филологические. Ученостью, торжественной мудростью веет от заповедных аудиторий и кабинетов почтенного заведения.

Но павряд ли я ошибусь, если скажу еще и так: от точных и гуманитарных наук не отстают и махровая реакционная идеология некоторых ученых мужей, исповедующих и пасаждающих откровенную, дикую империалистическую озлобленность и социальную кривду.

Именно здесь, в Гарвардском университете, мне впервые на американской земле были заданы вопросы, подруглубный и провокационный смысл которых очевиден.

Весь комплект язвительного «любопытства» был выдан на-гора: за что арестовали и судили «безвиного Спявского» и «безобидного Даниеля Аржака», по какой причине не печатали «изобретательного фантаста Тарспса» и каково мое мнение о «выдающемся произведении» Пастернака — «Докторе Живаго».

Комплект этих каверзных вопросов, правду говоря, мало изменяясь по составу, с подозрительной последовательностью вставал передо мной на протяжении всего последующего пути, на всех официальных и частных встречах со славистами в Вашингтоне, Атланте, Чикаго, Беркли.

Насчет Спявского, Даниеля и Тарспса я, разумеется, отвечал кратко и возмущенно, не стесняясь в выборе определений, как того заслужили такие люди с двойным дном.

Что же касается Бориса Пастернака, тут дело было посложнее, требовалась и сдержанность, и деликатность, и уважение.

— Талант Бориса Леонидовича Пастернака имеет в Советском Союзе много поклонников в среде писателей и в среде читателей. — Так обычно начинал я свой ответ и продолжал: — Многие советские поэты разных поколений учились у Пастернака культуре поэтической речи, образности, красочности. Учлились даже те поэты, которые (как ваш покорный слуга, например) находили в пастернаковской поэзии излишнюю нарочитую усложненность, гра-

ничашую подчас с бессмыслицей. Маперность, хаос, индивидуализм не заслонили, однако, от любителей и знатоков поэзии великолепное мастерство Бориса Леопидовича. Мое личное мнение о лучших произведениях Пастернака, таких, как поэмы «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт», книги «Второе рождение», «На рапных поездах», стихи «Опять весна», «В лесу», «Стога», — самое высокое. В этих произведениях трепещет патриотизм, живет страсть, пленяет тонкий рисунок. Переводческая деятельность Бориса Пастернака также ничего не вызывает, кроме похвалы. Но относительно романа «Доктор Живаго», к сожалению, сказать этого никак нельзя — это безусловная неудача большого художника.

Называть «Доктора Живаго» выдающимся произведением — это значит прежде всего не уважать взыскательности мастера Бориса Пастернака!

При этих моих словах обыкновенно возникала долгая пауза, а за ней следовал обвал вопросов в несколько голосов сразу:

— Почему же тогда «Доктор Живаго» прославился всюду?!

— Чем вы объясните экранизацию романа в Голливуде?!

— Почему на Западе существует целая литература о романе?

«Почему, почему, почему?» — неслось из разных концов зала.

— Потому, — отвечал я, не играя в прятки, — что Пастернак отдал своего «Доктора Живаго» в чужие руки, за границу, где нашлись охотники использовать ошибку поэта в своих грязных политических целях!

Вторичная пауза бывала менее продолжительной, и вопросы из нее уже не сыпались, как горох из мешка.

Совсем плаче — естественнее, искреннее, проще — сложилась беседа с профессором Уайлом, специалистом по творчеству Максима Горького. Пожелавший увидеться, Уайл позволил мне в отель «Паркер Хаузен» и в условленный час увез к себе домой на собственной машине. Маленькая подробность: ехали мы с ним по ночному Бостону, пристегнувшись к сиденьям ремнями, как в самолете. Частые катастрофы, оказывается, вынуждают автолюбителей Бостона подчиняться обязательному пристегиванию.

Оба-два дотошных автолюбителя, мы, разумеется, сразу же нашли обоюдный «шоферский интерес» еще в дороге, а за рюмкой копылку у каминна пзанимость, как известно, никогда не уменьшашается.

В долгом и сердечном разговоре, в присутствии жены и детей профессора и многочисленных его друзей мы коснулись широкого круга вопросов. О советской поэзии, об участии советских писателей в Отечественной войне, о Литинституте имени Горького, о социалистическом реализме, о художественной самодеятельности в СССР и еще о многом, о многом шла речь. И ни разу я не почувствовал даже малейшего налета предвзятости. Ирвин Сидневич Уайл, как выяснилось, долгое время жил в Москве, стажировался в МГУ, много раз бывал в Переделкине, знаком со многими писателями-москвичами.

Он просил меня, в частности, передать привет Корпею Ивановичу Чуковскому, что я с удовольствием и сделал по возвращении на родину. Вот ведь как бывает — встреча встрече рознь, беседа от беседы отличается!

4

Из Бостона мы улетали в Вашингтон.

Столица США во главе с резиденцией президента — Белым домом действительно в буквальном смысле слова — белый город.

Белый с зеленою. Я имею в виду светлую окраску зданий (в подавляющем большинстве невысоких, иногда даже на удивление низких), которые обрамлены зелеными посадками, бросающими плотную тень. Белый дом — белый, Капитолий — белый, здания конгрессов и банков — белые, жилые дома высокопоставленных чиновников и приземистые епископальные и католические церкви — белые.

Светлые тона фасадов богатых домов в центре города резко контрастируют с мрачными, бурными и черными от копоти лачугами бедноты на его окраинах. Вот уж в самом деле разница так разница! Особенно черны и грязны негритянские жилища — ветхие, полуразвалившиеся, оголенные, жалкие.

Вашингтон — город правительственной бюрократии, скопище пмущего чиновничества, исполнительных, рев-

ностных служаек далекого от столицы, но пристально следящего за пей Уолл-стрита.

В Вашингтоне нет крупных заводов и фабрик, они не строились здесь и не будут строиться, ибо ни Белому дому, ни госдепартаменту, ни конгрессу, ни Пентагону не требуется индустриальный пролетариат по соседству с наспуженным гнездом политических заправил США. Без заводских и фабричных корпусов, заполненных рабочим людом, спокойнее конгрессменам и их подчиненным жить и проводить политику, угодную империалистическим тузам.

Отсюда, из Вашингтона, идут приказы и указы государственной важности, секретного и сверхсекретного назначения — по военным и дипломатическим каналам, по наземным магистралям разведывательной и диверсионной службы.

Город Вашингтон — город внешне маленького роста, благостной патриархальной паружности, а в деловом, раздумом его чреве, как в огромном, закамouflированном котле, варится крутая каша известной на весь мир экспансии капитала и завуалированной агрессии под видом пресловутой помощи. Зловещая, хитрая и хищная кухня! Обнаглевшие, потерявшие совесть повара!

С этим ощущением и ступили мы, москвичи, на залитую асфальтом землю американской столицы, и с ходу пожаловали в Советское посольство, и были радушно встречены нашим гостеприимным послом Апатоллем Федоровичем Добрыниным.

Не буду рассказывать о том, как, разделившись по профессиональным интересам, в этот же день наша группа разбелась, разъехалась по городу — кто куда, как я снова оказался в гостях у деятелей Института лингвистики, как с механическим однообразием выслушал знакомые вопросы и ответил на них, как осмотрел кабинь, в которых с паушниками на головах сидели студенты и при помощи магнитных лепт запомнили чужую лпоземную речь.

Поведаю лучше о том, что запало в душу, запомнилось.

После посещения Белого дома (президент Джонсон с семейством находился за городом, в собственном ранчо, иностранцам лпозезно была предоставлена возможность осмотра дома), который неожиданно оказался более чем

скромным, даже бедноватым по внутреннему убранству, я увидел Арлингтонское военное городское кладбище.

Недалеко от памятников-могил Джорджу Вашингтону и Линкольна, на возвышенности, раскинулось печальное море белых каменных крестов.

Куда и как ни глянь — кресты, кресты и кресты — ста тридцатью тысячами могил. Разлипованные, разграфленные, запумерованные, прибранные холмики — последние привалы вчерашних генералов, офицеров и солдат, окаменевшие волны недавней муштрованной стихии. Удивительная, мертвящая картина — ни дать ни взять индустрия смерти. Другого сравнения не найду.

Просторную кладбищенскую возвышенность венчает могила Неизвестного солдата, со всеми присущими ей атрибутами западного образца: вечным огнем, традиционной сменой караула и т. д. Но не об этой могиле речь, речь — о временной могиле Джона Кеннеди.

Под тяжелой квадратной плитой спит вечным сном недавний, самый молодой президент Соединенных Штатов Америки, зверски убитый в Далласе.

Прах Кеннеди покоится между крошечными могилами двух его маленьких детей.

К могиле Кеннеди, словно притягиваемые магнитом, текут и текут молчаливые толпы небогато одетых, так называемых простых людей Америки, не обремененных деньгой, не привилегированных. Их сразу видно, этих средних трудовых горожан и сельчан, служивых интеллигентов, детей нужды, застенчивых и немногословных. Они приходят сюда одиночками, парами, целыми семьями, неторопливо движутся или терпеливо стоят близ могилы Кеннеди, и на их лицах видна неподдельная печать скорби. Что влечет их сюда? Думаю, что одно и то же — уважение к памяти покойного главы государства. Чудовищная расправа политических гангстеров с Кеннеди, пролившем в свое время собственную кровь за честь американской нации, оставшегося идеологом империализма, но высказавшего ряд трезвых взглядов на мировое жизнеустройство, вызвала возмущение всех прогрессивных людей мира.

Не удивительно, что я и мои товарищи, стоя возле могилы покойного президента, испытали чувство внезапно нахлынувшей горечи. Трудовая Америка на наших гла-

зах искренне выражала свой гнев и свою любовь у дорогой могилы, а рядом, чуть ниже по склону, возводили мавзолей, куда по решению правительства вскоре перенесут тело Кеннеди.

Судя по масштабам строительства, мавзолей будет огромных размеров, пышный и капитальный. Что можно сказать по этому поводу? Лживое сооружение, задуманное и осуществляемое на липкой глине лицемерия! Правители Соединенных Штатов, правду сказать, не любят убитого президента, стараются даже не упоминать его имя, и будущий мавзолей, вне всякого сомнения, является всего лишь показным маневром.

За городом, на отшибе, повернувшись к шоссе своей беззаконной частью, стоит гигантский пятигранник военного министерства — Пентагон.

В противоположность общим светлым тонам городских зданий Пентагон выглядит угрюмо и отчужденно — серо-грязная окраска его крутолобых степ словно подтверждает наше мнение о темной сущности этого опасного учреждения. Любопытное зрелище можно наблюдать в черте пентагоновских владений. Как онемевшее стадо диких бизонов, на приколе у притихшего полдня, под открытым небом выстроилось более тридцати тысяч легковых автомашин. Что это такое? Кого ждут все эти «форды» и «кадиллаки», «ликольны» и «фольксвагены»?

Дожидаются они своих законных хозяев — служащих Пентагона. Не трудно представить, что творится под крышей военного министерства, какая уйма «стратегических» и «тактических» операций производится там, какие проектируются «практические шаги», какие придумываются «снадобья» и «рецепты», если столько требуется «провизоров» для их изготовления!

Наглядевшись на Арлингтонское кладбище и на Пентагон, усталый и пыльный, вернулся я к себе в отель «Командор» и принялся заносить впечатления дня в блокнот. Почти без помарок, неожиданно быстро родились строки о Кеннеди, я записал их:

За что его убили?
За трезвость, за резон,
за щедрость взгляда или
за правду рухнул он?

Кому был неугодеп?
Чья месть поберегла
лжецов из подворотен,
убийц из-за угла?

Течет река людская,
у горькой высоты
печально опуская
безмолвные цветы.

Нет папп покоя
у этих строгих плит.
Тут что-то есть такое,
что совесть шевелит.

Он с честными живыми
связал себя навек.
Трагическое имя,
пристойный человек.

Налево и направо —
открытых душ степа.
Великая держава,
жестокая страна.

Радостный, незабываемо светлый след остался в душе от товарищеского ужина в нашем посольстве. Сотрудники посольства, работники советской печати в Америке — журналисты ТАСС и Агентства печати «Новости», спецкоры советских газет, делегация редакторов молодежных изданий (как раз находившаяся в путешествии по США и подоспевшая к ужину в Вашингтон), члены моей группы — все мы сошлись, съехались, слетелись в родной дом, собрались под кровлей посольства, как усталые путники под сенью благодатного оазиса. Свои люди вокруг — какое счастье! Своя русская речь — какая прелесть! Локоть к локтю, глаза в глаза — все понятно с полуслова, никто не подслушивает, не надо опасаться звукозаписывающей тайпой аппаратуры, не надо быть «застегнутым на все пуговицы» в предчувствии очередной «любезной провокации», — какое блаженство!

До рассвета — свои протяжные песни, свои танцы, свои стихи и пародии, нашенские имена и фамилии!

На другой день из пиллминистра «Боннга» я увидел надвигающийся на меня просторный аэродром Атланта.

После северной погоды с холодными дождями и колючими ветрами штат Джорджия показался земным раем.

Если пользоваться сравнением, то похоже, будто из Омска или, скажем, из Новосибирска попал в Сухуми или в Сочи.

Влажный, теплый климат, безветрие, явственная умиротворенность, терпкий запах субтропической зелени, заметная маломашинность и немногочисленность.

Сюда, в сравнительно тихий аграрный уголок современной вздыбленной Америки, в район сельскохозяйственных плантаций, на экойную землю, раскинувшуюся в стороне от главных проезжих дорог, далекие иностранные гости завертывают очень редко. Советские русские люди, например, как оказалось, появились здесь впервые.

Нечего и говорить о том, с каким повышенным интересом встречали москвичей амерпканцы-южане.

К естественному интересу, чистой любознательности примешалась еще провинциальная помезность, припимавшая порой трогательные, порой юмористические формы. В одной из комнат аэровокзала состоялся краткий летучий лепч.

После шумных заздравных тостов, произнесенных в честь русских путешественников, расторопные бизнесмены посадили нас в свои лимузины и повезли показывать окрестные достопримечательности.

Повезли... Но как повезли! Четыре легковые машины, управляемые их владельцами, господами в широкополых шляпах, стремительно сорвались с места и пошли дугом с невероятной скоростью.

Впереди автомашин, по бокам и сзади, то обгоняя, то держась на почтительном расстоянии от центральной вереницы, помчались полицейские на мотоциклах — молодые, плечистые детины в ковбойских головных уборах, в расклепанных штанах, с тяжелыми пистолетами и стальными наручниками на поясах.

Передний мотоциклист почти непрерывно гускал в ход свою истошную сирену, боковые мотоциклисты тоже

время от времени отключались ему, лимузины на поворотах тоже не забывали сигналить.

Вихревая, оголтелая скорость, рев сирен, калейдоскопическая смена встречаемых предметов, лиц, пейзажей — ей-же-ей, словно на пожар!

Все живое вокруг — люди, животные, птицы — шаркалось прочь. Вот это встреча так встреча! Вот это шик так шик! Грандиозно!

Позднее я узнал, что меня и мою спутницу — преподавательницу русского языка для иностранцев в Москве Веру Александровну Агошкову, вез на своей машине не кто-нибудь, а миллионер, купец-перекупщик пищевых продуктов штата Джорджия, «король яиц».

Остальных наших товарищей везли также богачи-купцы во главе с мистером Сигерсом, тем самым, который по приглашению нашего правительства годом раньше приезжал вместе со своими коллегами в Советский Союз, знакомился с колхозами и пользовался гостеприимством на Украине и в Сибири. Оп-то я выпросил у губернатора штата эскорт мотоциклистов для советских гостей.

Перво-наперво показали нам купцы свое основное производство — огромные, порой достигающие почти полупрометровой длины склады овощей. Они, купцы, не производят овощи, они их покупают, обрабатывают и продают снова.

Выращенные на плантациях штата Джорджия и на других прилегающих южных землях огурцы, помидоры, картофель, баклажаны, капуста, лук, морковь, свекла, репа, чеснок и прочая петрушка в неимоверном количестве и, надо признать, в завидном качестве стеклись сюда, под рачительный присмотр и прилежную охрану. То же самое произошло и с миллионами, а может быть, и с миллиардами штук куриных яиц.

Не без удивления и не без похвалы осмотрели мы внушительные, построенные по последнему слову техники современные лабазы.

Кондиционированный воздух, поддерживающий определенную влажность, определенной температуры и даже определенного процента кислорода в хранилищах позволяют содержать овощи в свежем виде не месяцами, а годами: они как бы засыпают, не теряя первоначальных свойств.

С не меньшим искусством организована мойка, про-

сушка и особенно расфасовка овощей — отсортированные, взвешенные, упакованные в целлофановые мешки и мешочки, в пакеты и пакетики, они чудодейно приобретают праздничный и какой-то соблазнительно вкусный вид. На этом-то хитром и умелом «производстве соблазна», видимо, и произрастают баснословные доходы купцов-перекупщиков.

Впрочем, будем откровенны: доходы купцам приносит не только техника, а еще и безжалостная эксплуатация чужого труда.

Дело в том, что расфасовка продуктов, развеска и упаковка осуществляются при помощи ленточного конвейера, у которого как прикованные стоят в основном чернокожие рабочие и работницы. Проворным движением рук, непрерывной ловкой хваткой и сноровкой они вершат чудо изысканного комплектования овощей.

Изумительный, отупляющий, если хотите, унижающий труд живых автоматов!

Включившись в этот морковно-помидорно-луковый поток, человек отдает ему на протяжении долгих часов все свое напряженное внимание — цепкость зрения, упругость мышц, ритм легких и сердца.

Без остановки действует разноцветный конвейер! Бурлит, шелестит на протоках корпеплодная река!

И пусть-ка попробует кто-нибудь из стоящих у ее заколдованного берега нарушить установившийся темп работы, — мгновенный окрик, а то и удар свалится на нарушителя. Я сам собственными глазами видел и слышал, как рывкнул белый надсмотрщик на чернокожего парелька, не успевшего положить помидорину в подготовленное для нее место. Черпокожий юноша вздрогнул всем телом, страх охватил его, каждая жилка напряглась в усталом, одеревеневшем теле, но руки, кисти рук, ладони, пальцы пустились в конвейерный пляс с удвоенной энергией. Надо учесть, что все это произошло в присутствии гостей, которым надлежало показывать только лицо, а не изнанку медали. Легко представить, как бы этот просчет чернокожего выглядел без гостей, во что обошлась бы ему секундная промашка.

Вот оп, печально-известный край с пережитками старого настоящего рабства! Идут годы, десятилетия, а картина, можно сказать, не меняется — больно смотреть на чернокожих в штате Джорджия.

Забитость, упиженность, мучительная тоска во взорах, какаля-то внутренняя сторбленность, не говоря уже о внешнем пищенском виде, сумеречно отличают людей черного цвета в штате Джорджия. Слово время летит над этой знойной землей, но касался ее, не оставляя хотя бы слабых следов гражданских и социальных нововведений.

«Тюрьма для «освобожденных» негров — вот что такое американский юг», — давным-давно писал В. И. Ленин, давая оценку тогдашнего положения вещей в Америке. А что изменилось?

В сущности ничего...

Затем повезли москвичей на показательную молочную ферму. Владельцы фермы — три брата — держат двести голов, то бишь двадцать десятков дойных коров, которых обслуживают пятьдесят человек рабочих и служащих (включая, конечно, шоферов — развозчиков молока, ветеринаров, конторщиков, агентов по снабжению и т. д.). «Обслуживающего персонала», конечно, многовато, по, стало быть, игра стоит свеч. Братьев-владельцев не обманешь, они снабжают всю Атланту молоком, и еще, как они с гордостью заявляют, «себе остается!».

И то сказать, буренки у братьев-скотников вполне соизнательные — вымя у каждой похоже на дистерну, идет, бедняга, едва волочит его.

И все же надо отдать должное братьям-владельцам: ухаживают они за своими кормилицами, как за светскими дамами, кормят их отборно, по часам, моют их и скребут, и даже во время дойки классическую музыку им исполняют. Да, да! Играют коровам вальсы Шуберта и увертюры Листа, ибо джазовую музыку, разные там рок-н-роллы, а тем более твисты скотилки не приемлют. Благородные, воспитаны на классике!

Когда я услышал это из уст одного из братьев-владельцев, я попросил переводчика передать хозяину, что его коровы — мои единомышленницы, у них — правильный вкус!

Шутки шутками, а молочная ферма произвела впечатление: есть чему поучиться нашим советским животноводам у предприимчивых капиталистов. Правда, в нашей стране тоже есть показательные молочные фермы, где коровы не уступают заокеанским по удою и по жирности молока, но содержание животных, уход за

плмп, сама техника «коровьего быта» в Америке впечатляют.

За четыре дня пребывания в штате Джорджия много всякого и разного показал нам мпстер Сигерс. Посетили мы дом губернатора, осмотрели богатые апартаменты с мраморными бюстами разных усопших генералов — знаменитостей штата. Чем были знамениты бородастые генералы, я, конечно, благополучно забыл. Но запомнил одного, который обладал непомерно длинным носом и талантом оратора, часто выступал на собраниях и умер от рака языка.

Повел нас мпстер Сигерс и в свой родной дом — в департамент сельского хозяйства, познакомил с аппаратом офиса. Контора как контора, со всеми ее входящими и исходящими бумаженциями, юркими счетными машинками и скоросшивателями.

А вот когда мы увидели городскую клинику, в которой, как нам сообщили отцы города, отмечена сегрегация, — тут было на что поглядеть! В тесном, душном и грязном приемном покое клиники в многолюдной очереди стояли, сидели, лепились к стене, подпирая друг друга увечными конечностями в замусоленных биптах, изможденные и страшные клиенты. В очереди действительно находились белые и чернокожие вместе, но и те и другие не различались: по обшарпанной одежде, по исхудалым лицам и по многим другим явным приметам они были близкой классовой родней. Дремучая бедность была их общим уделом.

Очередь не двигалась с места, больные стонали, некоторые просто корчились от боли, но необходимость и надежда получить медицинскую помощь заставляли их терпеть медленное приближение к регистратуре. Особенно обреченный вид был у чернокожих.

В богатой, преуспевающей Америке не находится, оказывается, средств на нормальное медицинское обслуживание населения, здравоохранение находится на таком уровне, что только разводись руками.

Я невольно вспомнил недавний визит на показательную молочную ферму, где роскошная жизнь скота показала мне теперь обыкновенным издевательством над человеком.

После смрадного приемного покоя глаза мои просто не смотрели на всевозможные сверхэффективные рентге-

повские установки, новейшие аппараты атомной физиотерапии, диагностические приспособления и прочие чудеса верхних этажей городской клиники.

На прощание приветливый мистер Сигерс со своими коллегами устроил ужин, решил расстаться с московскими гостями широко, хлебосольно.

Ужин был сытным, несколько по хуже наших официальных приемов, разве только поэкопнее в выборе вин и блюд, по это уж дело вкуса, что ли. Вообще-то говоря, не было бы необходимости упоминать об ужине, если бы не один пикантный факт, непредвиденно поразивший внимание москвичей.

За столиком с нами (со мной, художником Марком Абрамовым и, кажется, журналистом-международником Спартаком Бегловым) очутилась одна блондинистая, не в меру декольтированная дама, жена профессора, специалиста «по русскому вопросу».

Кстати, профессор был тоже в зале, он сидел за другим столиком, подалеко от нашего.

Вдруг блондинистая дама (именно вдруг!) сказала:

— А ведь я из Советского Союза! Скупаю о доме... Эхма!

— Позвольте... Мы не понимаем вас, миссис!

— Выслушайте и поймете. Может, известно вам такое место под Москвой — Щелково?.. Так я оттуда... Я ненавижу Америку! Кто я здесь? Самка, и все тут!

Эти слова блондинки произнесла первано, ожесточенно, с той озлобленной убежденностью в голосе, которая не позволяла сомневаться в достоверности сказанного.

— Вы можете даже написать обо мне. Только прошу вас, измените имя и фамилию. Все равно ведь вы будете писать, так уважьте, не называйте меня...

Блондинка ловко палила полную рюмку виски и, почокнувшись, хлопнула ее и не закусила.

Признаться, в первую минуту я и мои товарищи малость оторопели от судорожных откровений, по быстро сообразили что к чему и выслушали «душещипательную» повесть захмелевшей блондинки до конца.

Животрепещущий, жизненный «амерлканский материал» сам шел мне в руки, как к журналисту и поэту. Я, разумеется, обещал соседнице не называть ее настоящего имени в будущем своем сочинении, по одновременно признался, что не написать о пей было бы свыше

моих сил. Поступая, как истинный джентльмен, я выполнил обещание: заменил в стихотворении не только имя героини, но и географию, связанную с ней. Не отступая от подлинных событий, стихотворение я решил написать в плане и в стиле жестокого романа, как того, с моей точки зрения, требовала сама фактура беседы.

Да, в русской американке я увидел в упор, наглядно не просто одиночество, а, так сказать, образцовое одиночество на мигу.

Стихотворный рассказ о блондинке я назвал «Маруся соблазнилась».

Маруся соблазпилась
и жить решила в США.
И вот восьмой годочек
горит ее душа.

Горит, как почью рапа,
всечасной болью ест,
ни лед не помогает,
ни пластырь, ни компресс.

Разламывает, ноет,
гнетет, хоть в голос вой,
тяжелым камнем тянет
в кручину с головой.

Да как же это вышло,
да как это стряслось,—
российская девчонка
и вдруг с Россией врозь?

Московская студентка
и вдруг в чужом краю
с дельцом из Сан-Франциско
связала жизнь свою?

А вышло очень просто:
при первом сватовстве
Маруся вышла замуж
за мистера в Москве.

За мистера туриста
в несочном пиджаке,
с большим овальным перстнем
на розовой руке.

Не то чтоб полюбила,
не то чтоб увлеклась,
а просто, не подумав,
мгнута поддалась.

Внезапной сладкой пылью
мозги заволокло.
Прельстили этикетки,
плевило барахло.

Сулил Марусе горы
заморский бизнесмен:
пи слез, дескать, не будет,
ни грусти, ни пзмен.

Одна любовь-улада,
один гагачий пух,
одно сплошное счастье
заманчивее двух.

Ласкай, мол, только мужа
и днем и при свечки
да трудной русской речки
без усталки учи.

Поверила Маруся
в счастливый поворот,
но жизнь ее сложилась
совсем наоборот.

Едва лишь очутилась
в Америке она,—
осталась на поверку
одним-одним-одна.

И есть супруг, и пету,
и есть дом, и пема,
своя квартира вроде,
а горше, чем тюрьма.

Уходит утром в офис
Марусин строгий муж,
разглаженный, душевный,
с сигарою к тому ж.

По милости Маруси
он стал почти лингвист,
по русскому вопросу
вполне специалист.

Марусины уроки
давно уж не нужны.
Он сделал крупный бизнес
при помощи жены.

Готовь ему, Маруся,
обильный ленч с утра,
сдувай с него пушинки
сегодня, как вчера.

Рожай ему по плану,
вздыхай да жди его...
Одно название — самка,
и больше ничего.

Маруся-недоучка
с мочалой в голове,
за третий курс зачеты
не сдавшая в Москве!

А прежние подруги
давным-давно, поди,
приметно вышли в люди,
далеко вперед.

Веселым им, конечно,
заботы нипочем —
одна юристом стала,
одна пебось врачом.

Мужьям не уступают
в труде по всем статьям,
на пятки наступают
ответственным мужьям.

Писала им, подругам, —
ответа не пришло,
суровый зимний холод
сменил, видать, тепло.

Студенческая дружба
стремглав пошла на слом,
подруги вертихвостку
забыли поделом.

И вот живет Маруся,
роплет муть-слезу —
и словно бы на людях,
и будто бы в лесу.

Хмельным студеным виски
обиду не зальешь,
жевательной резинкой
не снимешь фальшь и ложь.

Сейчас, наверно, вьюжит
погода под Москвой,
летит снежок над Клязьмой,
густой, пушистый, свой.

Береза ветви клонит
у стежки под горой,
и видится береза
родимую сестрой.

И, может быть, беглянку
зовет назад, как знать...
Дуреха ты, Маруся,
чтоб больше не сказать.

В ветреный неуютный час, в декабрьскую непогоду
увидел я Чикаго, второй по численности населения и хо-
зяйственному значению город Соединенных Штатов.

Дымный, оглушающий железным разноголосьем, скач-
кообразный в архитектурном своем обличье — то низко-

рослый, то небоскрежный, — громыхающий бескопечным грузовиками, лязгающий буферами маневрирующих железнодорожных подземных и земных составов, груженых рудой, лесом, нефтью, зерном, углем, мясоконсервной продукцией, всевозможными машинами и деталями машин, Чикаго давит на психику человека, пожалуй, не меньше Нью-Йорка.

Примкнувший к юго-западному берегу лилового, могучего озера Мичиган, город в это пасмурное утро как бы повторял раскатистые гулы и грозный плеск взбунтовавшейся от ветра воды.

Ощувив суету впервые увиденного города сначала сплizu, по дороге с аэродрома, потом с высоты шестидесят пятого этажа, где пришлось завтракать, затем из окна отеля «Альберт Пик», расположенного на многолюдной авеню Мичиган, я в общих чертах воспринял Чикаго как-то сразу, спокойно, без удивления. Очевидно, это произошло потому, что образ города не разошелся с моими представлениями о нем, сложившимися из прочитанных книг, из просмотренных кинофильмов. Все совпадало, за исключением разве знаменитых чикагских боев, которые, думалось, должны были попадаться на каждом шагу и из которых я не увидел ни одной.

Двадцатый век, достижения новой техники во всех отраслях промышленности, в том числе и в области убоя скота, изменили «традиционный профиль» чикагских предприятий. Холодильные установки фантастических масштабов прилипают теперь на переработку замороженное мясо со всех концов огромной страны. Никаких бредущих стад нет и в помине. Никакой степной романтики! Никаких переговщиков скота!

Сам город Чикаго, признаюсь, не вызвал во мне особых эмоций. Но вот озеро Мичиган, естественное хранилище пресной воды, играющее пепными волнами, колышающее на своей богатырской груди сотни судов и суденышек, привлекало мое внимание и вызвало неожиданные ассоциации.

Озеро Мичиган напомнило мне «славное море, священный Байкал».

Мысли, как чайки, улетели далеко, в родную сибирскую сторонку.

«Интересно, — подумал я, — как американцы сохраняют в чистоте мичиганскую пресную воду. Ведь это боль-

шая природная ценность. Вряд ли они не учли этого. Представляю, как это у них по-хозяйски делается!»

Подумав таким образом, я обратился к первому прохожему. На счастье, он хоть и скверню, но владел русским языком.

— Скажите, пожалуйста, вода в Мичигане, конечно, чистая?

— Что вы! Это же не озеро, а грязная поганая лужа. Мичиган запакоптили давно! А вы из России? Как ваш Байкал поживает?

— Нет, нет! — вырвалось у меня не без проныи. — Мы принимаем кое-какие меры...

Что же все-таки запомнилось в Чикаго? О чем и про что следует рассказать соотечественникам? Вот разве про семидесятишестипятиэтажное круглое, как водокачка, здание, сорок этажей которого отданы под гараж? Но у нас такие гаражи в несколько этажей тоже начали строить, и собираются туда автомобили так же, как в Чикаго, по спиральному спуску. Маловаты ростом пока, это верно, но погодите, дайте срок — вырастем.

Про балет, увиденный в одном из хореографических училищ? Так это просто плохой балет и ни в какое сравнение не идет с советским.

Про посещение деревянного квартала, так называемого «старого Чикаго», где имеется кабачок с игривым названием «Огуречная бочка»?

Был там, не скрою, пил ледяное янтарное пиво, заедал его печеным омаром с кукурузной лепешкой, обзревая стены кабачка, декорированные в испанском стиле — черные быки и фиолетовые тореадоры заполнили кабачок от потолка до пола. Для созерцания — испанские панно, для сидения — перевернутые бочки вместо стульев, для желающих курить — индейские длинные трубки, набитые какой-то таинственной травой. Экзотично, и сумбурно, и утомительно в одно и то же время!

Что еще? Да, чуть не забыл, футбол по-американски. Об этой, мягко выражаясь, неслыханной игре, напоминающей самое откровенное побоище, вызывающей у нормального зрителя то удивление, то раздражение, то, наконец, отвращение, — необходимо упомянуть подробнее.

Каковы особенности игры?

Мяч кожаный, но не круглый, а дынеобразный, сетчатых ворот, как таковых, на зеленом поле ни с той,

пи с другой стороны пет, вместо ворот специальные белые полосы, за которые надлежит нападающим мяч перебросить. Знатокн футбола скажут: регби. Ничего подобного! Регби по сравнению с тем, что я видел, — пинг-понг в детском садике.

Игроки, белые и чернокожие, юноши гигантского роста, не менее двух метров, атлетического сложения. Плечи у игроков наращены предохранительным гуттаперчевым подушками (сохранить ключицы!), на головы напаяны пробковые шлемы с резиновыми решетками, на манер забрала (сохранить черепа!).

От этих оборонительных сооружений длинноногие дылды раздаются вверх и в стороны и становятся похожими на фантастических существ с какой-то иной планеты.

Кроме всего прочего, футбол — это не просто спортивная игра, а коммерческое предприятие, каждый игрок куплен на корню. От выгрыша и от прогрыша зависит все его будущее.

По свистку противники сходятся, чтобы завладеть дыней и доставить ее, куда требуется. Только нет, не сходятся, а сталкиваются, нет, не сталкиваются, а сшибаются, нет, не сшибаются, а вламываются группа в группу. Вернее, может быть, сказать — вгрызаются стая в стаю. Все позволительно — бить ногой в пах, просовывать пятерню под забрало и душить за горло, выворачивать руки, давать подножки, бить головой в живот, крушить, калечить, переворачиваться через голову, ползти на карачках, наваливаться на одного всем кагалом. Игроки сонят, рычат, мычат, слышатся тупые удары мяса о мясо, в буквальном смысле трещат ребра, льются пот и кровь. А стадион — десятки тысяч болельщиков — стонет от удовольствия. Мы, москвичи, с разрешения самого мэра города Чикаго находились в первом ряду от поля. Я видел, как игрок-негр, с продавленным боком, едва доковылял до бровки, присел на корточки и глухо заплакал от боли. Он глотал слезы в двух шагах от меня, дожидаясь санитарных носилок, а у меня в мозгу в это время пронеслось многое: и быки, заколотые шпагами тореадоры, и гладиаторы, рухнувшие на песок арены под ударом меча, и волки, зафлаженные па облаве и ткнувшиеся мордами в землю от метких пуль егерей.

Стадион бушевал — топоча ногами, размахивал зон-

тами и тростями, визжал, свистел, горлапил в упоении, а негр-игрок, едва не теряя сознание от физической боли, был одинок в этом реве и гвалте, одинок, как заблудившийся в пустыне. Он был терзаем своими мрачными мыслями, он пахотился в невесомом состоянии страшного одиночества на миру.

7

Сколько я ни ездил по белу свету — в Азии, в Европе, в Америке, — но видел города красивее Сан-Франциско. Да, по-моему, красивее и быть нельзя.

Холмистый, утопающий в изумрудном прибое зелени, окантованный скверами, садами и парками, поражающий юношеской стройностью, ослепляющий меловой белизной, Сан-Франциско похож на сказочный, гигантский корабль, ставший на якорь.

Шелестящий широкопалой листвой пирамидальных тополей, кленов, эвкалиптов, вязов, магнолий, коронованный секвойями, елями, соснами, лиственницей, пальмами, благоухающий розами, пылающий маками, Сан-Франциско всеми своими улицами-палубами манит, располагает, привлекает, завораживает.

Раскинувшийся на благодатном полуострове, обволакиваемый влажными ароматами Тихого океана, город нежится под ласковым солнцем, как баловень матерн-природы. География словно бы пришла сюда на поклон.

Океан! Я не берусь определять разницу между морем и океаном, но она паверняка существует, как существует разница между канлей и пригоршней, между ручьем и рекой. В грозном слове «океан» живет что-то бездонное, воображение наше тонет в пучине водных громад, а если и выбирается на поверхность, то все равно не видит берега за пенным горизонтом.

Пролив Золотые Ворота, соединяющий бухту Сан-Франциско с Тихим океаном, — еще не океан, по в каждой малой волне пролива, в каждом всплеске набегавшего вала чувствуется прямое родство с океанским простором.

Над проливом повисли мосты такой бесподобной красоты и мощи, что, глядя на них поноволо жмуришься, как от солнца.

«Что говорить, когда говорить нечего» — эту поговорку одного моего московского друга вспомнил я, проезжая в автомобиле по железобетонному пастилу моста Золотые Ворота. Мост реет в воздухе, опоры не видны. На чем же, простите, мост держится? На трассе. Ничего себе плоточка-тросик в полтора метра толщиной и 1,2 км длинной, на которой повис поднебесный переходик!

Кружится голова, когда глянешь с моста вниз — девяносто шесть футов над уровнем моря, хочешь меряй, хочешь верь на слово!

И что самое примечательное — таких мостов, как Золотые Ворота, в бухте Сан-Франциско несколько, и один лучше другого.

Сан-Франциско — город многонациональный. В самом городе и в его пригородах — Ричмонде, Окленде, Сан-Матео, Беркли, Аламеде, кроме коренных американцев, живет много китайцев, мексиканцев, негров, итальянцев.

Несмотря на довольно развитые машиностроительную, нефтеперерабатывающую, химическую, пищевую промышленность, основной, решающей отраслью труда все же является кипучая, внушительная по масштабу деятельность порта. Недаром порт захватил почти всю территорию пологого берега — его причалы, рыболовная гавань, доки, склады, верфи, не зная ни сна, ни отдыха, гудят, дымят, гремят лебедками и кранами, перекликаются полотняными вымпелами и электрическими сигналами днем и ночью.

В среде морских рабочих — и на транспортных торговых судах, и на береговой службе, и особенно в среде докеров, как я лично убедился, не гаснет боевой дух пролетарского интернационализма.

Группу советских путешественников, в том числе и меня, в порту встретили радушно и заволагованно. Крепкие рукопожатия, улыбки, импровизированное дружеское застолье — все это свидетельствовало о прочной симпатии рабочего класса Америки к нам, представителям Советского Союза.

Более того — в один голос докеры заявили советским гостям о том, что они отказывались, отказываются и будут отказываться грузить оружие для ведения войны во Вьетнаме.

Клятвенно, гневно (и не один раз на протяжении короткой беседы!) подчеркнули портовики свое коллектив-

вое решение не участвовать в грязной войне против вьетнамского народа. Не участвовать, чего бы им это ни стоило!

Такое решительное поведение грузчиков, открыто и громко идущих вразрез с официальными правительственными требованиями, решение, чреватое возможной близкой бедой для них, показалось мне самым настоящим подвигом.

В памяти всплыли давние бурные исторические события, связанные с подъемом рабочего движения в Сан-Франциско, — стачки портовиков в 1916 и в 1919 годах и особенно — всеобщая забастовка 1934 года.

Одной из самых значительных примечательностей Сан-Франциско является богатейший, всемирно известный Аквариум. За недостатком времени я осмотрел его, к сожалению, бегом, но и то, что предстало взору, — никогда не забудется. Резвящиеся за толстым стеклом в зеленой морской воде акулы и дельфины, дремлющие в водорослях и на камнях крокодилы, матерые удавы, гигантские черепахи, играющие дикийными плавниками непостижимых форм рыбы, перекочевывавшие сюда из океанских глубин, — какое приковывающее зрелище! Какой великий соблазн для биологов и естествоиспытателей, какая изумительная патура для любителей животного и растительного мира вообще!

Не думаю, чтобы была пужда перечислять визиты к частным лицам Сан-Франциско. Это были все милые семейные дома, хлебосольные хозяева, либо преподаватели русского языка в Государственном университете, либо члены Общества «Пиш ты пиш» (народ — народу) — просто приятные люди, желающие взаимопонимания между Америкой и СССР, искренне содействующие этому благородному делу.

Общение с ними было приятным и полезным, но беседы, признаться, в целом гладко копировали одна другую.

Задержусь на Калифорнийском университете. Он находится за проливом Золотые Ворота, в Беркли. Как и Гарвардский университет в Бостоне, университет в Беркли производит неизгладимое впечатление академической значительности, старорежимной монолитности.

Вся наша группа (два журналиста-международника, три художника, два литератора, два экономиста и один

юрист) пожаловала в знаменитый заповедник науки по приглашению его почтенного руководства.

За завтраком стали знакомиться. Журналисты — с журналистами, литераторы — с литераторами и т. д. Меня представили пожилому человеку, который назвался коротко:

— Струве.

Нет, я не ослышался. Я, верно, не уловил отчества, но понял: он!

Для уверенности тихонько спросил соседа-москвича:

— Это тот Струве?

— Да, тот самый, который...

Ну что же, приспомятная фамилия! Еще со школьной, а затем и с институтской скамьи известна она мне.

Махровым цветом реакции расцветал в опыте для главного носителя ее — Петр Струве, хулиган Маркса и слуга Денкина и Врагеля. Сметенный очистительным ветром Великого Октября с лица российской земли, прокисший в белоэмигрантском болоте, он бесславно и уныло закончил свой незавидный путь.

Но ладно, то — Струве-папаша. А передо мной — его сын Глеб Петрович. Вглядываюсь в черты Струве-младшего. Время хорошо потрудились: дитя и морщинисто и лысовато, хотя, следует признать, полно бодрости. На лице, конечно, ничего не написано, но всем путром своим, всей кожей чувствую: наследник не посрамил родителя, яблоко от яблони недалеко упало.

Ведь мне, как и многим советским людям, в особенности писателям, отлично известна многолетняя, усердная антисоветская ярость этого господина. По разным и зело многочисленным желобам до Страны Советов докатилась отравная слюна «концепции» профессора Глеба Струве. Преуспевал на ниве безудержной клеветы на свою бывшую родину, на ее возросшую культуру, он, собственно, за это и получил высшую ученую степень от своих благодарных хозяев.

Вот кого судьба послала мне в собеседники! Что же, мне подвигаться и уйти? Но я нахожусь в Калифорнийском университете как-никак на правах гостя. А у всякого гостя, по-моему, кроме прав, есть еще и обязанности — быть сдержанным и терпимым.

И потом, смею заметить, я достаточно воспитан для того, чтобы не кидаться в крайность, не подчеркивать

свою неприязнь. Общаться так общаться! Струве так Струве! Посмотрим, как завяжется «общение».

Так и есть: заведующий славянским отделом университета профессор Глеб Петрович Струве приглашает меня и Агошкову Веру Александровну к себе в кабинет.

Приходим, рассаживаемся, помалкиваем. Не то что-бы скованность, а какая-то учтивая искусственность замораживает языки. Какова погода, как долетели из Чикаго до Сан-Франциско, что поправилось в городе — все это, разумеется, вопросы-пустышки, такие же никчемные и ответы следуют за ними.

В кабинет входит одна из помощниц профессора по учебной части и предлагает Агошковой познакомиться с «процессом студенческих занятий». Агошкова, как и я, сто раз уже знакомилась в Америке с подобными процессами, ей не прыгивать, и она уходит «знакомиться» в сто первый.

И вот я остаюсь в комнате один на один с профессором Струве. Подумаешь, Струве! Он не сможет оскорбить моего советского достоинства, пусть только попробует.

Нет, не страшно, боже избави. Но — мучорно на душе.

Беседа сразу оживляется. Даже приобретает некоторую улыбочность. Закурив, Струве спрашивает меня:

— Вы педь, кажется, сибиряк?

— Да, я из Зауралья. Из города Кургана. Слышали о таком, стоит на реке Тобол?

— Как же не слышать! От Кургана недалеко Омск на Иртыше, а Тобол впадает в Иртыш, а мой дед был губернатором Омска, затем губернаторствовал в Перми. Так что мы с вами, выходит, корнями земляки...

«Ничего себе, землячок отыскался,— думаю я про себя,— давай, давай «азаземлячивай» дальше, подгребай к цели!»

Разговор переходит на литературные темы.

— Что слышно с изданием произведений Зоженко в Москве?

— Лучшее из написанного им издаем.

— Как с Мариной Цветаевой?

— Печатаем. Устраиваются вечера ее памяти.

— А Николая Заболоцкого?

— Тоже печатаем. Расширяем количественно, разыскиваем неопубликованное.

— Осипа Мандельштама?

— Готовим к печати.

— Как вы относитесь к распре между журналом «Новый мир» и «Октябрь?»

— Отношусь положительно. Но полемику вряд ли следует называть распрей.

— Как же прикажете понимать?

— Как лишнее свидетельство свободы слова и свободы печати в Советском Союзе. Только так!

— А... — Тут, поперхнувшись табачным дымом, Струве прищуривается, замолкает на минуту и как бы между прочим интересуется: — Верно, что Абрам Терц и арестованный в СССР Снявский одно и то же лицо?

— Не знаю. Не думаю, — честно отвечаю я.

А как можно было ответить иначе? Когда я в ноябре улетал из Москвы в Америку, известно было, что Снявский взят под стражу за какую-то грязную политическую возню, но какую именно, никто из нашей бригады не ведал. Мне и моим товарищам по путешествию и в голову не приходило, что этот перекусившийся «деятель» так авантюрно играл на два фронта.

Струве между тем взбодрился и повеселел.

— За что же арестовали Снявского?

Я не вытерпел и сказал, отрывисто фиксируя каждое слово:

— Полагаю, всего-навсего за контрреволюцию. Да что это вы, Глеб Петрович, все о Снявском меня расспрашиваете! Ну его, в самом деле, к лешему. Почему бы вам не поинтересоваться, к примеру, Сергеем Есениным?

— Э-э-э... М-мда...

Как-то неопределенно махнул рукой мой собеседник и закаплялся. А я, каюсь, умышленно задал этот вопрос господину Струве.

С некоторых пор в Америке (преимущественно в кругах издателей, в среде лингвистов) пропал всякий интерес к творчеству Сергея Есенина. Произошло это по вполне понятной причине: как только в СССР широко, всенародно отпраздновали семидесятилетие со дня рождения великого лирика России, опубликовали полное собрание его сочинений, он перестал быть «лакомым куском» для лгунов-пропагандистов. Трудно стало делать из Есенина «жертву коммунистов», политические кликуши вынужденно примолкли.

Не отстал от них и профессор Струве.

Внезапно отлучившись, оставив меня в кабинете одиозного Струве возвратился вскоре с толстым желтым пакетом, заполненным книгами.

— Вот вам подарок от меня... Наши американские издания на русском языке. Первая книга двухтомника Осипа Мандельштама, «Стихотворения» Николая Заболоцкого. «Фантастические повести» Абрама Терца. Сборник «Разрозненная тайна» Д. Кленовского...

Повинуясь закону вежливости, я принял пакет, но раскрыл его лишь в «Мориц-отеле», у себя в номере.

Как и следовало ожидать, каждая из книжек была набита антисоветчиной. Я уж не говорю о бездарной мазне Абрама Терца, но и тексты хороших советских поэтов буквально увязали в «научных» вонючих комментариях составителей и редакторов, «знатоков» современной русской литературы — двух албонских белогвардейцев — Глеба Струве и некоего Бориса Филиппова.

8

Голливуд! Боже мой, какими только сладкими легендами и сказочными слухами не обросло в моем сознании название этого киногорода!

С отроческих наивных лет мне казалось, что на всем земном шаре нет места прозрачнее, звонче, радужнее, заманчивее Голливуда. Как я себе рисовал его?

Город умопомрачительных дворцов и замков с глубокими, непреодолимыми рвами и подъемными мостами, краем романтических вигвамов и таверн, виадуков и пальмовых рощ, тропических джунглей и поливных прерий!

В моем мальчишеском воображении Голливуд ослеплял землю, заселенный рыцарями, амазонками, королями, пиратами, ковбоями, сыщиками, скрипачами, автогонщиками, банкирами, молахами, гадалками, гимнастами, фокусниками, местрелями! Голливуд виделся городом, где можно запросто встретить зебру и белого медведя, услышать рев северного оленя и споткнуться о спящего удава!

Вся эта пестрота, прихотливость, полярность, выдуманность втемяшилась мне в голову опять-таки не с потолка, а с экранов когда-то увиденных фильмов, со стра-

ниц, прочитанных книг, и в предчувствии близкой встречи с Голливудом я, признаться, не был свободен от трудно объяснимой, упрямо гнездившейся во мне морочки.

И вот я мчусь в комфортабельном автобусе по утреннему прибрежью Тихого океана.

Из Лос-Анжелоса до Голливуда по периметру ровно сорок миль. Тридцать минут уже канули в путь. Шоссе, по-американски широкое и гладкое, как лед, тяжеленная машина катится по нему с невозможной скоростью. Не видать ни одного шлагбаума и перекрестка. Тихий океан остался где-то справа и сзади, начинают попадаться каменные и деревянные сооружения, постепенно увеличиваясь в размерах.

Пролетело еще десять минут. Стало быть, вот-вот покажется, откроется, распахнется царство необычайного — Голливуд!

Смотрю в окно автобуса во все глаза: где же он, обетованный уголок, край подвигов, открытий, погонь, клятв, надежд, ожиданий, грез?

— Скоро ли мы увидим Голливуд наконец?! — нетерпеливо спрашиваю гида и получаю вполне удивительный ответ:

— Мы уже в Голливуде.

Как? Это и есть тот феерический центр мирового киноискусства, при одном упоминании о котором в памяти роятся имена Дугласа Фербенкса, Мэри Пикфорд, Чарли Чаплина, Бестера Китона и более поздние — уже в пору звукового кино — П. Муви, Б. Дэвис, Г. Гарбо и других, и совсем недавно, вроде трагического имени несравненной Мерилин Монро?

Не знаю, может быть, потому, что я никогда не слыл заядлым театралом, не отличался киноманией, не вникал с достаточной введливостью в процесс рождения кинокартин, руководствовался в своих представлениях о Голливуде лишь сведениями, почерпнутыми в юности, — не знаю, может быть! — но чувство разочарования охватило меня с грустной беспощадностью.

Рухнули все мои воздушные, лирические построения. Я увидел стандартный, современный деловой город сегодняшней Америки, ни больше ни меньше. Равнодушная проза торговых контор, банков, гостиниц, магазинов, киосков, бензоколонок, богатых кафе и третьестепенных

забегаловок немедленно охладпла мое не по возрасту простодушное, разгоряченное воображение.

Здания как здания. Люди как люди. Нпкакпх тебе райских угодпй под сенью божественных дерев, ппкакпх скопленпй сногшпбательной красоты кппозвезд об руку с неотразпмыми кавалерами!

Пусть читатели, особенно читателицы, не посетуют: вот, дескать, поехал, увидал, приметил только будничное, а о прекрасном и возвышенном ни слова, а еще называется поэт. Смотреть, мол, чудеса и дива дивные Голливуда надо не в самом городе, а на территории киностудий.

Нет, почему же, именно так я и поступил. На второй же день пребывания в Голливуде вся наша московская путешествующая группа отправилась обозревать многочисленные навильоны обширных кинофабричных площадей, разбросанных то в долинах, то на взгорьях, то в развилках ручьев, то в окружении искусственных озер.

Ну и что? Свидания с дивами дивными не состоялись. Никто из москвичей не остолбенел от увиденного, никто не захлебнулся от восторга, вызванного картиной декоративностью. Когда я говорю о чувстве разочарования, я отнюдь не беру город Голливуд в отдельности, а оцениваю его в совокупности с центром, окраинами и неоглядным природным котлованом в венце гор, где как раз и осуществляется кинопроизводство.

Масштабно? Да. Планомерно? Да. Технично? Да. Хотя можно было ожидать большего. Капитально реконструированная студия «Мосфильма», кстати говоря, во многом не уступает ныне Голливуду, а кое в чем и превосходит его. Сухо? Солнечно? Да, климатические условия исключительно хорошие. Доходно? О да!

Дело выпечки прибыльных фильмов, «поточный метод» скоростной штамповки сотен и сотен так называемых развлекательных лент достигают здесь пикаминой высоты. Индустрия киногонки, направляемая и финансируемая крупнейшими банковскими концернами Уолл-стрита, процветает повсю. Конвейер кинопроизводства Голливуда в принципе мало чем отличается от конвейера расфасовки и упаковки овощей, который я впдел в Атланте. Разница только в том, что там обрабатывают и затем предлагают потребителям свежие, мытые картофель, огурцы, помидоры, морковь и репу, а тут всучи-

вают грязный, лежалый и затхлый товар — секс, шипопаж, стяжательство, блуд, насилие, мистику и прочие продукты капиталистического рая. И делается все это с торгашеским расчетом, с пошлым спокойствием, «без божества, без вдохновения».

В Атланте купцы-перекупщики, не забывая набивать прибылью собственную мощь, торгуют все же полезным товаром, а здесь реакционные, дрянные киноделы производят заведомую подслащенную отраву, используя коварное зелье в человеконенавистнических, контрреволюционных, эксплуататорских целях.

Не секрет, что львиная доля голливудской продукции напичкана откровенной империалистической пропагандой, расовой нетерпимостью, подчас смыкающейся с фашистскими откровениями, а картины-комиксы для детей и юношества представляют собою самую пагубную вреднейшую абракадабру.

С одним таким фильмом-дребеденью под названием «Похождения монстра», задуманным в семи, не то одиннадцати сериях, я частично познакомился еще в Нью-Йорке, включив телевизор, а в Голливуде, в студийных условиях, лицезрел декорации очередных его съемок.

Ну, знаете ли! Главный герой — урод, окруженный себе подобными родственниками, то барахтающийся в болотной жиже вместе с жабами, то разрывающий нескончаемые паутины, сплетенные пауками-гигантами, то попадающий в гроб вместо телефонной будки, — зрелище не столько смешное, сколько примитивное и омерзительное. А весь антураж ужасов, состоящий из ведьм, человеческих скелетов, летопырей, крыс, змей и сов лишь усугубляет тупость бездарного действия. А сколько уголовных, рекламных, салонных «шедевров» стряпает Голливуд!

Не секрет также и то, что эта киномакулатура находит широкий сбыт, и стараниями предпринимчивых кинопрокатчиков распространяется на все экраны Запада, выживая зачастую с полотен действительно серьезные художественные произведения.

Общезвестно трудное положение прогрессивных голливудских режиссеров и актеров, стремящихся правдиво показать жизнь буржуазного общества, их просто-напросто ставят в такие невыносимые политические и финан-

совые условия, при которых исключена какая бы то ни было творческая работа. Уж где-где, а в Голливуде не один десяток первоклассных киномастеров испытал страшное, оустошающее чувство одиночества на миру! Недаром всемирно признанный Чарли Чаплин решительно и навсегда порвал с Голливудом.

Нет. Голливуд меня не пленял и не потряс. С небес я благополучно опустился на землю.

К сожалению, не довелось видеть голливудский Городок Диснея с его всевозможными поразительными по изобретательности аттракционами и массивными красивыми аквариумами, в которых, говорят, резвятся даже не акулы, а китята. Но что не видел — то не видел, о том и язык на крючок.

И все же от Голливуда осталось в душе светлое, обнадеживающее воспоминание. Оно связано с людьми хорошим, радужным американцами, живущими в пагубном мире непременной наживы, в атмосфере взбесившегося чистогана, возведенного в культ, но остающимися честными и чистыми тружениками. Удивительные, светлые люди!

Я записал их адреса и фамилии, но я не называю их в этих дорожных заметках по соображениям самым деликатным.

Это благодаря их гостеприимству, заботливости, гражданской смелости я и мои товарищи по путешествию скрасили свое пребывание в Голливуде, избавились от одиночества.

Это из их благородной и трудовой среды выходят глашатаи правды о Советском Союзе, это в их просвещенном кругу с болью, чувством жгучего стыда за американских правителей ведутся страстные разговоры о бесчестиях Пентагона во Вьетнаме.

Честь и слава им, нашим милым далеким друзьям, и низкий поклон до земли!

Хочется верить, что будущее Америки рано или поздно найдет себя на пути трезвого разума и открытой интернациональной совести.

Москва

1965—1966—1968





сатира
1937-1969



литературные пародии, эпиграммы

ЭЛЕГИЯ

(Аделина Адалис)

Я критик, редактор, поэт, дегустатор, проходчик,
я, может быть, даже источник воды и огня.
Я токарь и пекарь. Я, кроме всего, переводчик —
ступайте найдите другую такую, как я!
Я, верно, собратьям вовеки не буду по праву!
Я, верно,

бессмертна

издательствам всем вопреки!
Живи бы Гомер, он меня пазывал бы по праву
единственной в мире владычицей длинной строки.
Читайте меня наизусть. Изучайте. Любите!
Я бриджи надела. Довольно носить паранджу!
Поставьте при жизни мне памятник. Что?! Не хотите!
Держите меня, ведь сама я себя не сдержу.

БУРБОНЫ ИЗ СОРБОННЫ

(Павел Антокольский)

Здесь побывали все под сводом книжной арки:
аркебузиры, лучники прошли,
Вийоны, Дон-Кихоты, Тьеры, Жаппы д'Арки.
В жабо. В ботфортах. В пудре. И в пыли.

Здесь были все. Голландцы. Турки, Негры. Греки.
Здесь пили пунш. И били баккара.
Глотали сандвичи. Бананы. Чебуреки.
Альфонсы. Франты. Шлюхи. Шулера.

Здесь пропивали все: и кебы и фургоны.
Лечили люис. Нюхали цветы.
Магистры. Пары. Мэрп. Сэры. Гарпагоны.
Гризетки в капюшонах. И шуты.

Здесь папа Пий, пья, рыдал фиоритурой.
Здесь всех имеп вертелось колесо.
Пока его сверхсупермодной кубатурой
не перешиб художник Пикассо.

Здесь морг времен. Кладбище. Свалка. Наму
жалость
к усопшим завернем в остатки от портьер.
Здесь все пюрэмешалось и слежалось:
Макс Линдер, Командор и Робеспьер.

Здесь пахло аглпцким, немецким и французским.
Здесь, кто хотел, блудил и ночевал.
Здесь только мало пахло духом русским,
поскольку Поль де Антоколь не пожелал.

ВАСИЛИЮ АРДАМАТСКОМУ,
АВТОРУ ПОВЕСТИ
«ОН СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ»

Его я, видит бог,
судить не буду строго.
Он сделал все, что мог,
хоть сделал и пемного.

Ж Д Е М!

(Николай Асеев)

Правда,

есть

у нас

Асеев

Колька

Этот может.

Хватка у него

мол.

В. В. Маяковский, «Юбилейное»

Не за скрытность, а за искренность
крепко любим мы тебя.

Потому, шеренгой выстроясь,
говорим тебе, любя:

— Нет, не примем мы за истину,

будто наш Асеев сник,

наш маститый, наш пейстовый,

уважаемый Ник. Ник.

Не в бегах за гонорарищем

рыщет Муза дешь-деньской.

Разве мог бы быть товарищем

Маяковскому такой?

Нет, еще горда доподлинно

неподкупная строка,

и Пегас стоит оседланным

в ожиданье седока.

Ну-ка, выдай полной мерою,

на рысях возьми подъем!

Мы надеемся, мы веруем,

мы не сетуем, а ждем.

Нам не надобно трюкачество,

фокус-мокус через край.

Где же сила? Где же качество?

Если можешь, то давай!

ДЕТСКАЯ ШУТКА

(Агния Барто)

Пишет А. Барто толково,
часто в темпе Михалкова,
но зато паверняка
отстает от Маршака.
Вот надеть бы на Барто
маршаковское пальто
да на обе бы ноги
с Михалкова сапоги,—
вот тогда бы, вот тогда бы
всех Барто обогнала бы!
Всыпав крепко Михалкову,
догнала бы Бичер-Стоу
и развеяла бы в дым
братьев Тур и братьев Гримм.

РЕЧЬ ПО ПОВОДУ

(Александр Безыменский)

Друзья мои!
О чем вопрос?
Даешь сюда статью любую,
коробку спичек,
пачку папирос —
и я статью любую зарифмую!
Итак, борьба!
Борьба к борьбе!
Труба трубит
в трубу трубою!
Труба
трубою
по трубе!
В боях,
на бой,
от боя
к бою!
Буржуям-гадам гроб!
И крах!
К чертям
конвенты-дивиденды!
Бум-бум,
друзья!
Бум-бум и трах!
(Овации. Аплодисменты.
Все встают. И уходят.)

ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ КЛЮКВЫ

(Виктор Боков)

Очень хочется клюквы —
мочажинного слова!
Очень хочется клюкнуть
нестерпимо квасного.

Шибко хочется влаги
со сластинкой-кислинкой,
сусла, редьки, бодяги,
балалайки с волынкой!

Тело просится в заводь,
в камышовую негу,
окупаться, поплавать,
да и шасть под телегу!

Так и гнет к буеракам,
так и тянет к излукам
купать Ключева с маком,
Заболоцкого с луком.

Сердце требует пенек,
трехсаженных признаний,
высоченных оценок,
мановенных паданий!

Очень хочется тропку
заприметить к кассирше —
пост справлять петорошко,
разговляться пошпирше.

Льнет душа к русопятам,
а в случае особом
на юру на попятном —
к поэтическим снобам.

Очень хочется скопом
сельдерей со злаком,
спырыньи с конотопом,
щавеля с пастернаком!

АНДРЕЮ ВОЗНЕСЕНСКОМУ,
АВТОРУ «ТРЕУГОЛЬНОЙ ГРУШИ»

Силён Вознесенский Андрюша,
он нас повергает в испуг:
на нем треугольная группа
и — восьмигранный сюрик.

ВОН ИЗ МОСКВЫ!

(Николай Грибачев)

Хотите знать, как дрожжи бродят в тесте,
как из ложбинны вылезть на увал,
чтоб ваш Союз писателей на 200,
а не на 100 процентов успевал?
Желаете? Тогда без позраженья
приинкните ко мне, как к букварю,
наплюйте на свои соображенья
и слушайте, что я вам говорю!
Собрания и пленумы — в болото!
Комиссии — на мусор! Все на круг!
Ни чтобы референта-полиглота,
ни гида-переводчика! Каюк!
Бюро всех секций — к спосу и в распилку!
Архивы — в печку! Сжечь, как чернобыл!
«Московский литератор» — на подстилку!
Шептунью «Литгазету» — на распыл!
Досье, анкеты, папки, протоколы —
в один плетеный гроб! И шагом арш!
Замаянных курьесов — на приколы!
На мыло раздобревших секретарш!
Что? Слишком, говорите, мыслю круто?
Хочу держать безгласных под пятой?
А вы что, суслики, не знаете как будто
влиятельный характер мой крутой?!
На заседаниях преть без останова?!
Да лучше я сметаюсь на Деспу
тягать сомов, лелеять время клева,
зубастых щук аркапить на блесну!
Вон из Москвы! Кратчайший путь разведав,
скорее в Брянск! В Ржев! В Рузу! В Рогачев!

В гробу перевернулся Грибоедов.
Чихнул Салыпский. Вадрогнул Щипачев.

НОЧЬ КОРОТКА

(Евгений Долматовский)

Ночь коротка. Жизнь так легка!
В пять минут сочиняю я песню,
потому что набита рука.
Пусть я с темой совсем не знаком,
все равно утвердит репертком.
С композитором вместе
в Бухаресте иль Бресте
мы навертим вдвоем
и о том и о сем,
а скажу вам по чести:
сам не знаю о чем!

ДО РИЗО И ПОСЛЕ,
ИЛИ МИСТИКА
В ТРИ ЛИСТИКА

(Николай Доризо)
Адвокат Збарский

Пришел —
 в жпть сначала буду.
Героем
 буду звать того,
Кто
 пережить сумел
 минуто
Самоубийства своего!

*Н. Доризо, драматическая поэма
«Утром после самоубийства»,
действие 3-е*

Вечно с этим отдыхом морока!
Так сказать, не жизнь, а карусель.
Как-то летом

 в Гагры

 на два срока

ехал я, покинув Коктебель.
Клонит в дрему дальняя дорога.
Ехал я и думал:

 «Благодать!

Отдохну от отдыха немного
и опять поеду отдыхать».

Ехал я на скором, на транзите.
Вдруг в купе

 под мерный стук колес:

— Ваша как фамилия, простите? —

кто-то снизу задал мне вопрос.

Я нагнулся с полки и увидел:

простыней накрывшись до колен,
подо мной маячил,

 словно идол,

в полумгле

 какой-то старый хрен.

Любопытство чужь в индивидуе,

ничего такого не тая,
ничего сякого не предвидя,
— Доризо! — ответил хрену я.
— Как? Ого! Вот это амплитуда!
«До» сперва? А после как: «Ризо»?
Кто же Вы? Куда Вы? И откуда?
Пекарь?

Лекарь?

Деятель ИЗО? —

Не желая выдать связь с театром,
близость с музой отвергая прочь,
я назвался с ходу психиатром,
чтобы воду в ступе не толочь.
— Слушайте, так это же прелестно! —
взвизгнул пожилой интеллигент. —
Будем же знакомы!

Оч-чень лестно!

Псих со справкой.

Круглый пациент!

Рад беседе, хоть лишен витийства.
И вообще, по правде говоря,
после своего самоубийства
я,

как я,

давно уже не я.

На том свете,

знаете,

желанья

обретают скорый свой уют:
должности высокие и званья
запросто усопшим выдают.
Нынче вы, допустим, просто цензор
или, скажем, просто секретарь,
завтра — Бисмарк

или Юлий Цезарь,

послезавтра —

Цезарь Солодарь.

На том свете,

знаете,

водицу

вместо крови принято считать.
Если вы хотите убедиться,
можете немедленно испытать.

Только быстро,
без пустых преамбул.

Бац! — И вы в раю яли в аду!..

.

Я смекнул.

Тихонько смылся в тамбур
и махнул с подножки на ходу.

В БЕГАХ

(Евгений Евтушенко)

Я весь в пуху,
в репейнике,
в снегу.

Что знаю я?
Я ничего не знаю.

Я от себя стремительно бегу
и сам себя все время догоняю.
Есть пункт в Москве.

Он как бы спит украдкой.

Не площадь, не проспект и не тупик.
Собачей пазывается площадкой,
хотя вокруг кошачий слышен крик.
Там дом, и лестница, и глубь окна,
а за окном —

преlestница одна.

Она в меня, конечно, влюблена,
по в этом вовсе не моя вина.
Буран ли белый, дождик ли косой —
я мчусь вперед,

я жму на все лопатки,
качусь под горку длинной колбасой
без усталости, конечно, без оглядки.
Ах, модные ботинки,

не скрипите!

А вы, далекая,
забудьте про беду.

Возьмите сердце в руки.

Потерпите.

Я,
как набегаюсь,
немедля к вам приду.

СУХОПУТНЫЙ МОРЯК

(Александр Жаров)

Зря зовут меня тайком
сухопутным моряком.
Скажем, взять мои труды —
нешто мало в них воды?!
Если глубже заглянуть,
можно тут же утонуть.

ЗАПЕВАЛА

(Михаил Исаковский)

Я таковский и сяковский,
я московский и смолепский,
я Михайло Исаковский,
городской и деревенский.
Мои песенки простые
все поют: и стар и млад,
пожилые, холостые,
и профессор, и солдат.
В поле, в лодке, на дому,
на Неве и на Дону,
под сосной и под березой,
и наперед и вчерась,
в состоянии тверезом
и слегка опохмелясь.
Где девчешник,
где мальчишник, —
там и я и баявист,
я прилипчив, как горчишник.
Духовит, как банный лист.
Я еще не Беранже,
но не Колычев уже!

ЗИЗГАГИ

(Семен Кирсанов)

...шло авто
и и то авто
я втоптан меж
двух дам цвета беж.

С. Кирсанов, «Дорога по радуге»

Моголевский мулвар.
С. Кирсанов, «Буква «М»

Были недовольны мы.
ехали в «линкольне» мы.
Я с приятелем, и к нам
сели меж
пара паших новых дам
цвета беж.

Едем криво,
едем косо,
ехать прямо —
не к лицу.

По Садовой едем.

По Са-
довой (по Са) му кольцу.

Давай,
авто,

авто,
давай!

Гони,
а то

мотнем
в трамвай!

Не «линкольн»,
а «Любо-Бис»!

Наконец
мы в клубе Пис.

Стали мы
глотать
икру,

кушать
држем,

стали мы играть в игру,
в букву «М»:

- Шуры!
- Муры!
- Флган!
- Мигли!
- Пети!
- Мети!

Мсе!!!

МУХОМОР

(Александр Коваленков)

Случилось ли вам собирать мухоморы
в лесах, где тропинки пропитаны лесным,
где ведьмы в чащобах ведут разговоры,
где конникам страшно и муторно пешим?
Известно ли вам, что грибок подосиновик —
пустяк по сравнению с лесным мухомором
и что сыроежки в платочках малиновых
считаю я так... не грибами, а вздором?
Маслята, опята и прочие рыжики —
пустяк мухомору, ничто перед ним.
Они мельтешат, как пачетчики-книжники,
питаюсь талантом его нутряным.
Нет, гриб мухомор — это овощ богатая!
Настойка с него — не пастойка, а мед.
Не только что муха погибнет проклятая,
а правду сказать, и читатель заснет.
Я в солпечный день падеваю поддевку,
лукошко бесстрашно беру за рога,
заместо виптовки хватаю муховку
и бодро с муховкой иду на врага!

ПЕСНЯ О МЭТРЕ

(Владимир Луговской)

Итак, начинается песня о мэтре,
о сантиметре и миллиметре!
О книгах, которые были важны,
которые стали теперь не нужны.
А покуда песня до нас идет,
а пока читатель по-своему поет:
«Ах, как же ты, редактор,
поспел, пострел!
Кто тебя назначил?
Куда смотрел?
Эх, стих! И два!
Горе и беда.
Налево — окошесница,
направо — лобуда».
Стой!
Кто идет?!
Сам читатель!
Кончено!
Залп!!!

ПОД ПОНТОННЫМ МОСТОМ

(Леонид Мартыков)

Я и Она. Она сидит на корме.

Я — на веслах, и сам себе на уме.

Луну заслоняет пам Волчий Хвост.

Плывем во тьму, неизвестно к чему.

Под Деревянный мост,

под Оловянный мост,

плывем под Картопный мост,

плывем под Понтопный мост.

— Не утонешь? — кричат мне, пугая реку
Тишину.

— Не уточу! — отвечаю. — Не утону! —

И чувствую, что иду ко дну.

А на дне — Лукоморье. Трава-мура.

Горят изумруды, играют флейты.

Какая-то рыба кричит мне: — Эй, ты!

Ну, как под водку моя икра?! —

Меня вопрошает сама природа.

Ведь я же лирик особого рода!

Я не колхозный и не совхозный,

я виртуозно-претенциозный,

я, если хотите, комар малярийный,

но не газетный, не индустриальный.

Я понимаю язык вороний,

деревья со мной разговор ведут.

Я посторонний, потусторонний,

я, может быть, даже не там и не тут.

Но даже в воде и даже во тьме

я сам себе на уме.

ДЯДЯ СТЕПА

(Сергей Михалков)

Кто не знает дядю Степу!
Он усат, но безбород.
Кто не видел дядю Степу
в полном смысле вразворот?
Он стихи слагает ловко —
это раз!
На плечах его обповка —
это два-с!
Он и пьесы сочиняет,
и кино не забывает,
и охотно развлекает
и актеров и актрис —
это три-с!
Все мы любим дядю Степу.
Уважаем дядю Степу.
Нет таких редакторов,
кто его произведение
про лисиц и про бобров
припalm бы без почтения.
И на каждое чиханье
раздается посклипанье:
«Дядя Степа, будь здоров!»

ФАКТ, А НЕ РЕКЛАМА

(Иван Молчанов)

Я нигде не бил посуду,
жил как мог, писал как мог.
А прославиться повсюду
Маяковский мне помог.

БАС НА КВАСЕ

(Сергей Островой)

Тугим столбом встает рассвет,
крылом выламывая сучья.
А месяц, словно морда сучья,
ропает наземь розов цвет.
С охрипшим голосом, как с другом,
я пробираюсь по яругам,
хочу дерзать, хочу любить,
хочу во всем покрыть соседа.
Зарежь, допрежь, прийтить, кубить,
намедни, сызпова, покеда!
Когда мне говорят друзья,
что, дескать, так писать нельзя,—
друзей я оглушаю басом
и горечь запиваю квасом!
Обросший шерстью на путра
и корневищами спаружи,
я клад пишу в чернильной луже
и день и ночь кричу: «Ура!»

МИНУТА ОТКРОВЕНИЯ

(Борис Пастернак)

Когда какой-то брод в груди
И лошадыю на бродѣ
В нас что-то плачет: пощади,
Как площади отродье.

Б. Пастернак

Веселею порою льда
Бывают огорченья.
Бывает день такой, когда
Берут меня для чтенья.

Прищиппально я надел
На космос коромысло,
Чтоб отлупить никто не смел
Бессмыслицу от смысла.

НА-КОСЬ ВЫКУСЫ!

(Дмитрий Петровский)

Чикку-вѣмбпр-вѣмбумбир,
вамбум-бѣр.
Был бы я бы в армии
бомбардир.
Бреды-мреды-вымырлы,
кырла-вѣр.
Или был бы, может, я
кашевар.
На-кось выкусь окиси,
дзымбар-вѣть.
Но решил я, граждане,
рифмовать.
Чикку-вѣмбир-вѣмбумбир,
вамбум-бур.
Сколько раз ни пробовал,—
все сумбур.
Удивляюсь, граждане,
сыктив-пор.
Как вы меня терпите
до сих пор!

**ДВА ВОПРОСА,
ДВА ОТВЕТА**

(Григорий Рыклин)

— Ну, как вам Рыклин?

— Что ж, читаем...

— Смеетесь после?

— После? Да!

Мы после Рыклина за чаем
читаем Чехова всегда.

ЭХ ВЫ, ЛЬНЫ

(Николай Рыленков)

От восхода на закат
шел я, юн и бородат.
Шел в «Советскую Россию»,
а попал в Гослитиздат.
Эх вы, лыпы, да эх вы, лыпы,
до чего ж вы, льны, хмельны!
В синих льнах, как оказалось,
есть и пиво и блины.
Я набрал букет цветов —
и двухтомничек готов.

...Ходит по полю мальчонка
сорока восьми годов.

ХИРОМАНТИКА

(Михаил Светлов)

Милая крошка!
Как дивные стапсы,
года партизанских боев отзвенели...
Теперь я раскладываю пасьянсы
на бывшей твоей
лазаретной шпигели.
Бубновая дама
сулит мне удачу.
Я стал драматургом.
Мне стих не мешает.
Я стану богатым,
я выстрою дачу...
Но двойка,
трефовая двойка решает!!!
Крапленая карта —
она мне знакома,
она может сбить
короля козырного.
Я видел ее
за столом реперткома,
она может все...
Оградите Светлова!
Вы видите эту
сплошную помарку?
Вы видите эту
сплошную купюру?
О, дайте мне реплику,
дайте ремарку!
Ведь дали же братьям
по прозвищу Турам!
Ты хмурись, крошка?
Ты стала старушкой,
пока я писал...
Эскадронная кляча!
Уйди, не мешайся,
закройся подушкой,
чтоб я не слышал
трагедийного плача!

ОХОТА КНЯЗЯ
ВАСИЛИЯ ШУЙСКОГО
НА ПАО-ПАО

(Ная Сельвинский)

Царь (Шуйский)

Я поскачу! Уж я те поскачу!
Всю бороду оциплю по щетилке
Да поздырля закопачу — во!
А губы-то зашью, зашью, зашью...

И. Сельвинский, «Рыцарь Иоанн», акт 2-й, картина 6-я

1

Прослышал князь, что штражникам противу
в Московню, лесов Рязанских скрозь,
продался зверь породы «ПАО-пАО»,
забрел, стервец, неведомо откель.
Размыслил князь и снарядил облаву.
Сто конных ратников и сто стрельцов
пошли в обход. Для строгости, для тайны
исправный князь дал письменный указ.

2

ПАО (обезьяна)

Я видел сквозь платье,
как видят сквозь сон,
Языческим глазом святы
колонны
Ваших очаровательных ног...

И. Сельвинский, «ПАО-пАО», акт 2-й, картина 6-я

«Болванам пересказывать нет толку!
К сему пишу. Прпметы таковы:
в ухе серьга неведомо откеда,
глаза в очках немыслимой кости.
Хучь он в шерстях, и видом непристоен,
и псиной дюже пахнет, между тем
ярыжки бают, обучен наукам
и потому до крайности хитер.
На правой длани, быдто у монаха,
шолкают четки (чет либо нечет),
на левом чресле тычется в кошелке
самопечатня марки «ундervуд».

Охочь до баб, до браги п до меду.
Ишо не стар, однако п не млад.
Подачек не берет. Взамен курей да хлебу
за ересь требует какой-то гонорар.
Наказываю: где бы он ни шлэндал,
сыскать его, пымать и привести
ко мне сюды. Связать в дороге, дабы
в пути okazji разных не чинил!»

3

— Аап!
Перр... — На здоровье. — Ррязь!!!

Ап...
— Ну? — А... — Ну? — Нет...
Проехало.

И. Сельвинский, «Улясвицина», глава III

Скрутили, заковали «Пао-пао».
свели в Москву на правый суд бояр.
Один кричит: «Давай его на дыбу!»
Другой кричит: «Коли ему глаза!»
«Впшь, вражий дух, — кричит боярин
третий, —
в святую Русь пришел без пропусков!
Пушай забавит нас, пушай кричит совою,
пушай по-щучьи воет! Право! Асы!»
«Попшто, бояре, так вы безыскусны? —
кричит четвертый. — Дать ему воды.
Чтоб он для нас разов десяток кряду
огонь отседа высек... Каково?!»
Великий спор решил опять же Шуйский.
Он встал и молвил: «Токмо не шуметь!
Зверь может все. Пушай потехи ради
пропляшет Пао ямбом на пять стоп!»

И ТАК И ЭТАК

(Владимир Солоухин)

Вихраст, в царапинах всегда
И подпоясан лычкой...

В. Солоухин

Так что если когда-нибудь нам попадется
Моя
Валяющаяся на дороге,
Снарядом ли,
Просто ли оторванная голова,
Не ппайте погой, пододвигая поближе к помойке,
Не говорите,
Что именно там ее место...

В. Солоухин, «Голова»

Коси, коса, пока роса.

Пардон.

Мерси.

Комсп-комса.

КАЗАКИ С БАГРОМ

(Анатолий Софронов)

В погожий день в лампасах да в погонах
казаки ехали над Доном табуном.
Глядят казаки: вппз плывет бочонок...
Один кричит: — Да он, никак, с вином! —
Поднялся шум, поднялся спор законный:
— Коньяк, братва!
— Какой коньяк! Кагор! —
И подал тут команду эскадронный:
— Э-гей, э-гей! Давай сюда багор! —
Нашли багор. Догнали, зацепили ловко.
Хорош бочонок! Весь в смоле на вид.
Какие обручи, какал упаковка!
Клеймо на нем московское стоит.
Ловки казаки. Вскрыли днище дружно.
Отведал первым командир-отец.
Глотнул глоток и вымолвил натужно:
— Обман, братва! В бочонке-то сыреп!
— Ховай, казаки, кружечки-жестянки! —
Весь эскадрон, как улей, загудел.
— Его не пить, а мыть бы в нем портянки!
Ну, попадись нам этот винодел!
По коням, конники, братишки да сестренки!
Цимля-Цимлянская виднеется вдали.
Э-гей, э-гей, подплейники-постромки,
э-гей, э-гей, копыта-ковыли!

РОБКИЙ СОВЕТ
КРИТИКУ ИВАНУ ЧИЧЕРОВУ

Скажем прямо-откровенно,
правду-истину любя:
никакого Демосфена
не случилось из тебя.
Видно, вздумалось фортупе
ехать мимо колес,
коль остались снова втупо
все филиппики твои.
До признания далече,
я ничтожны барыши.
Брось ты, Валя, грохать речи,
а скорей садись — пиши.

Б Я К А

(Корней Чуковский)

Милые деточки,
мальчики, девочки,
Коленки, Оленьки,
Ванечки, Манечки,
Мусеньки, Лизальки,
Дусеньки, Кусаньки,
все вы растете и учитесь.
У меня ж по старинке
все те же позинки:
живут на прилавке
козявки, малявки,
бегут по бумажке
таракашки, букашки.
Развелись на обложке
вошки и блошки —
не выжечь мне их и не вытравить.

ОН И ЕГО ДИАПАЗОН

(Виктор Шкловский)

Весь размах его неведом —
может быть в лице едином
он литературоведом,
сценаристом и акыном.

БЕЛЬЕ НА ВЕРЕВКЕ

(Степан Щипачев)

Все сердцу любо. Все ласкает взор.
Я на простор хочу, я выхожу во двор.
Вот воробей чирикнул.
Сколько в нем сноровки!

Вот сушится соседское бельишко на веревке.
Подумать только: грязь на нем была!
А вот отмылось же бельишко добела.
Каким оно мне кажется приветливым и
милым!

Как замечательно, что есть торговля мылом!

**ИЗ КОЛЛЕКТИВНОГО ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ К ИЛЬЕ ЭРЕНБУРГУ**

У Вас так явственны, так велики заслуги
и так, по существу, малы грехи,
что мы прощаем все Вам, даже на досуге
написанные Вами же стихи.
Да что корить! Давным-давно
мы их забыли все равно.

ВОЛОГОДСКАЯ РАПСОДИЯ

(Александр Яшин)

Ох, люблю я до сих пор
вологодский темный бор!
Уж как лапти я обую,
да возьму с собой топор.
Да пойду, да посижу
под сосной высокою,
посижу да погляжу,
подивлюсь, поокаю.
В темном нашенском бору
много всякой всячины.
Дуб лопочет не к добру,
сучья раскорячены.
Шебуршит в ответ осина,
на ветру качается.
Дуба, сукиного сына,
присушить пытается.
Да не тот, видать, дубок;
он куда-то смотрит вбок,
не пужна ему осина,
а нужна ему рябина.
Я сижу на пие часами,
обжигает тело зуд —
муравьи меня кусают,
комары меня грызут.
Но сижу я не напрасно,
я про Вологду пою.
До чего ж у нас прекрасно
в нашем-нашенском краю!
Ох, люблю его, холеру,
вот уж это край дак край!..
Дайте мне в Москве квартиру,
я поеду на Алтай.

ИРОНИЧЕСКАЯ СМЕСЬ

ДИАГНОЗ

У вас, товарищ, не мигрень
и не склероз подлобье точит —
у вас огромной силы лень
мозги свихнула набекрень,
а завихнуть назад не хочет.

НЕТАМОРФОЗА

(Вокруг наследия Маяковского)

Сей дядя очень странных правил:
пока поэт существовал,
поэта дядя псюду хаял,
теперь он хриплет от похвал.

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

— Здравствуй, Толстый!
— Здравствуй, Тонкий!
Что-то ты, брат, исхудал!
— Но зато как пятитонка
ты, сказать по правде, стал!
— Как делишки?
— Критикую.

И втихую и вслепую
мажу, гажу, протестую,
обхожусь без сладких слов!

Ну, а ты как?

— Лакирую.

Услаждаю, угождаю,
ублажаю, лью елей
и поэтому не знаю
никаких невзгод, ей-ей!

Я, окинув две фигуры
взглядом, с должной полнотой
сделал, так сказать, с натуры
вывод ясный и простой:
независимо от вида
(худобы или толщины)
оба данных индивида
одинаково вредны.

ОДИН ЗНАКОМЫЙ

Со всеми ласков, и уступчив,
и одинаково хорош,
он или сделан из резины,
или из воска — не поймешь.
Ему удобно жить на свете
с полупемой, с получужой,
с предусмотрительно нейтральной,
в желудок втянутой душой.
Вам, вероятно, с ним терпимо,
а мне, признаться, тошно с ним.
Я лучше буду в дружбе с рыжим,
чем с розовато-голубым.
Он не умеет и не может
ни ненавидеть, ни любить.
Он настоящим человеком
решил казаться, а не быть.

КРИТИКУ, ПИШУЩЕМУ СТИХИ

Как критик, ты не так уж плох.
Чем быть посредственным поэтом,—
лови чужих словесных блох,
па этом деле, видит бог,
легко прослыть авторитетом.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЭПИГОНОВ

Всё мы можем, всё мы смеем,
а на самом деле мы —
помесь Фофанова с Меем,
хина с привкусом хурмы.

СЧАСТЛИВЧИК

Писать — не может. Но легко
живет в ладу с большой зарплатой.
До Ферапонта далеко,
а все же парень головатый.

АГАСФЕР

Его уже не хвалят, не ругают,
не совестят, не учат, не клянут,
не поднимают и не опускают,
а только

не —

ре —

на —

да —

ют.

БЕДНАЯ ЛИЗА

Бедная Лиза
по просьбе Музгиза
стряпала тексты для джаза.
И добрые дяди,
на тексты не глядя,
брали их все без отказа.
И Лизины грезы,
как в мае стрекозы,
стойкой вспорхнули крылатой.
И бедная Лиза
по воле Музгиза
Лизою стала богатой.

МУ - МУ

Вокруг него бушует жизни море:
и гром, и смех, и ветер за кормой.
А он весь день торчит в литкоридоре,
как некий заводной глухонемой.
Пойдет в буфет, потом придет обратно.
Собрание в зале — он сидит молчит,
а если что и скажет, то невнятно,
тоскливо, равнодушно промывает.
Не будучи особым забиякой,
его я что-то, братцы, не пойму...
Не будем называть его собакой,
достаточно его назвать Му-Му.

КУДА ДУЕТ ВЕТЕР

Как снеговой, холодный ветровой
сто раз на дню меняет направление,
так и сосед мой, критик Тимофей,
не покраснев, меняет точку зренья.
С трубою рядом на моем дому
поставлен флюгер, сделанный из жести...
Зачем ему вертеться одному?
Вертелся бы с моим соседом вместе.

ПРИЗНАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

В оригинале очень свеж сюжет,
а вот подстрочник портит настроение.
А впрочем, это не влияет на бюджет
и не нарушит мне пищеваренья.

СОВЕТ ОПЫТНОГО ВРАЧА

Пришел к врачу один поэт.
И говорит:— Спасенья нет!
Какой был крепкий организм,
и вот, представьте,— ревматизм!
Коленка так порой болит
что я хожу, как инвалид...

Подумал врач и молвил строго:
— Все обойдется, дорогой,
но не работайте так много
одною левою ногой.

СТРОГИЙ СУДЬЯ

Ладонью желтенькой тряся,
он отрицает всех и вся.
Слюна летит, как из бадьи,
из оголтелого судьи.

— Уж я-то знаю! Влжу я! —
кричит разгневанный судья. —
Да разве это пьеса? Хлам!
И автор пьесы — плут и хам!
Да разве это есть портрет?!
Мазня! Типичный винегрет!
Да разве это есть стихи?!
Они решительно плохи!

Тот — эклектичен, этот — сух,
тот — старомодеи, тот — негоден,
тот — не художник, а пастух! —
...Он всех чернит, грызет и гложет.
И все лишь только оттого,
что сам судья давно не может
другого делать ничего.

ТВОРЧЕСКОЕ ЛИЦО НЕКОТОРЫХ АВТОРОВ НЕКОТОРЫХ ПЕСЕН

Я вас, верно, не обижу,
если так о вас скажу:
ловкость рук прекрасно вижу,
а лицо не разгляжу.

ЗНАТОК

Он уважает Ренессанс
и обожает декаданс,
в стихах стоит за ассонанс,
в эстрадных песнях — за романс.
Но ассонансу и романсу,
а вместе с ними Ренессансу
предпочитает он аванс.

СТОИК

(Довольно-таки распространенный вид критика)

Года в бесславии тяжки!
Сначала он писал стишки,
но был поэт не столь прославлен,
сколь посрамлен и обезглавлен.
Тогда он написал роман.
Но это просто был обман:
роман сто лет лежал в продаже —
никто не брал со скидкой даже.
Тогда он поступил в Огиз,
затем в Музгиз и в Изогиз,
с трудом держась на каждом месте.
Теперь он критик. Берегись
его подвижнической мести!

НОВАТОР

Есть у меня знакомый музыкант,
все говорят, что у него талант.
Он сочинил симфонию-поэму,
назвав ее «Друзья, прошу к столу!»,
где разрешил лирическую тему
по-новому — железом по стеклу.

ПЗ БЫТА ПЕРЕВОДЧИКОВ

На чистый глядя небосвод,
он тронул друга за манашку:
— Ну, как твой новый перевод?
— В порядке! Послан на сберкнижку.

СОВЕТ ДОЦЕНТУ И. НЕЧАЕВУ

*(Автору путаной статьи «Пушкин в
оценке Мериме»)*

Не смысла в Пушкине ни бе ни ме,
не сваливай вину на Мериме.

ТЕОРЕТИК ТОНКИХ ЭТИК

Он тихий теоретик, так сказать,
свою концепцию выкладывает чисто:
всего Тургенева он может променять
на заграничный выверт модерниста.
Он ходит с гордым видом тусака,
надутый затхлым духом фанфаронства.
На всех вокруг он смотрит свысока,
вытягиваясь вдруг из пиджака,
чтоб вновь падеть хомут низкопоклонства.

ПОСТОЯНСТВО

Сирень цветет,
не плачь — придет,
согнет дугой,
уйдет к другой.

ПОСТОЛЬКУ ПОСКОЛЬКУ

Две стороны на шумной сходке
принципиальный спор ведут.

А он маячит посередке:
мол, я не там и я не тут.

Мол, что вы в самом деле, братцы;
ужель без принципа пельзя?!
Не проще ль вам облобызаться,
отбросив принципы, друзья?

Смиранный гусь как бы в траншее,
а между тем несет урон:
ему в сердцах по длинной шее
дают обычно с двух сторон.

НЕУНЫВАЮЩИЙ НАЧИНАЮЩИЙ

Дитя, создав три побрякушки,
попало в творческий союз.

И у литфондовской кормушки
с тех пор дитя не дует в ус.

ЛЮБИТЕЛЮ ПОСПАТЬ

Почти утратив в голосе металл,
он мне сказал с оттенком мелкой местн:
— Откуда, друг, ты вдруг известным стал?
Ведь мы когда-то пачинали вместе?..

Я дал ответ на заданный вопрос:
— Брось козырять слепой своей обидой.
Пока ты спал, я бодрствовал и рос.
Завидуешь? И правильно: завидуй!



ФЕЛЬЕТОНЫ

ДУБИНА И СИРОП

Вы не знаете Антипа?
Должен вам сказать, друзья,
что не знать такого типа
просто-напросто нельзя.
Он, конечно, не являсь
и в пауках не силен,
но повсюду, к сожалению,
как комар, распространен.
Где он зрел?

Откуда вытек?
Не берусь ответить я.
Он по всем приметам критик,
так сказать, мастак судья.
Судит-рядит он мгновенно
и при свете и впотьмах,
по всегда обыкновенно
всегда в двух тонах:
применяя стиль единый,
то букет песет,

то гроб,
либо действует дубиной,
либо густо льет сироп.
Он живучий, и бывалый,
и довольно прочный лбом,
и встречается, пожалуй,
в начинании лобом.
Скажем, вылепил ваятель
бюст героя-кузнеца.
Как «пенитель-открыватель»,
наш Антип уж у крыльца.

Нос — по ветру, руки — в брюки,
оттопырена губа.

(Как он важен, жрец науки,
в виде грозного гриба!!)

Недоверчивый обычно
и надутый, как всегда,
он загадочно-критично
для начала тянет: «М-да-а-а!»

А потом берет дубину
и, держа за черенок,
валит скульптора на глину,
выбив почву из-под ног.
Почему? По той причине,
что под грешною звездой
ходит скульптор в малом чине,
и к тому же молодой.

Справедливости не видно,
мастера удивлены,
но зато вполне солидно,
коль глядеть со стороны!
Сочинил поэт, к примеру,
очень длинный серый стих.
Очарованный не в меру,
многословный за троих,
бухнет враз Антип в колоду
меда пуд и пуд халвы
и обдаст поэта с ходу
сладкой смесью похвалы.

Почему?

Не надо прений —
стихотворец вял и сер,
но по чину — сущий гений,
без пяти минут

Гомер.

Он своим стишком сорочьим
настроил, как чародей,
в звонких рифмах, между прочим,
гимн «Рождение гвоздей».

Ни повестка,

ни поэма,

ни приказ,

ни мадригал.

Но зато
какая тема
и железный матерьял!

Так живет болтун-цепитель,
с давних пор уже не нов,
заунывный расточитель
неизменных двух топов:
применяя стпль единый,
то букет несет,

то гроб,
либо
действует дубиной,
либо
густо льет сироп.

Вы припомнилп Антипа?
Должен вам сказать, друзья,
что терпеть такого типа
просто-напросто нельзя.

А Н О Н И М - К Л Е В Е Т Н И К

Как известно, у анонима
нет ни имени, ни лица:
может он —

серый волк без грима,
может —

стриженная овца.
Может — белый,

а может — рыжий,
может —

черный как смоль брюнет...
Впрочем, масть ни при чем.

Бесстыжий! —
Вот его подлинный точный цвет.

Как известно,
у анонима,
да к тому же

клеветника,
служит жало неутомимо
вместо сердца и языка.
Щуря подлые щелки-глазки,
лезет к людям он вдоль стены
с пелым коробом черной краски
и погатым ведром слюны.
В светлой, школе,

в семье,
на службе

бродит, вкрадчивый, в тишине
и мешает труду и дружбе,
портит кровь и тебе и мне.
И заморским врагам в угоду,
не раскаяваясь ничуть,
лучших чувств ключевую воду
превращает в сплошную муть.
Почему,

как оса, вонзаясь,
жалит всех он

исподтишка?
Потому что сильна в нем зависть
и заметно топка кишка.

Чем обижен он?

Кем ударен?

Почему он брюзжит весь день?

Потому что он сам бездарен

и бесплоден, как жухлый пенек.

Ходит-бродит из здания в здание

для гнилая по естеству,

лжепотрясенный по призванию

и преступник — по существу.

Так давайте ж, друзья, не будем

верить каверзному слуху.

Слава честным,

открытым людям

и презренье клеветнику!

ЗАНЯТОЙ БЕЗДЕЛЬНИК

Всю неделю, день за днем,
он кричит, как кочет,
заводным горит огнем,
кипятком клокочет.
Блещет гребнем, бьет крылом,
осыпает перья,
призывает «взять подъем»,
«обеспечить перелом»,
«оправдать доверье».
Слов во рту — невпроворот,
глохнут перепонки.
Рот не рот, а дымоход,
только без заслонки.
Ночь не спит наш грамотей
в суете припычной,
но не знает он людей,
тех, которых, ей-же-ей,
надо знать отлично.
В воскресенье отдохнет,
а уж в понедельник
снова «действовать» начнет
занятой бездельник.
Белкой кружится кругом —
лезет вон из кожи,
но, увы, на перелом
что-то не похоже.
Хоть сидит он на возу,
так сказать, высоком,
да не видит, что внизу
у него под боком.
От забот гудит земля,
но хоть шуму много,
дальше круглого ноля
не видать итога.

ЦИТАТЧИК

Митрофану Лукичу
все задачи по плечу.
Оп, постигнувший истмата
категорий мудрых круг,
посит звание кандидата
исторических наук.
Оп ученый журналист,
массовик-пропагандист.
Он на редкость шустро пишет,
за листом изводит лист.
Поступая бойко так,
он строчит про Рим и Шую
и кладет статью большую
на редакторский верстак.
С виду рукопись богата,
а копнешь ее до дна —
тут цитата,

здесь цитата,
и еще воп там одна.
И бредут рядком, скучая,
от тире до запятой
Чернышевский,

Докучаев,
В. Ключевский
плюс Толстой.

Митрофану Лукичу
все задачи по плечу.
В тишине аудиторий
излагает оп с листа
философских категорий
знаменитые места.
Любо-дорого послушать,
как, заманчиво журча,
прямо в уши,
прямо в души
льются трели Лукпча.
Речь научпа, и крылата,
и прозрача вся до дна —

тут цитата,
здесь цитата,
и еще вон там одна.

Митрофану Лукичу
все задачи по плечу.
Выбрав место наудачу
в молодом березняке,
он такую сгрозил дачу
от реки невдалеке,
что стоит она, родная,
белым камнем и резьбой
не шутя напоминая
ледяной дворец собой.
Слева — папши,

справа — роща.

И под шепот ветерка,
задыхаясь, хвалит теща
просвещенного зятя.
Не поверит тетя Настя,
взор на зятя обратив,
что ее земное счастье
строит целый коллектив,
что на дачников-хозяев
сыплют дождик золотой
Чернышевский,

Докучаев,

В. Ключевский
плюс Толстой.

Митрофану Лукичу
все задачи по плечу.
Гордым званьем кандидата
мощь его утверждена.
Тут цитата,

здесь цитата,

и еще вон там одна.
Но зачем грешить, не скроем:
трудно, бедному, ему,
жуть берет, когда порою
надо думать самому.
Как-то раз его спросили:
— А скажи-ка, Митрофан,

на какой основан силе
новый пятилетний план? —
Скажем прямо, откровенно:
поперхнулся кандидат,
но нашелся и мгновенно
двинул в дело вдохновенно
вихрь спасительных цитат.
И при всем честном народе,
глядя грозно со стены,
утомленные в походе,
бородаты и бледны,
головами покачали
изнуренной чередой
Чернышевский,

Докучаев,

В. Ключевский

плюс Толстой.

Посочувствуем собрату!
Как похож он, наш Лукич,
на истертую цитату —
хоть кавычь, хоть раскавычь.

ЯЗЫК АННЫ ПАВЛОВНЫ

Анна Павловна не знает,
что такое лень.
Анна Павловна болтает
целый божий день.

Вся иссохла, исхудала,
даже впал живот.
От скапдала до скандала
только и живет.

Вся костлявая, как мощи,
нет ее худей.
Но язык у дамы тощей
без костей.

Как увидел я воочию
рядом даму ту,—
с той поры и днем и ночью
что одну мечту:

вот бы взять за серыги-ушки
даму-карусель
да энергично болтушки
всю направить в дель.

С кочки-точки даму сдвинуть
да в погожий день
на движок-язык пакинуть
приводной ремень.

Вот бы было! Вот бы кабы!
Ведь паверняка
много пользы принесла бы
сила языка.

Что он мог бы делать? Много!
Дел не перечесть:
травостой косить у лога,
штопать, гладить, мечь,

лес рубить, пиле вдогонку,
чистить птичью клеть,
глину мять, дробить щебенку,
жернова вертеть.

СТИХОТВОРЕНИЕ
СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

Мечтать о Вас, бродить за Вами,
писать Вам письма столько лет,
встречать Вас нежными словами,
внезапно доставать билет,
чтоб ехать к Вам, чтоб только рядом
побывать вдвоем (в который раз!),
в который раз влюбленным взглядом
глядеть в безмолвие на Вас,
стихом,

улыбкой,

песней,

ссорой

заверить Вас в любви своей,
назначить день женитьбы скорой,
созвать на шумный пир друзей,
разлить вино по звонким чашам,
упрямо стать супругом Вашим,
узнать Вас близко, ужаснуться,
уйти и больше не перепутаться.

ВАКАНТНОЕ МЕСТО
(Шутка)

Так в ненастные дни
Занимались они
Делом.

А. С. Пушкин

Здесь стоял пьедестал,
а на оном стоял
гепий.
Наше солнце и друг.
(Тут не может быть двух
мнепий.)
Москвичам не в укор
он на новый простор
вышел.
И, народом храним,
встал еще перед ним
выше.
Но теперь в полный рост
встал насущный вопрос:
кто же
место славы опять
с полным правом занять
может?!

Хоть к гадалке ступай,
хоть от страха листай
святцы:
кто достоин из нас
заселить сей Парнас,
братцы?
Щипачев? Грибачев?
Смеляков? Михалков?
Или
ныне Яшины А.,
раздобрев от пшена,
в спле?
Может, Симонов-брат?
Впрочем он, говорят,
занят.

Может, песь ССП
на зеленой тропе
встанет?
Может, запросто тут
встанет Литинститут
в бденье?
Ведь средь этой семьи
есть, представьте, свои
гении.
Может, встанет здесь тот?
Может, тут подойдет
этот?
У него все же свой,
весь заросший травой,
метод.
Правда, сам он погас,
у него не Пегас —
кляча.
Но зато, знаю я,
у него есть своя
дача...
У кого — сад с луной,
у кого — вороной
«оппель»...
Бросим глупую спесь,
лучше высадим здесь
тополь.

МАРШ ПЕСЕННИКОВ-ТЕКСТОВИКОВ

Ура! Мы ломим. Гнется Шведов (Яков).

Мы не поэты, не писатели,
нам это дело не с руки,
мы в целом даже не читатели,
мы толкачи-текстовики.
На черта нам находки свежие!
Хорей-пырей, кювет-сопел,
клавир-пломбир, суфле-сольфеджио,
четыре с боку — ваших нет!
Нам не нужны эти... эпитеты
и эти... как их... образы.
Мы производим текст копытами,
добра хватает за глаза.
Ведь как-никак почти безмолвствуют
и Исаковский и Светлов,
а композиторы проворствуют
и задыхаются без слов.
Вот и живем мы припеваючи,
безбедно,
лихо,
мирово.
Вчера, сегодня, завтра, давеча —
до-си-ля-соль-фа-ми-ре-до!

ДЯДЯ ИК

Ик-то Ик, а вот вначале
сам собой вопрос возник:
почему же вдруг прозвали
дядю Валю дядей Ик?
Сам собой ответ дается:
потому что потому,
потому что не живется,
а икается ему.
Правда-правда, в самом деле:
дядя Ик паш (без прикрас!)
скажет фразу еле-еле,
а икнет десяток раз.
Жуть берет, на Ика глядя.
Что с ним? Может, угорел?
Нет, не это. Это дядя
называется «дозрел».
Перебрал. Перестарался.
Через меру. Через край.
Так сказать, проспиртовался,
хоть бери и зажигай!
Стыд глядеть на Ика рыло:
весь фасад заколоны,
рыло дядино покрыла
ржавым ворсом волосня.
Не огонь в глазах, а тина,
крепко слиплись кромки век.
Дядя вроде не скотина,
но уже не человек.
Вывод жесткий, но бесспорный
(всё за это говорит!):
и пейзаж, и стиль, и вид,
и отборно-подзаборный,
свекловично-помидорный,
баклажанный колорит.
— Слушай, дядя, что с тобою?
Почему ты так попик?
— Эт-т-то, б-рат-тцы, с пе-ре-и-и-ою... —
отвечает дядя Ик.

ВАНЯ, МАНЯ И ДИПЛОМ

1

Нравился Ваня Мане
больше других парней.
Словно герой в романе,
он трепетал при ней.
В ласковом факте этом
определенно был,
как говорят поэты,
явный

взаимный пыл.

Ваня
тянулся к Мане,
Маню
к нему влекло.
Ясен был курс заранее:
дело к женитьбе шло.

2

Но Манины
папа с мамой,
бдительностью горя,
вкрадчиво и упрямо
Мане шептали: «Зря!
Пудра не пара саже!
Ваня твой пуст, как жмых!
У него нет диплома даже,
какой он тебе жених!»
Множились назиданья
чем далее, тем лютей.
И прервались свиданья
двух молодых людей.

И что же?

Представьте,
Маля

не умерла с тоски,
стала еще румяней
на обе свои щеки.
Всплакнула, конечно, малость
тихой порой ночной,
но наотрез отказалась
Ваниной стать женой.
Родительские советы
восприняла сполна.
Как говорят поэты,
пламень

иссяк

до дна.

А Валя?

Он сник от горя.
Не верил никак сперва,
но, убедившись, вскоре
понял: прощай, Москва!
«Ладно,— сказал,— посмотри!»
И в горький осенний день
двинул на новостройку
слесарем под Тюмень.
В заболоть.

В темь чащобы.
В глушь, где медвежий след...

Расстался с Москвой, но учебу
не бросил, представьте, нет!
Наоборот —

сверхточный
завел распорядок дел.

И через год заочно
пятый курс одолел.
Как?

А вот так — упорно,
вверх норовя, не вниз,
мысли берег, как зерна,
формулы белкой грыз.
Действовал любо-мило,
так

проникал в урок,
будто само зубило
пло по железу впрок.
Ребята, случалось, сладко
спят в общежитье, а он
в книжки свои, в тетрадки
по уши погружен.
И вывез.

По всем предметам.
Очным иным в пример,
как говорят поэты,
ласточкой взял барьер.
Ничто его не сломило:
ни стужа,
ни зной,
ни гнус.

Хоть тяжело все это было,
но минус на минус — плюс.

6

И вот появился Ваня
снова в родной Москве.
Красный диплом в кармане,
царь-государь в голове.
Около Моссовета
топает

налегке,
как говорят поэты,
с музыкой в каблучке.
И надо ж!

Хоть плачь, хоть смейся,
хоть с ходу не верь глазам:
движется встречным рейсом

Манип папаша сам.
— Ванечка, здравствуй!
— Здрасьте!
— Как дела?
— Хороши!
— Рад тебя, друг глазастый,
видеть от всей души!
— Это известней вам уж!
— Где ж ты пропал, карась?
— А Маня... Не вышла замуж?
— Выпла... Да развелась.
Зашел бы ты к нам к обеду...
Куда ты,
дружок, стой!..

7

«Дружок» оборвал беседу,
«Дружок» не зашел к обеду
и... до сих пор холостой.

НЕ УЖЕ ЛИ?..

Речка Сетунь,
ты не сетуй,
что тебя я не воспел.
Просто в бурной жизни атой
закружился, не успел.
А бывало, жарким летом
поперек и в долину
я саженьками с рассветом
мерил стрележь-быстрину.
Иль на лодке плыл — известно! —
под луной по глубине.
И двоим хватало места
на одной корме вполне.
От росы чуть-чуть знобило,
от луны зато пекло.
Впрочем, мало ли что было,
было, друг, да утекло.
В ряд под ивами, бывало,
восседали рыбаки,
и — не много и не мало —
рыбой полнили садки.
И вдоль радостного ряда
говорок шел с похвальбой...
Речка Сетунь,
речка-лада,
где ж твой колер голубой?
Помню я тебя счастливой,
притягательной, живой,
светлой, свежей, говорливой,
окантованной листвою.
А теперь пришел на берег —
не могу найти слова...
Тут не то что рыщет жерех,
или плещется плотва,
или малые хотя бы
ходят стайками мальки, —
где там рыбы!

Даже жабы

ускакали от реки.
Даже галки и вороны
оглядают стороной
в целях самообороны
замутненный вал речной.
Пахнет прелью, тянет гнилью,
катит злую муть вреда,
сплошь ржавая от бессилья,
омертвевшая вода.
Вся полна какой-то рванью
(рвань плывет, по дну скользя)
и еще какой-то дряпью,
что и вслух назвать нельзя.
Возле отмели в овражке —
как на кладбище, ей-ей,
ни гвоздички, ни ромашки,
лишь крапива да репей.
Окруженный полутьмою,
я вблизи реки стою
и гляжу с тоской немой
на зловонную струю.
И берет меня обида,
и досада жжет и злость:
от какого индивида
это свистово развелось?
Неужели все отходы
надо сбрасывать сюда,
в эти утренние воды,
без тревоги и стыда?
Неужели нет управы
на спеца-поставщика
омертвляющей отравы
для живого родника?
Неужели не случится,
чтобы он, как таковой,
в эту рыжую водицу
окунулся с головой?!



ИЗ САБИРА

ДОВОЛЬНО УЧИТЬСЯ!

Не знаю, не знаю, скажу по секрету,
в чем сын мой нашел идеал,
что начал журналы читать да газеты,—
бедняга совсем исхудал.

Пуды писанины без усталости гложет.
Бубнит про себя. Вот те па!
Быть может, больному молитва поможет?
Как быть, посоветуй, жена!

Будь проклята, ведьма! Ведь это тобою
затащена ересь в наш дом.
От вечного чтения нету отбою,
нет спасу ни ночью, ни днем.

Пусть допнут глаза твои, злая лисица!
Пусть стыд тебя мучит везде!
Да разве родимая мать согласится
привадить ребенка к беде?!

Ты, хитрая баба, меня лаучила
малютку учиться отдать.
Тетрадки да книжки! Перо да черпила!
И это придумала мать!

Чего же молчишь ты, нечистая сила?
Слышь, паренё-то спятил с ума.
Ты светлые мысли его погасила,
поблек человек задарма!

Скажи лучше, как привести его в чувство,
к какому податься врачу?
А эти пауки его и искусство
не знал я и знать не хочу!

Ему кулаки бы да локти пройдохи,
чтоб действовал так же, как я!
Чтоб стало завидным Рустамом эпохи¹
мое дорогое дитя!

Молитвой, зубами, пожом, пистолетом,
как ангел святой иль как волк,
храбрец добывает богатство, и в этом
есть высшая мудрость и толк.

А ты мне испортила славного сына,
о женщина с ядом в крови,
был парефь как парефь, а стал как дубина,
хоть смейся над ним, хоть реви!

Ах, сын мой! Ты сбился с дороги в тумане,
песлыханпый сделал просчет:
разбойничий фарт тебя вовсе не мавит,
наука-гадюка влечет.

Сынок, свет очей моих, милое чадо!
Встряхнись на горячем коне,
пойми паконец, что одуматься надо,
доставь наслаждение мне!

Довольно учиться! Полжизни, наверно,
и так бесполезно прошло.
Забудь, дорогой, эту книжную скверну,
отбрось окаянное зло.

Пусть станешь ты физиком или поэтом,
науки познаешь сполна,
не будет удачи тебе в мире этом,
не те на земле времена.

¹ Рустам — один из главных персонажей «Шах-наме» Фирдоуси, олицетворение физической силы, мужества и ловкости.

Нет, нет, вижу, спорить с тобою напрасно,
отец для тебя не отец.
Так к черту тогда тебя, прод несчастный,
ты не был мне сыном, глупец!

Читай, бурчи, что за вопрос!
Печаль — ни зги кругом.
И станет век твой с гулькин нос,
а белый свет врагом.

1906

БАКИНСКИЙ КОЧИ

Меня тошнит, когда я вижу твою развязаную походку,
меня знобит, когда я слышу твои похабства

терзает жуть, когда я вижу патронов ряд, витую плетку, колотит дрожь, когда я вижу кивжал, похожий

на селедку,
и пистолет когда я вижу, готовый выпалить в охотку.

Лишь не пойму, когда я вижу слюну вращая
по подбородку,

что ты хлестал с утра в духапе: хмельную брагу
или водку?

Ты богохульно удалился от предписания ислама.
Что ж, набекрень надень папаху и действуй злобно
и упрямо:

бей под ребро, когда увидишь едиповерца возле храма,
тащи туда, где примет жертву тобою вырытая яма,
гарпуй, красуйся, хорохорься по всем статьям плута
и хама.

Бесцвинствуй, пьянствуй днем и ночью, кути, гуляй,
но на мгновенье
закрой глаза, когда увидишь несчастный дом свой
в запустенье.

Купайся в сраме непотребства, в крапиве спи
и под сиренью,
во не стыдись, когда увидишь своих детей
в оцепененье.

Разнарядись, когда увидишь свою любовь из заведенья,
сжпгай рубли с пей наживные, как просмоленные поленья.

но зарычи, когда увидишь свою жену в изнеможенье,
от горя ставшую давненько своею собственною тенью.
Смейся, хвастай, чтоб ни стало,
продувной гуляка.

¹ Кочы — дореволюционный прототип современных гангстеров, бандиты в старом Баку. Часто дарская полиция прибегала к их услугам в своих действиях против рабочих и революционеров.

Но возьмет за глотку старость
и тебя, однако.
Как гнилой, седой обабок,
схватит. Вот тогда-то
ты поймешь, хватаясь за бок,
что пришла расплата.

1906

БАКНИНСКИМ РАБОЧИМ

Колесо свое упрямо катит вспять судьба теперы!
И рабочий изгоняет из себя раба теперы!

Но нельзя позволить, чтобы рядовой рабочий стал
в жарком споре с богатеem смелым, твердым,
чтобы вольно и открыто полной грудью задышал
и хозяина-владыку вдруг бояться перестал!

Колесо свое упрямо катит вспять судьба теперы!
И рабочий изгоняет из себя раба теперы!

Эй, рабочий! Неужели ты почтенье заслужил?
Неужели размышлять ты о своем пути решил?
Брось, любезный, эти штучки! Не жалей горба и сил!
И служи богатым с миром, как до сей поры служил.

Колесо свое упрямо катит вспять судьба теперы!
И рабочий изгоняет из себя раба теперы!

Не сплошай, богатый! Слышишь, ни на шаг назад, ни-ни.
Если даже прав рабочий, ты свою неправду гни!
Пусть бедняк на толстосума ночи трудится и дни,
как положено трудиться оборванцу искони.

Колесо свое упрямо катит вспять судьба теперы!
И рабочий изгоняет из себя раба теперы!

Ум рабочему не свойствен, и талапт ему не дан,
ходит он босым по свету, жалок, голоден и рван.
Ни абы¹, ни шали нету, череп пуст, и пуст карман,
лишь чоха² бедняк имеет да единственный кафтан.

Колесо свое упрямо катит вспять судьба теперы!
И рабочий изгоняет из себя раба теперы!

¹ Аба — шерстяная накидка, носилась поверх одежды.

² Чоха — рабочая куртка.

Если хочешь быть спокойным ты в своем родном краю,
не тужить, а жить богато и привольно, как в раю,
действуй запросто, согласно своему календарю,
относись всегда к рабочим, как к скотине и зверью.

Колесо свое упрямо катит вспять судьба теперь!
И рабочий изгоняет из себя раба теперь!

Если ты увидишь горе — устраняйся за версту,
не спеши вдову утешить, приголубить сироту.
Да еще смотри не вздумай, согревая бедноту,
провести по кругу жизни вместо зла добра черту.

Колесо свое упрямо катит вспять судьба теперь!
И рабочий изгоняет из себя раба теперь!

1906

УСНИ, ХОХЛАТКА!

Усни, хохлатка! Пусть тебе приснится сытный сон.
Вон ястреб кружит. Убегай, пока не спал он.

Оставь насиженный насест и двор покинь скорей,
пока хозяин свой кинжал не вынул из ножен.

На сковородке, погляди, яичница шкварчит,—
то слабый писк твоих дылят, предсмертный плач
и стон.

Как зангезурец¹, не вопи: «Хлеб! Хлеб! Я голодна!»
Смотри, как хлебом бек и хап торгуют без препон.

Не доверяйся болтунам, что о себе кричат,
взгляни, как пятится назад их храбрый батальон.

Какой бы он ни лил слей, не верь лгуну молле:
он изворотлив, как змея, и ядом напоен.

Чем видеть рожи богачей да вечно голодать,
ложись в могилу лучше, друг, иди к червям в полон.

С «интеллигентами», смотри, тягаться не посмей —
картежный раж шлеплет их да выпных рюмок звон.

Политиканства суета — вот глупая их суть,
бахвальства мутная вода — вот первый их закон!

1907

¹ Зангезурец — нарек на страшный голод в Зангезурском махале, происшедший в результате стихийного бедствия в 1906 г.

БЛАГОРОДНЫЙ НАПЕВ

Эй, чумазый, как ты втерся в наш имущий класс?!
Неужели в самом деле ты достоин нас?!
Только стоило нам смолкнуть, ты уж тут как тут.
Лезешь, дурень, прямо в залу, как наглец и плут!
Ты рабочий. Ты в опорки грязные обут.
Так не пробуй же тягаться с ханом, свинюпас!

Что за шум ты поднимаешь, что за чужь несешь!
Созерцать твои лохмотья просто невтерпеж!
О приличии повятыя пету ни на грош.
Не в папаше ли ты прлчешь золотой запас?!

Рожа в саже, руки — крюки, посмотри. каков!
А язык подвешен ловко — рассуждать здоров.
Кто привез и расселил их, этих бедняков?
Кто развел их, этих нищих, миру напоказ?

Было время, с поклоненьем к беку шел бедняк,
в три погребели сгибался, а не кос-как,
унижался, улыбался даже натошак.
Чуть покажешься, бывало, вскакивал тотчас.

Было время, да минуло, пытке жизнь не та:
осмелела, обнаглела всюду беднота.
Равноправье им подайте! Взъелись неспроста!
Спячка кончилась, выходит. Пялят бельма глаз!

Эй, фале! ¹ Ступай сочти-ка заработок свой,
со своей родней голодной на судьбу повой.
Разве можно выйти в люди с честной головой?
Жалок твой портрет, рабочий, в проффиль и анфас.

Верить? Ищешь человечность? Где ж твой сап
и чин?
Чести ждешь? Культуры жаждешь? Пышных пмелия?
Где ж твои ковры и шали, окромя овчин?
Где твои шальные деньги? Где ты их растряс?

¹ Фале — рабочий.

Говорпшь-то ты надменно! Где ж твой замок? Где?
Где любовницы-красотки? Соня, Аня где?
Где отрада опьянения? Звон бокалов где?
Где, скажи, игра в рулетку в поздний сладкий час?

Был бы ты в ладах с аллахом, он тебе бы дал,
как и всем богатым людям, ум и капитал.
Но ведь ты бедняк беспшанный! Постыдись, нахал!
Не пытайся быть культурным! Слишком ты чумаа!

Убирайся вон, рабочий! Сгинь, ничтожный, враз!
Не погань паскудным видом благородных, нас!

1907

НЕМЫСЛИМОЕ

— Не смей глядеть!
— Не смею, не гляжу.
— Молчи!
— Молчу, ни слова не скажу.
— Не слушай!
— Что ж, попробую и так.
— Не смейся!
— Смех могу зажать в кулак.
— Не думай!
— Стоп! Вот тут уж дудки! Нет!
На мысль, прости, не выдуман запрет!
Коль я живу в бушующем огне,—
я вместе с ним пылаю паравне.
Спокойно тлеть немислимо в пути,
и ты со мной бездарно не шути!

1907

НЕ Я ЛЬ ОРЕШЕК РАСКУСИЛ?

Ну, где твои надежды? Где? Ответь, наивное дитя.
Ведь ты, я помню, ликовал, в прогресс поверив не шутя.
Иль ты прозрел и различил поток высокого вранья?
Теперь признайся, погляди, не я ль орешек раскусил?

Не ты ль долбил, что ни один тебя не трогает недуг?
Не я ль на это возражал: «Тебя терзает алчность, друг?»
Не ты ль твердил в ответ свое и надувался, как индюк?
Вглянни на факты позади, не я ль орешек раскусил?

Не ты ль взалхлеб хвалил, мой друг, я вновь испеченный
энджумен¹
И утверждал, что Атабек² не осквернит священных стен?
Меж тем осталось все как встарь: меджлис без
всяких перемен?

Как ни суди, как ни ряди, не я ль орешек раскусил?

Не ты ли Думу возвышал, за благо благ приняв ее?
Не я ль тогда на этот счет сомненье выразил свое?
Ну как, бакинский депутат улучшил нам житье-бытье?
Ты зелен, друг, и глуп, поди! Не я ль орешек
раскусил?

Не ты ль молол, что Дума бдит и видит, в чем людей
нужда?

Не я ль сказал, что Дума нас не обогреет никогда?
А гром гремит, а град сечет. От стужи спрятаться куда?
Зуб на зуб, вишь, не попадет. Не я ль орешек
раскусил?

Кто о сплочении трубил, о дружбе плел сто раз на дню?
Кто, как не я, развеял в прах пустую эту болтовню?
На злобу тянет нас, на месть да на позорную реаню!
Туман разогнан впереди. Не я ль орешек раскусил?

1907

¹ Энджумен — государственный совет Ирана при Каджарской династии в Тегеране.

² Атабек Мирза Али Асгар-хан — тогдашний великий визирь Ирана при Мамед Али-шахе, изгнанным впоследствии из Ирана.

ВОТ ТЕБЕ И КУКАРЕКУ!

Показалось мне, что зреет зря.
«Кукаре-е-ку!» — запел я. А зря:
кто-то камнем мне дал по перу,
и я понял, что напрасно ору.
С той поры прозорливей стал я.
Чуть заввижу полет коршунья,
под прикрытье скорей норовлю,
«Я не бу-у-ду!» — пишу и молю.
О лишне ястреба в вышине,
не грозите расправою мне.
Ваша доля — парить над землей,
жить в пыли, во дворе — жребий мой.
Вы не хнычьте, цыплятки мои,
не парюшу я покоя семьи,
кукарекать погас во мне пыл,
значит, стал я умнее, чем был.

1907

Я — поэт

Призван я быть поэтом. Стих — честный голос мой.
Пишу о хорошей славе и о молве плохой.

День обложку лазурью, ночь покрываю тьмой,
кривое кривым рисую, прямое — строкой прямой.

Зачем же ты так таращишь, читатель, глаза, скажи?
Иль в зеркале ты увидел себя целиком во лжи?

Едва только я печально раскрою свою тетрадь,
перо, как смычок послушный, придвину за рукоять,
едва побегут чернила по белой бумаге — глядь,
ты цап-царап мою руку! Язык поровишь связать!

Странно! С дороги правды ведь я свернуть не спешу,
о том, что воочью видел, и четверти не пишу.

И четверти не пишу я о том, что кричит: «Пиши!»,
а ты меня хлещешь бранью от всей своей злой души.
Суди о себе по чести, не подличай, не грешни,
взгляни на свои поступки — чем они хороши?

Пойми свои недостатки, не злобствуй, других кляня,
и вместе с собою этим не огорчай меня.

Служители слова знают, каков твой живой портрет,
какою ты мерзкой жизнью живешь уже много лет.

Все знают писакки точно, но, ведая к правде след,
они и двадцатой доли про то не напишут, нет!

Они ведь себя считают, к небу воздев персты,
в тысячу раз превыше писменной суеты!

Как я даже четверть правды не пропускаю в стих,
так малой двадцатой доли ее не найдешь у них.

Вот если бы ты воскликнул: пиши, мол, чего затих! —
тогда б я тебя в натуре разделал без запятых.

Увидев себя без грима, ты б вздрогнул, уверен я,
и волосы встали б дыбом от ужаса у тебя!

1908

ЕЩЕ МАЛЫШ

Слушай, муж, оставь ребенка! Он еще у нас малыш!
Пусть сынишка сквернословит, он еще у нас малыш!
Прахом дедушки прошу я: дай ты малому покой!

Ну, ругнет он тетю, дядю, ну, шугнет разок-другой,
ну, пошлет тебя подальше... Эко дело, страх какой!
Ведь ему всего двенадцать... Он еще у нас малыш!
Пусть сынишка сквернословит, он еще у нас малыш!

Не учи, не мучь ребенка, кпйжку в нос ему не суй,
не склякай соседей сдуру, как последний обалдуй,
подари при всех дятти не щелчок, а поцелуй!
Он резвится, он играет, он еще у нас малыш!
Пусть сынишка сквернословит, он еще у нас малыш!

Ах, как люб мне муж соседки, ошастливленной Агджи!
Он сынка за ругань хвалит и ласкает от души,
даже льнет к нему с конфеткой: «Ну-ка, крошка,
обложки!»

Вот и нам бы так же с нашим. Он еще у нас малыш!
Пусть сынишка сквернословит, он еще у нас малыш!

Слушай, муж, не досаждай мне! Слово «школа»
не тверди!

Не кори мальчика за ругань, ставить в угол погоди,
лучше дай ему гостинец да прижми к своей груди.
И не лезь к нему с пепалом! Он еще у нас малыш!
Пусть сынишка сквернословит, он еще у нас малыш!

Мы же родом не богаты, чтоб сынка образовать.
Воп, взгляни, каков в натуре паш хваленый дылда зять.
Он зубрил, учился в школе, а чего нам с зятя взять?!
Нет, не дам учить малютку! Он еще у нас малыш!
Пусть сынишка сквернословит, он еще у нас малыш!

1908

ВОПРОС — ОТВЕТ

- Как город ваш? Растет? Мужает? Полон сил?
- Он тот же, видит бог, каким при Ное был.
- Пришлось ли для детей построить школу вам?
- Немало медресе построил сам Адам!
- Газеты есть у вас? Читают люди их?
- Читают дураки. Но я — не из таких!
- Открыта ли у вас читальня в парке днем?
- Открыта, но она давно стоит вверх дном!
- Призрел ли кто у вас отверженных людей?
- Аллах поможет им. Ему с небес видней!
- Несчастливым вдовам вы нашли к надежде путь?
- Выходят замуж пусть повторно как-нибудь!
- Ведут ли речь у вас о дружбе до конца?
- Ведут, но больше так... для красного словца.
- Шнит к сунниту злость копить в душе отвык!
- Что ты сказал?! Смотри... Я вырву твой язык!
- Вопросов больше нет. Я все узнать успел.
- И черт с тобой, иди! Мотай, покуда цел!

Взгляните на него, па этот жалкий вид!
Как шапку носят он! Как глухо говорит!

1908

ПАРОДИЯ НА ЛИРИКОВ

Твой лунный лоб пленил меня, тревожа и маня,
джейраньи страстные глаза твои полны огня.

И, как колодцы в знойный день, две ямки на щеках,
и губы — мед, и тело — лен, и брови — тетива.

И шея блещет, как графин, и стан с чинарой схож,
и с плеч спадает ливень кос, как за змеей змея.

И, как пшеничное зерно, веснушка у виска...
Ха-ха! Ты чучела смешней, красавица моя!

1909

В РОТ ВОДЫ НАБРАЛИ

Эпоха с нами говорит, а мы — как в рот воды набрали.
Грохочут пушки, гром гремит... Проснуться все же
не пора ли?
Другие садут в самолет и в облаках летят, как птицы.
А мы узрим автомобиль — и шасть в кусты
в священном страхе —
Давным-давно, давным-давно моллы нам солнце
заслонили,
и мы глядим на жизнь других сквозь полог тьмы
и сырость гнили.

1910

МАРШ УМНИКОВ

Любой из нас, считай, гусар-интеллигент:
девиз у нас один — не дрейфь, лови момент,
в неделю раз смени красотку в шелке лент!

Долой пустой закон гнилых семейных пут!

Мы — brave орлы! Дела у нас идут!

С невеждами дружить — один самообман.

Не надо женщины нам из круга мусульман!

На черта нам Фатма! Плевать на Тукезбан!

У нас на Аню глаз! У нас на Соню зуд!

Мы — brave орлы! Дела у нас идут!

Находятся глупцы, читают нам мораль,
но критиков таких, сказать по правде, жаль.

Одернуть темных их открыто не пора ль:

на что он сдался нам, ваш дряхлый глупый суд?!

Мы — brave орлы! Дела у нас идут!

Подумать только, им, неграмотным ханжам,
не важно, что мы все привыкли к кутежам,
что вместо верных жен неверных любим дам!

В укромном кабаке находим мы уют!

Мы — brave орлы! Дела у нас идут!

Высок наш интеллект, как луч на маяке!

Зазорно нам болтать на тюркском языке!

Он должен быть от нас, разумных, вдалеке.

По-тюркски говорить — для нас постыдный труд!

Мы — brave орлы! Дела у нас идут!

Пусть даже пользу мне порой несет она —
на тюркском языке газета не нужна.

Простой язык отцов! Какого в нем рожна?!

Пускай газета — там, а я — с бочкóу, вот тут.

Мы — brave орлы! Дела у нас идут!

Мы рады бы пригреть в своих сердцах ислам,
но с неучами как общаться, умным, нам?!

Забава — в клубе днем. Усилада — по ночам.

Начхать нам свысока на гомон пересуд!

Мы — brave орлы! Дела у нас идут!

НИЩИЙ

А ну-ка, бездомный босик, замолчи поскорей!
Не плачь, не стони, как сова! Отойди от дверей!

Действительно, мы собрались, чтобы справить помин,
да, верно, стол гнется от кушаний разных и вин.
Ажурному блюду под пару хрустальный графин.

Но ты-то при чем тут с поганой сумою своей?
Не плачь, не стони, как сова! Отойди от дверей!

Мы — люди имущие, любим кутить-пировать,
к нам в гости приходит одна именитая знать —
вольготная сытость, лалыжная жирная гладь,
отборная белая кость, благородная статья,
зады не обмерить, кули-животы не обнять.

Здесь розы да маки, а ты голодранец-репей!
Не плачь, не стони, как сова! Отойди от дверей!

Какое нам дело, что ты стоцал и оброс,
что дети твои собирают на свалке отброс,
и блеют, как овцы, и слепнут с рожденья от слез!

Ты мерзок нам, нищий! Протягивать руку не смей!
Не плачь, не стони, как сова! Отойди от дверей!

Зачем богачу вместо важных и гладких господ
задрипанных нищих одаривать благом щедрот!
Урод он и есть, как ему ни потворствуй, урод.

И незачем с каждым рваньем обходиться добрейше!
Не плачь, не стони, как сова! Отойди от дверей!

Запомни, голодная, нудная голь, навсегда:
по брюху краюха, по тонкому вкусу еда.
Чем ждать подаянья — ступай-ка в могилу, балда!

Отведай землицы, сырою водицей запей!
Не плачь, не стони, как сова! Отойди от дверей!

Богатому с бедным за общим столом не сидеть,
чай не гонять, не жевать калорийную снедь,
заплат не кроить, доморощенных вшей не иметь.

Отстань! Отвяжись! Не торчи! Не канючь!
Не глазей! Не плачь, как сова, не стопни! Отойди от дверей!

1910

ЗАДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР

— Как с новостями, мешади?

— Особых лет пока!

— А все ж?

— Газету нес Гаджи-Ахмед...

— Вот это да! А ты не врешь?

Ты это видел точно сам?

— Да нет, сосед мне голорил...

— Ах, согрешил Гаджи-Ахмед! Душа его в тумане
сплосил!

Коль так, проклятие ему! Шайтан в его башку проник!
Он греховодник! Ренегат! Вероотступник! Еретик!

— Еще какая новость есть?

— Вели, Гаджи Джафара сын,
сыншкуну в школу отдает...

— С ума сошел!

— Не он один!

— А кто тебе о том сказал?

— Забыл я кто... Но слух идет...

— Ах, осрамил себя Вели! Покрыв позором снег седли!

Коль так, проклятие ему! Шайтан в его башку проник!
Он греховодник! Ренегат! Вероотступник! Еретик!

— Еще какая новость есть?

— Насчет Гафара.

— Кто такой?

— Отец Мирзы Папах.

— Так!..

— Он с книжкой бродит день-деньской...

— Кто сообщал тебе о нем?

— Брат мужа тетеньки одной.

Коль так, проклятие ему! Шайтан в его башку проник!
Он греховодник! Ренегат! Вероотступник! Еретик!

— Какие слухи есть еще?

— Да говорят, сосед Керим...

— Что, опалел?

— Выходит, так.

— Давай теперь займемся им!

«Моллою Насреддином» он вконец забил себе мозги!
— Замаскированный гяур! За ним догляд необходим!
Коль так, проклятие ему! Шайтан в его башку проник!
Он греховодник! Ренегат! Вероотступник! Еретик!

— А мне известно, что Самед свой старый продал
магазин,
чтоб брата в университет отправить... Экий сукин сын!
— К тому же он завел зачес! Не бреет голову, нахал!
Ботинки на ноги надел, красу купеческих витрин!
Коль так, проклятие ему! Шайтан в его башку проник!
Он греховодник! Ренегат! Вероотступник! Еретик!

— Все говорят еще о том, что пожилой Ксбле-Ашур
о новой школе речь ведет, хваля ее, как балагур.

— Да, это правда, так и есть!

— Жаль состояние его!

Он стал добычей болтунов и богохульных разных дур!
Коль так, проклятие ему! Шайтан в его башку проник!
Он греховодник! Ренегат! Вероотступник! Еретик!

— Скажи мне, правда, что Бедал...

— О да! Наглец! Злословить стал!

Коран, и вместе с ним моллу, ко всем чертям на днях
послал!

— И разжирел, и одурел, и хрюкать начал, как кабан!
Сопит и ест, сопит и ест, как будто сроду не едал!
Коль так, проклятие ему! Шайтан в его башку проник!
Он греховодник! Ренегат! Вероотступник! Еретик!

— А этот сводник-зубоскал, Джаби, ослиная родня!
Он о пророке порет чужь и ложь разносит про меня!

— За эти сплетни кочергой я обозвал его жену!

— Ты благородно поступил, мое достоинство храня!
Теперь в покое не видать ему ни ночи и ни дня!

Я приглашу к себе народ
и буду сутки напролет
и день и ночь, и день и ночь
его, проклятого, толочь!



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ проявлений, вошедших в двухтомник

	Том	Стр.
Август	1	109
Агасфер	2	423
Апастасия (<i>Письмо ва океан</i>)	1	196
Андрею Вознесенскому, автору «Треугольной группы»	2	388
Анна Деписовна	1	263
Аноним-кловотник	2	433
Автошьяка	1	94
Атакующее сердце	2	155
Байкал	1	211
Бакинский кочи	2	455
Бакинским рабочим	2	457
Бас на кясе	2	404
Бедная Лиза	2	424
Белая береза	1	243
Белье на веревке	2	418
Белье на веревке	2	9
Благодарность	2	460
Благородный напев	1	222
Браво!	1	138
Братство	2	382
Бурбоны из Сорбонны	2	418
Бяка	2	394
В бегах	1	193
В Голливуде	1	86
В добрый час!	2	319
В защиту зеленого шара земного	1	150
В кругу иноплеменим	1	95
В лесу	1	191
В порту	1	160
В рабочем клубе	2	469
В рот воды набрали	1	84
В санатории горняков	2	442
Вакантное место (<i>Шутка</i>)	2	446
Ваня, Майя и диплом	2	383
Василию Ардаматскому, автору повести «Он сделал все, что мог»	1	26
Вдохновение (<i>Ночь на Мойке. 1836</i>)		

	Том	Стр.
Весна и победа	1	53
Вечная молодость	2	289
Власть песни	2	330
Возмездие	1	112
Во имя мечты	2	96
Вологодская рапсодия	2	420
Волчище нет покоя	1	158
Вой из Москвы!	2	389
Воочию	1	179
Вопрос-ответ	2	467
Воспитание	2	97
Вот как это было	1	135
Вот тебе и кукареку!	2	464
Вперед!	1	219
Время с правдой заодно	2	323
Все говорят...	1	258
Выдра	1	269
Высокая простота	2	206
Глубинка	1	119
Год войны	1	40
Голодная степь	1	253
Голуби	1	92
Голубь моего детства	1	20
Гондольер пост страданье	1	153
Готовый на подвиг	2	103
Граница	1	278
Гроб из Вьетнама	1	171
Два вопроса, два ответа	2	408
Два слова о двух томах от автора	1	16
«Двадцать три весны уже подогнано...»	1	19
Девичья ласковая (<i>Песня из кинофильма «Первый шмелон»</i>)	1	249
Девушка в красном	1	446
Деятнадцатый	1	127
Декларация эпигонов	2	423
День поэзии в Софии	1	136
Цепь рождения	1	131
Детская шутка	2	385
Диагноз	2	421
Диалог поневоле	1	181

	Том	Стр.
Довольно учиться!	2	452
Долгая дорога	2	114
Дом Поляны Винардо	1	166
До риза и после, или Мистика в три листика	2	391
Дорожная	1	238
Дубина и сироп	2	430
Дядя Ик	2	445
Дядя Степа	2	402
Единство разнообразия	2	202
Ему суждена слава	2	29
Если б ты была со мною	1	65
Если праг заварит кашу...	1	254
Еще малыш	2	466
Жалкий агитпроп	1	183
Ждем!	2	384
Жил любовью к России	2	129
За рулем	1	76
Заветные мысли поэта	2	332
Задумчивость	2	134
Задумчивый разговор	2	473
Заочно узнавший	2	293
Занятой бездельник	2	435
Запевала	2	396
Заря в конце дороги	2	69
За Уральской грядой	1	247
Здесь был Ильич	1	97
Землякам-сибирякам	1	38
Зизгаги	2	397
Зима	1	63
Знать	2	427
Знать	2	178
Зоркость	2	413
И так и этак	2	428
Из быта переводчиков	2	419
Из коллективного письма читателей к Илье Эренбургу	2	5
К читателю	2	414
Казачи с багром	1	140
Как с Прокофьевым купался...	1	146
Как я понимаю		

	Том	Стр.
Колхозный ученый	1	68
Коммунизм	1	115
Красный галстук (<i>Поэма о Коле</i>)	1	449
Красота	1	129
Критик-художник	2	125
Критику, пишущему стихи	2	423
Крымский мост	1	70
Крымский партизан	1	46
Куда дует ветер	2	425
Кузнец Жора	1	59
Ленин в сердце	2	297
Летят к нему сердца	1	235
Лырика учит сатире	2	280
Лицом вперед	2	61
Лишь бы шагаты!	2	131
Любимое имя	2	292
Любимелю поспать	2	429
Люблю Баку	1	209
Люди и птицы	2	335
Марш артиллерии	1	237
Марш песенников-текстовиков	2	444
Марш умников	2	470
Мастер смысла	2	145
Мастер татарской поэзии	2	223
Мечта	1	117
Минута откровения	2	405
Митинг в Беркли во дворе университета	1	185
Мода виновата	1	176
Мой новогодний тост	1	62
Молодежная (<i>Песня из кинофильма «Первый вшелон»</i>)	1	250
Молодожены	1	245
Молодой человек	1	33
Молодость духа	2	137
Море	1	24
Морская душа	1	260
Москва за нами	1	394
Москва с Ленинских гор	1	78
Москва советская	1	240
Москвичи	1	244

	Том	Стр.
Мужающее слово	2	197
Муза параспажку	2	72
Му-Му	2	424
Мухомор	2	399
Мы помпы!	1	229
На Бродвее	1	174
На декаде русской поэзии в Грузии	1	207
На лыжах	1	61
На «Огонек»	2	106
На перелет!	1	110
На реке Тобол	1	242
На Урале	1	405
Над Окой	1	91
Накапуне	1	232
На-козь выкусы!	2	406
Наркоман	1	187
Наташа	1	39
Начало сентября	1	103
Наша армия	1	227
Недалече от Полтавы	2	237
Немыслимое	2	462
Необыкновенная	1	221
Но ошибся!	2	201
Но я ль орешек раскусил?	2	463
Нетаморфоза (<i>Вокруг наследия Маяковского</i>)	2	421
Нет мне покоя	1	214
Неужели?	2	450
Неуплывающий пачинающий	2	429
Няцкий	2	471
Няцкий	2	427
Новатор	2	427
Ностальгия	1	143
Ночь коротка	2	390
Ночь, которую забыть нельзя	2	328
Один знакомый	2	422
Одиночество на миру (<i>Американские записи</i>)	2	338
Он знал язык до корня	2	40
Он и его диапазон	2	417
Опять!	1	203
От берега к берегу	1	200
Ответ по существу	1	125

	Том	Стр.
Охота князя Василия Шуйского на Пао-пао	2	411
Очень хочется клюквы!	2	387
Память	1	204
Пародия на лириков	2	468
Пастух	1	87
Певец Свободы и Любви	2	229
Пейзаж	1	64
Первооткрыватель	2	142
Первый в мире	1	418
Перцем песню не испортишь	2	214
Песня о городе Кургане	1	257
Песня о матре	2	400
Песня старшего поколения	1	255
Письмо в редакцию журнала «Костер»	2	317
Письмо земляку	1	101
Планетарий	1	74
Под заревом флагов	1	225
Под понтопным мостом	2	401
Поэт Георг Отс	2	149
Поло русской славы	1	41
По плечу	1	223
По поводу рыбной ловли	1	89
Пополам с солыпем	2	220
Портрет партизана (<i>Трилогия в стихах</i>)	1	285
По-русски	2	186
Постольку поскольку	2	429
Постоянство	2	428
Поэт драматургии	2	286
Праздник	1	216
Правда о труде	1	80
Правда чувства	2	303
Презиная смерть	2	99
Признание переводчика	2	425
Приходите спастись!	1	241
Пришла любовь	1	96
Проводы друга	1	144
Против вымораживания поэзии!	2	312
Проходница	1	73
Прямые улицы Кургана	1	57
Разговор со Стружанью	2	183
Разница	1	199

	Том	Стр
Разящее перо	2	282
Рассказ бывшего солдата	1	251
Рассказ дяди Егора	1	30
Рассказ о разрушенной поэме	1	282
Рассказ старого шахтера	1	82
Рассказывает Ираклий Андроников	2	150
Рекв-человеки	1	213
Речь по поводу	2	386
Робкий совет критику Ивану Чичерову	2	415
Родная земля	1	120
Родник	2	47
Родство душ	2	209
Рождество	1	180
Россия	1	55
Русская мать (Рассказ Агриппины Куликовой)	1	35
Русский человек	1	54
Русский язык	1	147
С охоты	1	107
С песней наперевес	2	40
Саша	2	81
Сделано в СССР	1	162
Силы было на двоих	2	78
Слава новой Москве	1	236
Слово о главном пушкаре	2	241
Слово редкой красоты	2	151
Собиратель молодых	2	118
Совет доценту И. Нечасву (Автору путаной статьи «Пушкин в оценке Меримен»)	2	428
Совет опытного врача	2	425
Стихотворения со счастливым концом	2	441
Сток (Довольно-таки распространенный тип критика)	2	427
Строгий судья	2	426
Сухопутный моряк	2	395
Счастливец	2	423
Счет преступлений	1	201
Талант веселого пера	2	172
Танцует Майя Плисецкая	2	148
Творческое лицо некоторых авторов некоторых песен	2	426
Теоретик тонких этак	2	428

	Том	Стр.
Терпение	1	122
Толстый и Тонкий	2	421
То, что увидел	1	170
Трое	1	177
Трое у костра	1	50
У самого берега Сены	1	169
«Уже давно пора в снежки играть...»	1	106
Улица Лепина	1	43
Ума палата	2	226
Урал	1	67
Усни, хохлатка!	2	459
Уточнение	1	133
Утром рано	1	123
Факт, а не реклама	2	403
Фуражечка (<i>Песня из кинофильма «Весенние голоса»</i>)	1	246
Хиромантика	2	410
Цитатчик	2	436
Часовые переднего края (<i>Песня Группы советских войск в Германии</i>)	1	256
Чего же мне недостает?	1	151
Чей огонь жарче горит? (<i>Солдатская сказка</i>)	1	47
Человек второго сорта	1	180
«Четыре десятка прожито...»	1	104
Что такое рядовой? (<i>Солдатская песня-воспоминание</i>)	1	259
«Что-то есть в тебе такое...»	1	111
Чувство семьи единой	2	120
Чудо живого слова	2	105
Школа мудрости	2	16
Шторы в тихую погоду	2	407
Элегия	2	381
Эх вы, львы!	2	409
«Я никогда не знал и не искал покоя...»	1	116
Я — поэт	2	465
Яблова	1	99
Язык Анны Павловны	2	439

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю 5

«ПРОВА ПРО ПОЭЗИЮ»

Время встало на караул

Благодарность	9
Школа мудрости	16
Ему суждена слава	29
Он знал язык до корня	40
Родники	47
С песней паперевес	49
Лицом вперед	61
Заря в конце дороги	70
Муза параспашку	72
Силы было на двоих	78
Сапа	81
Во имя мечты	96
Воспитание	97
Презирая смерть	99
Готовый на подвиг	103
Чудо живого слова	105
На «Огопек»	106
Долгая дорога	114
Собиратель молодых	118
Чувство семьи едипой	120
Критик-художник	125
Жил любовью к России	129

Здравствующие

Лишь бы шагаты!	131
Задумчивость	134
Молодость духа	137
Первооткрыватель	142
Мастер смеха	145
Танцует Майя Плисецкая	148
Поэт Георг Отс	149
Рассказывает Ираклий Андрояков	150
Слово редкой красоты	151

Атакующее сердце	155
Талант веселого пера	172
Зоркость	178
Разговор со Стружачью	183
По-русски	186
Мужающее слово	197
Не ошибся!	201
Единство разнообразия	202
Высокая простота	206

Братство

Родство душ	209
Перцем песню не испортишь!	214
Пополам с солнцем	220
Мастер татарской поэзии	223

Близкие и далекие

Ума палата	226
Певец Свободы и Любви	229
Недалече от Полтавы	237

Солдат революции

Слово о главном пушкаре	241
-----------------------------------	-----

Бакинцев знойные глаза

Лирика учит сатиру	280
Разящее перо	282
Поэт драматургии	286
Вечная молодость	289
Любимое имя	292
Запово узнанный	293

Правда чувства

Ленин в сердце	297
Правда чувства	303
Против вымораживания поэзии!	312
Письмо в редакцию журнала «Костер»	317
В защиту зеленого шара земного	319
Время с правдой вечно	323
Ночь, которую забыть нельзя	328

Власть песни	330
Заветные мысли поэта	332
Люди и птицы	335

Одиночество на миру

Американские записи	338
-------------------------------	-----

САТИРА (1937—1960)

Литературные пародии, эпиграммы

Элегия (<i>Аделина Адалис</i>)	381
Бурбоны из Сорбонны (<i>Павел Антокольский</i>)	382
Василию Ардаматскому, автору повести «Он сделал все, что мог»	383
Ждем! (<i>Николай Асеев</i>)	384
Детская шутка (<i>Агния Барто</i>)	385
Речь по поводу (<i>Александр Безыменский</i>)	386
Очень хочется клюквы! (<i>Виктор Боков</i>)	387
Андрею Вознесенскому, автору «Треугольной груши»	388
Вон из Москвы! (<i>Николай Грибачев</i>)	389
Ночь коротка (<i>Евгений Долматовский</i>)	390
До рлао и посло, цпп Мистика в три листика (<i>Николай Доризо</i>)	391
В бегах (<i>Евгений Евтушенко</i>)	394
Сухопутный моряк (<i>Александр Жаров</i>)	395
Запевала (<i>Михаил Исаковский</i>)	396
Эпизаги (<i>Семен Кирсанов</i>)	397
Мухомор (<i>Александр Коваленков</i>)	399
Песня о мэтре (<i>Владимир Луговской</i>)	400
Под поптопным мостом (<i>Леонид Мартынов</i>)	401
Дядя Степа (<i>Сергей Михалков</i>)	402
Факт, а не реклама (<i>Иван Молчанов</i>)	403
Бас на квасе (<i>Сергей Островой</i>)	404
Мипута откровения (<i>Борис Пастернак</i>)	405
На-кось выкусь! (<i>Дмитрий Петровский</i>)	406
Шторм в тихую погоду (<i>Григорий Поженян</i>)	407
Два вопроса, два ответа (<i>Григорий Рыклин</i>)	408
Эх вы, льны! (<i>Николай Рыленков</i>)	409
Хироматпка (<i>Михаил Светлов</i>)	410
Охота кппзя Василия Шуйского на Пао-пао (<i>Няля Сельвинский</i>)	411

И так и этак (<i>Владимир Солоухин</i>)	413
Казань с багром (<i>Анатолий Софронов</i>)	414
Робкий совет критику Ивану Чичерову	415
Вяка (<i>Корней Чуковский</i>)	416
Он и его диапазон (<i>Виктор Шкловский</i>)	417
Велье на веревке (<i>Степан Шипачев</i>)	418
Из коллективного письма читателей к Илье Эренбургу	419
Вологодская рапсодия (<i>Александр Яшин</i>)	420

Ироническая смесь

Диагноз	421
Негаморфоза (<i>Вокруг наследия Маяковского</i>)	421
Толстый и Тонкий	421
Один знакомый	422
Критику, пишущему стихи	423
Декларация эпигонов	423
Счастливицы	423
Агасфер	423
Бедная Лиза	424
Му-Му	424
Куда дует ветер	425
Признание переводчика	425
Совет опытного врача	425
Строгий судья	426
Творческое лицо некоторых авторов некоторых поэтов	426
Знатоки	427
Стопки (<i>Довольно-таки распространенный вид критики</i>)	427
Новатор	427
Из быта переводчиков	428
Совет доценту И. Нечаеву (<i>Латору путаной ста- тьи «Пушкин в оценке Мериш»</i>)	428
Теоретик тонких этак	428
Постоянство	428
Постольку поскольку	429
Неунывающий начинающий	429
Любителю поспать	429

Фельетоны

Дубина и сироп	430
Аноним-клеветник	433

Занятой бездельник	435
Цитатчик	436
Язык Анны Павловны	439
Стихотворение со счастливым концом	441
Вакантное место (<i>Шутка</i>)	442
Марш песенников-текстовиков	444
Дядя Ик	445
Ваши, Маля и диплом	446
Наужели?...	450

Из Сабира

Довольно учиться!	452
Бакинский коча	455
Бакиским рабочим	457
Усни, хохлатка!	459
Благородный напев	460
Немыслимое	462
Не я ль орешек раскусил?	463
Вот тебе и кукареку!	464
Я — поэт	465
Еще малыш	466
Вопрос — ответ	467
Пародия на лириков	468
В рот воды набрали	469
Марш умишков	470
Нищий	471
Задумчивый разговор	473

Алфавитный указатель	475
--------------------------------	-----

*Сергей Александрович
Васильев*
ПЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Том второй
ПРОЗА ПРО ПОЭЗИЮ. САТИРА

Редактор *Н. Иванова*
Художественный редактор *А. Цветков*
Технический редактор *В. Савкевич*
Корректор *М. Муромцева*

Сдано в набор 12/VI 1970 г. Подписано
в печать 11/XI 1970 г. А10038. Бумага
типографская № 1. 84×108¹/₂ 15,25 печ.
л. 25,62 усл. печ. л. 23,495 уч.-изд. л.
Тираж 75 000. Заказ № 171. Цена 1 р. 24 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография № 5
Москва, Мало-Московская, 21

